Бенгт Даниельссон

ГОГЕН В ПОЛИНЕЗИИ



· ИСКУССТВО ·


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Автор книги ГОГЕН В ПОЛИНЕЗИИ, Бенгт Э́ммерик Дание́льссон (швед. Bengt Danielsson; 6 июля 1921, Крукек, Швеция - 4 июля 1997, Стокгольм) - шведский этнограф, директор Шведского национального музея этнографии (1967-1971). Родился 6 июля 1921 года в городке Крукек, в коммуне Норрчёпинг, Швеция. Обучался в Уппсальском университете, потом уехал в США. В 1947 году принял участие в экспедиции Тура Хейердала на плоту «Кон-Тики» из Южной Америки в Полинезию. В 1948 году женился в Лиме на француженке Марии-Терезе, и после свадьбы они поселились сначала на Рароиа (1949-1952), а затем, в 1953 году, на Таити. Даниельссон является автором множества работ о Полинезии, включая шеститомное издание по истории островов, и популярных книг, многие из которых переведены на различные языки.

•

Бенгт Даниелльсон
Гоген в Полинезии
Содержание

- Предисловие автора к русскому изданию
- ГЛАВА I. Мастерская в тропиках
- ГЛАВА II. Полоса удач
- ГЛАВА III. Среди соотечественников
- ГЛАВА IV. Среди таитян
- ГЛАВА V. Женитьба Коке
- ГЛАВА VI. Поворотный пункт
- ГЛАВА VII. На ложном пути
- ГЛАВА VIII. Повторение
- ГЛАВА IX. Унижение и возвышение

ГЛАВА X. Веселый дом

ГЛАВА XI. Последнее слово

ПРИМЕЧАНИЯ

Моей помощнице, Марии-Терезе

Предисловие автора к русскому изданию

Когда в мае 1951 года, через сорок восемь лет после смерти Гогена, я ступил на берег

его последнего пристанища - острова Хиваоа в Маркизском архипелаге, - я и не помышлял

о том, чтобы дерзнуть написать биографию художника. У меня была совсем другая цель, я

приехал на остров заниматься этнологическими исследованиями. Конечно, бывая на

Таити, я часто слышал рассказы о Гогене, но мне и в голову не приходило собирать данные

о столь важных в его жизни полинезийских годах, я был уверен, что все давным-давно

известно и записано.

Сколь основательно я заблуждался, мне стало ясно, когда я в долине Тахауку на

южном берегу Хиваоа, в гуще тропического леса, всего в нескольких километрах от

Атуоны, где Гоген провел два последних года своей жизни, неожиданно нашел большую и

богатую библиотеку. Это замечательное собрание книг принадлежало бывшему учителю,

французу Гийому Ле-броннеку, который, судя по тому, как запущена была его кокосовая

плантация, явно предпочитал культивировать свои литературные интересы. Наряду с

хорошим выбором французской классики и целыми полками этнографических,

исторических и других научных трудов на французском, английском и немецком языках у

моего радушного и сердечного хозяина было на редкость полное собрание книг и

журнальных статей о Гогене.

Листая их на досуге, я увидел, что учитель Лебронnек по старой привычке чертил на

полях галочки и вносил исправления везде, где автор допустил ошибку. В разделах,

посвященных жизни Гогена в Атуоне, поправок было столько, что Леброннеку пришлось,

чтобы все уместить, вклеить дополнительные листы. Там где речь шла об элементарных

географических и этнографических сведениях, даже я мог убедиться, как много сделано

грубых ошибок. Объяснялось это очень просто: никто из биографов Гогена не бывал в

Южных морях. Больше того, описывая полинезийские годы Поля Гогена, они опирались

только на его письма и записки, в которых, естественно, люди и обстановка обрисованы

очень бегло и субъективно.

Леброннек (мне удалось уговорить его, чтобы он издал хотя бы часть своих ценных

заметок) никогда не видел Гогена, так как приехал на Маркизские острова уже в 1910 году.

Но в Атуоне я встретил человека, который хорошо знал Поля Гогена - и отнюдь не считал

это привилегией. Речь идет об епископе Маркизских островов, его преосвященстве Давиде

Лекадре, который прибыл сюда прямо из семинарии в 1900 году и до конца жизни остался

верен своей миссии. Рассказы епископа Лекадра и местных стариков показались мне

настолько ценными и интересными, что в своих путевых очерках, озаглавленных

«Позабытые острова», я посвятил Гогену целую главу. Нужно ли говорить, что теперь,

четырнадцать лет спустя, эта глава кажется мне весьма неудовлетворительной.

Вернувшись в 1953 году на Таити, я, по совету Леброннека, познакомился с бывшим

переводчиком и правительственным чиновником Александром Дролле, который очень

подробно и полно поведал мне о первом пребывании Гогена в Полинезии в 1891-1893

годах. Александр Дролле родился в 1871 году и двадцати лет поступил на службу; впервые

он увидел Поля Гогена уже через несколько часов после того, как художник сошел на берег

Таити, и потом не раз встречал, чаще всего у себя дома, так как отец Александра, Состен

Дролле, стал близким другом Гогена.

Мое любопытство разгорелось, и в последующие годы я все свое свободное время

тратил на розыски людей, которые могли бы еще что-то рассказать о Гогене, о его друзьях

и врагах, просто о той поре, когда он жил в колонии.

На рубеже века население Таити и Маркизских островов, особенно европейское

население, было очень малочисленно. Гоген прожил на островах в общей сложности

десять лет, заметно выделяясь среди других своей незаурядностью. Поэтому его здесь

помнят даже лучше, чем в Бретани, где французские искусствоведы собрали бездну

интересных сведений. Все те, кто сообщил мне ценные и достоверные данные, упомянуты

в списке источников. Но одни только устные предания не могут служить прочной основой,

как бы тщательно вы их ни проверяли. И я ни за что не взялся бы за титанический труд,

каким является попытка реконструировать полинезийские годы Гогена, если бы сверх того

не нашел огромное количество куда более полных и надежных сведений в различных

изданных и неизданных документах. Это в первую очередь официальные доклады и

письма, а также судебные постановления и подушные переписи, хранящиеся в

правительственных архивах в Папеэте; это статьи и заметки в многочисленных

колониальных газетах, а также в миссионерских журналах, которые выходили во

Франции; это путевые заметки и очерки; дневники и другие личные документы,

принадлежащие частным лицам; и, наконец, - неизвестные письма из переписки Гогена.

Все использованные источники перечислены в конце книги.

Моей главной целью было:

1. Возможно более всесторонне и точно обрисовать последние двенадцать лет жизни

Гогена, из которых он десять провел в Южных морях.

2. Дать более полное описание географических, культурных и социальных условий на

Таити и Маркизах той поры.

3. В каждом случае попытаться понять и объяснить поступки

Гогена, его реакции,

трудности, неудачи и триумфы как результат встречи необычной личности со

своеобразными местными условиями.

Сразу же отмечу, что мне в гораздо большей степени, нежели я думал поначалу,

пришлось пересмотреть принятую до сих пор хронологию; в каждом случае я ссылаюсь на

источник. Далее, многие из самых романтических и героических эпизодов, о которых

можно прочесть в прежних биографиях, не подтверждаются наличными фактами, их мы

вынуждены отнести к разряду мифов или недоразумений. Потеря невелика, Гоген

достаточно велик как художник и интересен как человек, чтобы пленять нас и без ложного

венца.

Что касается творчества Гогена, то я не вдавался в анализ стиля и эстетики по двум

вполне понятным причинам. Во-первых, есть бездна книг, написанных искусствоведами,

которые со знанием дела разбирают эти вопросы. Во-вторых, я не сведущ в этой области и

при всем желании не смог бы добавить ничего нового. Поэтому я только пытаюсь

проследить историю создания некоторых полотен, а также объяснить сцены таитянской

жизни и сказать что-то о людях и предметах, отображенных в живописи и скульптуре

Гогена. На Таити его произведений теперь, увы, не изучишь, их нет там вот уже полвека.

Когда Гоген умер, интерес поселенцев к его творчеству был настолько мал, что на

аукционе его картины (всего около десяти) были проданы по ничтожной цене, от семи до

пятидесяти двух франков за полотно. Правда, за «Материнство» уплатили целых сто

пятьдесят франков. Однако очень скоро, на выставке двухсот с лишним полотен Гогена в

Париже в 1906 году, случилось то, о чем покойный художник напрасно мечтал всю жизнь:

критики, коллекционеры и широкая публика вдруг признали его великим гением. Понятно,

запоздалое признание привело к тому, что десятки

корыстолюбивых торговцев картинами

и спекулянтов ринулись на Таити, чтобы скупить произведения Гогена, попавшие к

частным лицам. (Преимущественно картины, которые он подарил добрым соседям или

оставил в залог за долги, ибо при жизни Гогена не было на Таити человека настолько

глупого, чтобы купить у него хотя бы одно полотно.) В конце концов осталась лишь

сильно пострадавшая картина на стеклянной двери. Но и она покинула Таити в 1916 году,

когда английский писатель Сомерсет Моэм приехал на остров за материалом для своего

романа «Луна и грош», в котором он вольно обращается с фактами из биографии Гогена.

Конечно, есть много альбомов с репродукциями картин Гогена, но в них вошла только

малая часть шестисот с лишним полотен, написанных художником. К тому же

репродукции часто скверные, по ним трудно представить себе картину. Чтобы хорошенько

изучить оригиналы, надо было посетить музеи в разных концах света. Научные

экспедиции, участие в конгрессах и работа в библиотеках позволили мне сделать это.

Больше всего полотен Гогена - 23 - хранится в Глиптотеке в Копенгагене (ведь его

жена была датчанка). Дальше следуют Эрмитаж в Ленинграде и Музей изобразительных

искусств имени А. С. Пушкина в Москве: в первом 15, во втором 14. И мне все больше

хотелось посетить эти два знаменитых музея. А тут еще оказалось, что мои книги о

народах Южных морей пришлись по душе читателям в Советском Союзе. У меня

появилось много заочных друзей в Москве, они звали меня в гости и обещали быть моими

экскурсоводами. И вот в конце октября 1965 года осуществилась моя мечта: вместе с

советскими друзьями я посетил залы Музея имени Пушкина и Эрмитажа, где яркие краски

Гогена спорили с хмурым осенним небом за окном. Мысли мои летели на Таити, куда я

как раз возвращался. От души поздравляя советский народ с

такой большой коллекцией

замечательных произведений Гогена, представляющих все периоды его творчества, я хочу

также поблагодарить издательство «Искусство», которое предложило воспроизвести в

русском издании моей книги 16 полотен художника. Это отличное дополнение к

иллюстрациям, подобранным мною для шведского издания. Так как книга

документальная, преобладают фотографии. Черно-белые, снятые в 90-х годах прошлого

века фотографами-любителями, лучше пространных описаний показывают тогдашнюю

жизнь. Цветные фотографии, снятые теперь, тоже знакомят с типичными сценами

туземной жизни, которые Гоген часто видел и писал. Я нарочно выбирал для съемки то,

что не изменилось.

Сравнивая документальные фотографии с репродукциями картин, читатель сам

увидит, как работал художник, как он преломлял действительность и как реалистические

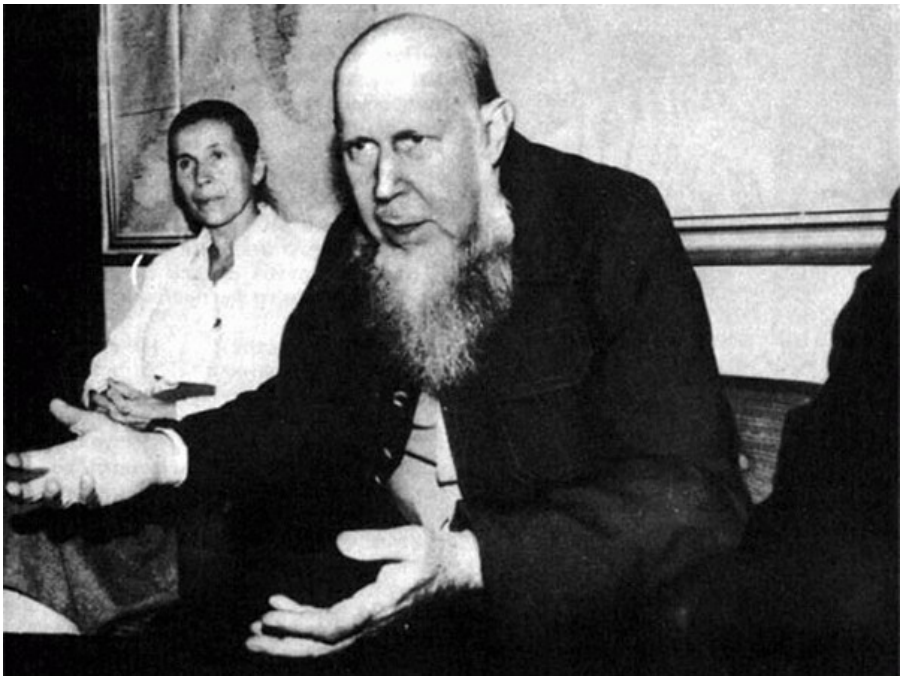
элементы переплетались с вымыслом и воспоминаниями. От души надеюсь, что

исследовательская экспедиция, которая началась 15 лет назад, а закончилась в Москве, не

только поможет лучше узнать биографию Гогена, но и в какой-то мере бросит

дополнительный свет на самое главное в жизни великого гения - на его творчество.

Бенгт Даниельссон, Таити, 23 июля 1966 г.



Авт

ор книги ГОГЕН В ПОЛИНЕЗИИ, Бенгт ЭЭммерик ДаниеЭльссон (швед. Bengt Danielsson; 6 июля

1921, Крукек, Швеция - 4 июля 1997, Стокгольм) - шведский этнограф, директор Шведского

национального музея этнографии (1967-1971). Родился 6 июля 1921 года в городке Крукек, в

коммуне Норрчёпинг, Швеция. Обучался в Уппсальском университете, потом уехал в США. В 1947

году принял участие в экспедиции Тура Хейердала на плоту «Кон-Тики» из Южной Америки в

Полинезию. В 1948 году женился в Лиме на француженке Марии-Терезе, и после свадьбы они

поселились сначала на Рароиа (1949-1952), а затем, в 1953 году, на Таити. Даниельссон является

автором множества работ о Полинезии, включая шеститомное издание по истории островов, и

популярных книг, многие из которых переведены на различные языки.

ГЛАВА I. Мастерская в тропиках

Гоген и Таити - два слова, которые вот уже больше полувека неразрывно связаны друг

с другом в сознании людей. Хотя Кук, Мелвилл, Стивенсон и многие другие знаменитые

мужи тоже побывали на острове и описали его, - не их, а

Гогена вспоминают тотчас, когда

заходит речь о Таити. И наоборот, слова «Поль Гоген» - своего рода пароль, услышав

который люди прежде всего думают о Таити, а не о Париже, Бретани, Мартинике, Арле и

прочих местах, где он жил и творил. Пожалуй, единственный пример столь же полного и

прочного отождествления имени человека с островом - Наполеон и Святая Елена. Вот

почему как-то неловко начинать книгу, в основном посвященную жизни Гогена на Таити,

утверждением, что его привел туда чистый случай, что мысль о поездке, определившей все

творчество художника, родилась не в его голове. Но это так.

Чтобы отыскать первое звено длинной цепи событий, которые толкнули его на это

важное решение, мы должны вернуться к необычайно холодной зиме 1885/86 года, когда

Гоген тщетно пытался прокормиться в Париже как свободный художник. Роковой шаг от

живописца-любителя к профессионалу он волей-неволей сделал двумя годами раньше,

когда, после затянувшегося финансового кризиса и ряда нашумевших скандалов и крахов,

потерял хорошо оплачиваемую должность подручного маклера на Парижской бирже. Хотя

он почти десять лет посвящал свободное время живописи и заслужил лестные отзывы

Мане, Писсарро, Дега, ему было далеко до творческой зрелости. Уже это должно было

располагать Гогена к осмотрительности. Но еще больше его должно было сдерживать то

печальное обстоятельство, что новомодные импрессионистские картины, какие он писал в

ту пору, совсем не находили сбыта.

Образование Гогена, когда он начал свою долгую карьеру на бирже, ограничивалось

классической гимназией с богословским уклоном да пятью годами морской службы: он

ходил учеником штурмана на торговых судах и отбывал воинскую повинность как матрос

флота его императорского величества Наполеона III. [когда весной 1884 года после года

героических попыток прокормиться живописью он истратил

последние сбережения, у него

в общем-то не было ни специальных знаний, ни настоящей профессии. Беда усугублялась

тем, что нужно было содержать жену и пятерых детей, старшему из которых исполнилось

всего десять лет. Не видя лучшего выхода, Гоген послушался совета жены, датчанки

Метте, и отправился в Копенгаген; супруги надеялись, что здесь ее родственники им

помогут. Это стратегическое отступление оказалось большим просчетом. Родные жены

считали его никчемным человеком, поддерживать которого не было смысла, и они стали

уговаривать Метте поскорее разойтись с этим негодяем. Но Метте нерушимо верила, что у

ее Поля великое дарование - коммерческое. Поэтому она все время уговаривала его

бросить эту дурацкую живопись и поступить служить в банк. Сам Гоген столь же

нерушимо верил, что сможет, дай срок, достаточно зарабатывать своей кистью и

содержать семью, и в июне 1885 года, спасаясь от бесконечных скандалов, мешавших ему

сосредоточиться на работе, он вернулся в Париж. Как Поль, так и Метте, которая сразу же

начала давать уроки французского языка и занялась переводами, чтобы прокормить детей,

считали разлуку временной. Оба были сильно привязаны друг к другу и горячо надеялись,

что любимый (любимая) образумится.

Во всей многострадальной жизни Гогена зима 1885/86 года была самой тяжкой порой,

и если он вообще ухитрился выжить, то главным образом потому, что ему изредка

удавалось добыть жалкие гроши, работая расклейщиком афиш. «Я знаю, что значит

подлинная нужда, что значит холод, голод и все такое прочее, - вспоминал он потом. - Все

это ничего - или почти ничего - не значит. К этому привыкаешь, и если у тебя есть толика

самообладания, в конце концов ты только смеешься над всем. Но что действительно

делает нужду ужасной - она мешает работать, и разум заходит в тупик. Это прежде всего

относится к жизни в Париже и прочих больших городах, где борьба за кусок хлеба

отнимает три четверти вашего времени и половину энергии. Спору нет, страдание

пришпоривает человека. Увы, если пришпоривать его слишком сильно, он испустит дух!»

Но даже после всех лишений и унижений, которые Гоген испытал в эту долгую зиму,

он не хотел капитулировать на условиях, предлагаемых Метте. Вместе с тем он понимал,

что надо уезжать из Парижа, иначе ему конец. Куда уезжать - все равно, только бы дешево

жить и без помех работать. Любопытно: похоже, что он уже тогда подумывал о Южных

морях. Если верить письму, которое Гоген отправил жене в мае 1886 года, ему незадолго

перед тем предложили стать «земледельцем в Океании». К сожалению, он не сообщает,

кому пришла в голову нелепая мысль превратить художника и бывшего биржевого маклера

в земледельца и на каком острове должен был происходить сей странный эксперимент. Как

бы то ни было, Гоген отклонил это загадочное предложение, ведь ему пришлось бы

бросить живопись. Правда, ему было нелегко отвергнуть возможность добиться более

достойного существования, что видно по иронической концовке упомянутого письма, где

говорится о несчастье, постигшем одного общего знакомого: «Вот как, Герман помешался.

Хорошо ему, о нем позаботятся».

От своего товарища художника он услышал, что в городке Понт-Авене в Бретани есть

пансионат, где за кров и стол берут всего Два франка в день. Вот какая прозаическая

причина в июне 1886.года впервые привела Поля Гогена в тот уголок Европы, который,

как и Таити, прежде всего ему обязан своей славой. Слова товарища подтвердились, и

добрая хозяйка расположенного в центре городка пансионата Глоанек - Мари-Жанна

Глоанек - скоро прониклась такой симпатией к своему новому постояльцу, что даже

частенько предоставляла ему кредит. С первых дней Гогена

пленила строгая, суровая
природа и старая, примитивная сельская культура; в ту пору бретонцы еще выделялись
среди других и языком, и одеждой, и верой. Но затем он убедился, что у жизни в
бретонской глуши есть и свои минусы. У него была постоянная потребность разбирать и
обсуждать произведения искусства, и прежде всего свой собственные. Пока длилось лето,
всегда находился какой-нибудь художник-любитель или турист, готовый вечером
составить компанию и слушать его сумасбродные идеи. Но осенью и зимой Гоген
очутился в полном одиночестве в холодном, нетопленном пансионате. Если бы еще можно
было как следует работать, он, наверно, легче переносил бы неудобства. Но ненастная
погода вынуждала писать в комнате, для чего требовались хотя бы иногда живые модели, а
эти подозрительные святоши - крестьянки и рыбачки Понт-Авена - ни за что не
соглашались ему позировать, хотя он и не требовал, чтобы они снимали свои вышитые
кофты, шали и крахмальные чепчики.

Гоген давно знал, что есть на свете другие края, где климат теплее и жизнь дешевле,
где люди покладистее и живут проще. Трудно сказать, помнил ли он хорошо свое раннее
детство, с трех до семи лет, когда с матерью и сестрой Марией, бывшей на год старше,
жил у далеких родичей в Перу. Зато он с удовольствием вспоминал, как в возрасте 17-19
лет учеником штурмана ходил на пассажирских судах в Южную Америку. Не удивительно,
что он начал помышлять о том, чтобы вернуться туда. К тому же был еще один повод
попытать счастья именно в этой части света. Несколько лет назад сестра Гогена вышла
замуж за колумбийца, а тот открыл лавку в Панаме, где рассчитывал быстро нажиться,
сбывая землекопам на канале дешевые товары по безбожной цене. После еще одной
трудной зимы в Париже Гоген решился. Он поедет в Панаму, но будет жить у сестры и ее

мужа только до тех пор, пока сам не встанет на ноги. Как именно? Все было рассчитано

заранее: он поселится на «почти необитаемом, вольном и очень плодородном» островке

Тобаго в Тихом океане и заживет «дикарем». В товарищи себе он выбрал самого верного

поклонника, двадцатилетнего художника Шарля Лаваля, который уже научился так ловко

подражать Гогену, что впоследствии бессовестные торговцы картинами соскребли подпись

чуть ли не на всех его полотнах, снабдив их куда более ценным автографом учителя. Где

нищие приятели раздобыли денег на дорогу, остается тайной. Как бы то ни было, в апреле

1887 года они отплыли в Панаму на борту набитого пассажирами парусника, в третьем

классе.

Гоген никогда не ладил с сестрой, и ему следовало предвидеть, что Мария и ее супруг

постараются возможно скорее отделаться от незваных гостей. Но самое неприятное:

оказалось, что райский остров Тобаго густо населен индейцами, и к тому же достаточно

цивилизованными, чтобы они, пользуясь бумом, беззастенчиво запросили по шести

франков за квадратный метр невозделанной каменистой почвы. Гоген не провел и месяца в

Панаме, как уже начал сожалеть, что не сошел на берег французского острова Мартиника,

с вожделением называя его изумительным краем, «где жить и дешево, и приятно». Чтобы

собрать денег на проезд туда, Лаваль засел писать портреты, а Гоген, который, по его

собственным словам, не мог найти заказчиков, так как был «не способен малевать

достаточно скверные реалистичные картины», нанялся в землекопы и двенадцать часов в

день работал на канале. Но уже через две недели компания Лессепса, не справившись с

финансовыми трудностями, уволила и его и многих других. Вероятно, это спасло жизнь

Гогену, ибо он, сам того не зная, уже заразился дизентерией и желтой лихорадкой. В конце

концов ему и Лавалю удалось перебраться на Мартинику.

Несмотря на тяжелый недуг,

Гоген проявил поразительную волю и энергию и совершил настоящий подвиг, написав

около дюжины картин за четыре месяца, что провел на острове, пока болезнь не

принудила его возвратиться во Францию.

Мартиникские картины Гогена лучше и светлее его прежних творений, и он по праву

мог быть доволен ими. Но в это же время остальные импрессионисты, не покидая Парижа,

создавали куда более красочные пейзажи. Новые полотна Гогена были встречены

равнодушно и не нашли покупателей. Сильно расстроенный, он вновь обрел убежище у

доброй мадам Глоа-нек в Понт-Авене.

На этот раз он провел здесь девять месяцев. Внешне дни протекали однообразно и

уныло, но, если говорить о творчестве, это была самая важная и насыщенная пора его

жизни. Гогена давно не удовлетворяла программа импрессионистов, ведь она в конечном

счете сводилась к тому, чтобы возможно точнее отображать действительность, пусть даже

увиденную по-новому. Еще меньше привлекали его попытки Сёра превратить живопись в

точную науку. Осмыслить и найти свой путь ему, как ни странно, помог художник Эмиль

Бернар, двадцатилетний юноша с чутким и нервным лицом. Летом 1888 года Эмиль с

матерью и миловидной сестрой Мадлен приехал отдохнуть в Бретань. Он познакомился с

Гогеном два года назад, но только теперь они сблизились настолько, что стали всерьез

толковать друг с другом об искусстве. Выяснилось, что их взгляды поразительно сходятся:

оба считали главной задачей живописи воплощать яркие видения и идеалы, а не

отображать действительность. Вот как сам Гоген излагал их программу: «Не пишите

слишком много с натуры. Искусство есть абстракция. Ищите абстракцию в природе,

предаваясь грезам перед ее лицом, и прежде всего думайте о будущем творении». Тесно

сотрудничая, друзья принялись проводить свои теории в

жизнь и создавать новый стиль.

Постепенно пронизанная светом воздушная перспектива импрессионистов исчезла с их

полотен, сменившись напоминающими гобелен декоративными двухмерными

композициями. Очертания фигур и предметов становились все более резкими, краски -

однородными, и наконец их картины являли собой сочетания крупных, четко

разграниченных цветовых пятен. Художники опускали все частности, делая упор на суть,

и назвали свой стиль синтетическим.

Осенью Эмиль вернулся в Париж, и Гоген снова остался один в холодном, дождливом

Понт-Авене. Его мысли опять обратились к тропикам. На этот раз над ним сжалились его

старые друзья, братья Ван Гог: Винсент пригласил Гогена в солнечный Арль, а Тео

выделил ему на содержание 150 франков в месяц и обещал выставить его картины в своей

галерее в Париже. Наговорившись всласть с влюбленным в солнце Винсентом и

понежившись в теплом Провансе, Гоген решился. В начале декабря 1888 года он радостно

пишет Эмилю Бернару, которому военная служба помешала приехать в Арль: «(Тео) Ван

Гог надеется, что сможет продать все мои картины. Если мне в самом деле так

посчастливится, я отправлюсь на Мартинику; убежден, что там я смогу теперь написать

хорошие вещи. А если бы удалось раздобыть солидную сумму, я бы даже купил на острове

дом и устроил мастерскую, где мои друзья могли бы почти даром получать все

необходимое. Я готов согласиться с Винсентом, будущее принадлежит певцам тропиков,

они еще никем не использованы, а этих глупых покупателей картин нужно расшевелить

новыми мотивами»**1**. Вскоре после этого Гоген заявил, что собирается уехать в мае на

полтора года.

Как известно, лучезарное существование Гогена в Арле оборвалось одним из

наиболее известных в истории искусства эпизодов: в приступе

помешательства Винсент
отрезал себе ухо, и его пришлось упрятать в сумасшедший дом. А тут еще покупатель, как
назло, оказался настолько глупым, что не купил ни одной из почти тропических по
колориту картин прованского цикла, которые Гоген отправил Буссо и Валадону -
парижской картинной галерее, которой заведовал Тео Ван Гог. К тому же, не успев еще
раздобыть денег на дорогу, Гоген выяснил, что на свете есть другие тропические страны,
куда более интересные и многообещающие для живописца, чем остров Мартиника, где не
было собственной культуры и искусства, так как население происходило от африканских
невольников. Это новое важное открытие он сделал в мае 1889 года на огромной
Всемирной выставке в Париже, где экспонировалось семнадцать его картин. Разумеется,
они висели не в официальном салоне, отведенном для таких великих и бессмертных (ныне
совсем забытых) мастеров, как Жером, Роль, Даньян-Бувре и Кормон. Один приятель
Гогена по бирже, тоже занимавшийся живописью, Эмиль Шуффенекер, а попросту -
Шуфф, в последнюю минуту придумал хитрый способ пробраться с черного хода на
выставку. Перед большим павильоном искусств стояла не столь внушительная постройка,
которую сдали итальянскому трактирщику Вольпини. Он устроил там кафе (названное,
естественно, «Кафе искусств»), причем не поскупился на расходы, чтобы приманить
публику роскошью и артистичностью.
В частности, Вольпини заказал огромные зеркала во всю стену. К сожалению,
поставщик не выполнил заказ в срок. Шуфф каким-то образом пронюхал об этом и
остроумно предложил Вольпини закрыть вызывающую наготу стен красивыми картинами,
написанными им, Шуффом, и его товарищами. Итальянец тотчас согласился; что ни
говори, это самый дешевый способ украсить помещение, и кафе будет лучше отвечать

своему назначению. Стен было столько, что можно было развесить чуть не сотню картин и

рисунков. Поэтому трое устроителей - Шуфф, Гоген и Эмиль Бернар, они же члены

самозванного выставочного комитета, - пригласили еще шестерых друзей. Чтобы привлечь

в не совсем обычную галерею возможно больше посетителей, окрыленные надеждами

художники отпечатали красочную афишу, которую сами же и расклеили накануне

вернисажа под многоопытным руководством Гогена. Ведь он и как расклейщик был в этой

группе мастером.

Ожидая, когда все парижские критики, коллекционеры и торговцы картинами ринутся

в «Кафе искусств», Поль Гоген и его друзья бродили по обширной выставочной

территории, над которой высилась только что сооруженная Эйфелева башня, гордое и

смелое олицетворение возможностей французской техники и индустрии. Замечательные

промышленные изделия и хитроумные машины, заполнявшие большинство стеклянных

дворцов и железных сараев, не очень-то увлекали Гогена. Зато его совсем заворожили

образцы восточной скульптуры - как оригиналы, так и хорошие копии, - которые он

впервые увидел в отделе французских колоний. Внимательно изучал он также

этнографическую экспозицию «Развитие жилищ» - на редкость полное собрание свайных

построек, бамбуковых и глинобитных хижин, юрт и чумов со всех концов света.

Чрезвычайно понравилась ему и яванская деревня, построенная голландцами рядом с ост-

индским павильоном; здесь можно было увидеть настоящие ритуальные танцы в

исполнении грациозных индонезиек.

Конечно, у каждой французской колонии был свой павильон или, по меньшей мере,

свой отдел в главном павильоне на Марсовом поле. До нас не дошло никаких писем или

других документов, из которых вытекало бы, что Гоген заинтересовался таитянским

отделом. И в этом нет ничего удивительного, так как экспозиция была очень скромной, ее

главные достопримечательности составляли коллекция плетеных шляп и череп, якобы

служивший чашей древним островитянам**2**. Вряд ли могли заманить публику и

представленные здесь экземпляры знаменитого рода *вахине таитиенсис*. Как ни странно,

с легендарного острова любви привезли, затратив немало денег, не молодых, прекрасных и

обольстительных наяд, а престарелых матрон, примечательных главным образом своей

тучностью и безобразием. А объяснялось это тем, что министр колоний, желая избежать

скандальных происшествий, потребовал, чтобы на выставку прислали только

«высоконравственных замужних женщин безупречного поведения»; в итоге выбор

оказался крайне ограниченным**3**.

К великому разочарованию синтетиков и импрессионистов, необычный струнный

оркестр Вольпини - двенадцать скрипачек и один корнетист под управлением русской

княгини - пользовался куда большим успехом, чем их полотна. Если кто-либо из

посетителей и обращал взгляд на картины, то лишь затем, чтобы поупражняться в

острословии. Критики и искусствоведы вообще не появлялись. Ни одна картина, ни один

рисунок не были проданы. Это тем более возмущало Гогена, что он сильнее прежнего

рвался в тропики. Правда, теперь он задумал ехать не на Мартинику, а на Восток. К

сожалению, Индия была английской, а Ява голландской колонией, и там нищие

французские художники вряд ли могли рассчитывать на помощь и пособие. На его счастье,

Франция несколько лет назад захватила в Юго-Восточной Азии новую колонию -

Индокитай, край китайской и индийской культуры, где французские войска обнаружили в

джунглях развалины многочисленных храмов. Как и многие другие любители

приключений, Гоген вообразил, что власти с радостью

оплатят ему проезд и назначат

щедрое месячное жалованье, стоит только подать заявление, выражая свою готовность

служить в колониальной администрации. Понятно, он представлял себе какую-нибудь

необременительную должность на заставе в лесной глуши, без начальников, которые

вмешивались бы в его занятия. Или, как он сам с предельной откровенностью писал: «Мне

нужно хорошее место в Тонкине, чтобы я мог заниматься живописью и накопить денег.

Весь Восток и запечатленная золотыми буквами в его искусстве глубокая философия, все

это заслуживает изучения, и я верю, что обрету там новые силы. Современный Запад

прогнил, но человек геркулесова склада может, подобно Антею, почерпнуть свежую

энергию, прикоснувшись к тамошней земле. Через год-два, окрепнув и закалившись,

можно вернуться»**4**.

А так как бретонские пансионаты по-прежнему оставались единственным местом, где

Гоген, ожидая доходной должности в колонии, мог рассчитывать на кредит, пришлось ему

снова отступить в Бретань. К его великому негодованию, все места в пансионате Глоанек

заняли туристы и художники-академисты. Но, поискав немного, он нашел в затерявшемся

среди дюн местечке Лё Пульдю маленькую гостиницу, где и уединился вместе со своими

последователями. Их было четверо, его лучших друзей и преданнейших учеников:

Шарль Лаваль, спутник Гогена в его не совсем удавшемся путешествии в Панаму и на

Мартинику, теперь еще более замкнутый и молчаливый, чем прежде, и больной

туберкулезом.

Поль Серюзье, респектабельный, одетый с иголочки живописец средней руки,

убежденный теософ.

Шарль Филижер, нелюдимый эльзасец, гомосексуалист с сомнительным прошлым,

писавший по преимуществу мадонн и хроматические кубистские композиции.

Якоб Мейер де Хаан, рыжеволосый, горбатый, колченогий голландец, чьи физические

недостатки с лихвой возмещались широкой душой; он частенько делился с Гогеном

тремястами франками, которые ежемесячно получал от родственников в Амстердаме.

На вопрос, почему любимый ученик Гогена, Эмиль Бернар, в это лето не совершил

паломничества в Бретань, ответить просто: недовольный папенька, мечтавший сделать

Эмиля коммерсантом, строго-настрого запретил сыну впредь общаться с Гогеном и

окружающими его пустоцветами.

Шли месяцы, а ответственные сотрудники министерства колоний никак не могли

уразуметь, что в лице художника-синтетика пропадает отличный строитель империи. Жена

Гогена, Метте, с которой он все эти годы обменивался письмами, еще раз попыталась

убедить его отказаться от тщеславных творческих замыслов. Но хотя Поль так же, как

Метте, страдал от долгой разлуки, он по-прежнему был убежден, что его призвание -

искусство. «В нем мой капитал, будущее моих детей, оно прославит имя, которое я им

дал... Поэтому я продолжаю заниматься живописью; сейчас она мне не приносит денег

(плохие времена), но сулит успех в будущем. Ты возразишь, что до цели далеко, но как я,

по-твоему, должен поступить? Разве я виноват? Больше всех страдаю от этого я сам»**5**. Он

видел только один способ сократить путь к цели: привлечь к себе внимание серией

полотен с новыми, экзотическими мотивами. И неопределенное ожидание все сильнее его

раздражало. В ноябре он мрачно писал Бернару: «Я волочу свои старые кости по берегу

моря в Лё Пульдю, под злыми порывами северного ветра. Машинально делаю наброски...

но души нет, она грустно созерцает разверстую передо мною бездну - бездну, где я вижу

мою опечаленную семью, лишенную отеческой поддержки, и самого себя, не знающего

никого, с кем поделиться своими горестями. С января месяца

я продал на 925 франков. В

42 года жить, кормиться, покупать краски и т. д. на такую сумму - это может обескуражить

самого волевого человека». Когда же министерство колоний наконец удосужилось

отозваться, ответ, к великому удивлению и беспредельному разочарованию Гогена, был

«почти отрицательный». Причина заключалась в том, что (как он, увы, только теперь

понял) «в колонии, как правило, посылают проштрафившихся, растратчиков и т. п.».

Чтобы отстоять свою кандидатуру, Гоген решил поехать в Париж и добиться приема в

соответствующем отделе министерства. Опять, как это бывало много раз, его верный друг

Шуффенекер не только одолжил ему денег на дорогу, но и предложил ему стол и кров в

своем доме. Сборы вряд ли затруднили Гогена, ведь все его земное имущество составляли

не находящие сбыта картины да одежда, что была на нем: потертые брюки, грязная

рыбацкая куртка с бретонской вышивкой, выгоревший плащ бежевого цвета, на голове -

берет, на ногах - деревянные башмаки с цветочным узором. Но его появление в

министерских коридорах и кабинетах в феврале 1890 года привело лишь к тому, что в

рекордно короткий срок он получил окончательный отказ.

Впрочем, Гоген не совсем впустую съездил в Париж: здесь его осенила новая, более

удачная мысль. Ее подсказал ему, сам того не ведая, его старый друг Одилон Редон, один

из немногих французских художников той поры, кого считали еще более эксцентричным и

заумным, чем самого Гогена. Мадам Редон была родом с маленького острова Реюньон в

Индийском океане; наведываясь во Францию, она по пути не раз останавливалась на

Мадагаскаре. И чем больше она рассказывала о тамошней Жизни, тем больше убеждался

Гоген, что эта старая французская колония не менее интересна своим искусством и

фольклором, чем Индокитай, и представляет собой идеальное место для независимого

поселения художников, какое он первоначально хотел основать на Мартинике. Похоже, на

Мадагаскаре можно жить почти без денег, достаточно посадить немного овощей, завести

корову да на досуге иногда ходить на охоту. Мальгаш-ские хижины он уже видел в

прошлом году на Всемирной выставке и ничуть не сомневался, что без труда сумеет

соорудить такую же.

Правда, проезд до Мадагаскара стоил недешево. К тому же Гогену хотелось

располагать, так сказать, небольшим стартовым капиталом, чтобы купить себе участок и

все что надо для начала. Как раз в это время ему посчастливилось познакомиться через

Шуффа с парижским врачом Шарлопеном, человеком многосторонним, который в

свободное время увлекался изобретательством и коллекционировал произведения

искусства. Все свои непроданные творения, а именно тридцать восемь картин и пять

керамических изделий, Гоген предложил ему почти за бесценок: 5 тысяч франков. И

Шарлопен согласился заключить эту сделку - как только он сам получит деньги за свое

последнее изобретение. Ждать недолго, от силы два месяца. Заметно повеселев и

воспрянув духом, Гоген вернулся в Бретань и принялся размышлять, кого он возьмет с

собой на Мадагаскар.

Первым, кому он предложил разделить это блаженное существование, был,

естественно, Эмиль Бернар. Почти столь же неоспоримым кандидатом был зажиточный

Мейер де Хаан. Третьим счастливчиком был Шуффенекер. Правда, Шуфф частенько

казался Гогену невыносимо банальным и суетливым, но его практичность могла быть

полезной для колонии художников. Особенно, если бы он согласился продать свой

земельный участок в Париже. После некоторых колебаний Гоген решил наконец

пригласить также и Винсента Ван Гога. Колебался он потому, что Ван Гога все еще

держали в сумасшедшем доме. Но если Винсент станет совладельцем тропической

мастерской, Тео уж наверно постарается сбывать их произведения в своей парижской

галерее. Что до остальных приверженцев, то Гоген решил еще подумать. Впрочем,

Лавалю, если бы он и попросился в компанию, был заранее обеспечен отказ: во время

панамской эпопеи он показал себя слишком слабым и капризным, чтобы Гоген захотел

взять его с собой повторно.

Особенно загорелся Эмиль Бернар, который тотчас ответил: «Твое письмо наполнило

меня радостью, восторгом и надеждой. Больше всего на свете я мечтаю о том, чтобы

уехать, убраться куда-нибудь подальше, куда угодно, лишь бы это был неизведанный край.

К сожалению, есть два препятствия. Первое - денежный вопрос, второе - какие там

условия для работы... А как было бы славно уехать далеко-далеко и избавиться от всех

забот! Расстаться с этим нудным европейским существованием, с этими тупицами,

скрягами и пузатыми пройдохами, со всеми этими зачумленными подонками. Что до моей

возлюбленной (да, я влюблен, и почему бы нет?), то она присоединится к нам. Наверное,

присоединится, если вправду любит меня. Ах, как чудесно будет вволю упиться свободой,

любоваться морем, вдыхать безлюдье... Спасибо, ты так утешил меня, теперь я уверенно

смотрю в будущее»**6**.

Необычная даже для Бернара горячность и восторженность объяснялась не только

тем, что он влюбился и со скрипом поступил работать художником на текстильную

фабрику в Лилле, чтобы можно было жениться. Главную роль играло то, что он впервые в

жизни усомнился в своем даре живописца и теперь, по его словам, пытался утопить свои

сомнения в «потоке молитв, курений и псалмов». Гоген ответил ему советом, очень

разумным, но чересчур деловитым и трезвым, чтобы прийтись по вкусу Бернару. Он

написал, что куда проще и дешевле по прибытии на остров найти себе местную женщину.

Не говоря о прочих преимуществах, будет бесплатная модель. Что до путевых расходов, то

и эту задачу легко решить - надо наняться на один рейс официантом.

Со следующей почтой Гоген получил еще более пылкое письмо, в котором Эмиль

Бернар неожиданно заявлял, что далекий тихоокеанский остров Таити несравненно лучше,

чем Мадагаскар, подходит для задуманной ими мастерской в тропиках. С простодушной

искренностью он признавался, что пришел к такому выводу, прочитав сентиментальный

бестселлер «Женитьба Лоти». Вот как заманчиво Пьер Лоти описывал жизнь на Таити: «В

Океании не знают, что такое тяжелый труд. Леса сами по себе производят все нужное,

чтобы прокормить эти беспечные племена; плоды хлебного дерева и бананы растут для

всех и в достаточном количестве. Годы проходят для таитян в полной праздности и

нескончаемых грезах. Эти большие дети не могут представить себе, что в нашей

прекрасной Европе многие люди должны убивать свою жизнь на то, чтобы добывать хлеб

насущный». В другой главе он пишет: «Ни оружие, ни припасы, ни деньги не нужны;

всюду вас ожидает горячее и безвозмездное гостеприимство. Единственные опасные

существа на острове - европейские поселенцы, однако их немного, и почти все они

сосредоточены в городе Папеэте»**7**.

Гоген справедливо возразил, что это любовный роман, сочиненный флотским

офицером, который рассказывает преимущественно о своих похождениях во время

увольнения на берег, и попросил Бернара для верности поискать еще какие-нибудь

сведения в более надежных источниках. Бернар немедленно прислал ему изданный

министерством колоний в 1889 году официальный справочник. Один из авторов

справочника даже побывал на Таити**8**. Благодаря

историческим обзорам, латинским

названиям флоры и бездне цифровых данных о погоде, высоте гор, рыночных ценах,

бюджете колонии и пароходных рейсах книжка эта производила очень солидное

впечатление.

Разумеется, особенно жадно Гоген глотал страницы, посвященные островитянам. Вот

как тепло и одобрительно отзывались о них авторы. «Представители малайско-

полинезийской расы великолепно сложены... Что касается их духовных качеств, то на

некоторых островах, например на Таити, эта раса создала довольно высокую культуру и

отличается прежде всего дружелюбием, добротой и радушием. Кражи и убийства почти

неизвестны на Таити». Ссылаясь на труд, напечатанный одним французом, который

полжизни провел на Таити**9**, справочник дальше продолжал в том же духе: «Таитянские

женщины, как правило, - безупречные модели для ваятеля. Иногда черты лица таитянки

кажутся излишне малайскими, но большие, удивительно ясные и красивые карие глаза,

очень полные губы и замечательно ровные белые зубы делают ее столь прелестной и

обаятельной, что нельзя не разделять всеобщего восхищения ею. Ее длинные волосы цвета

воронова крыла, в зависимости от вкуса и прихоти, либо заплетены в две косы, либо

небрежно спадают на плечи. У нее спокойное, открытое лицо, которое никогда не

омрачается облачком заботы или тревоги».

Согласно тому же источнику, проблема питания на Таити решалась очень просто -

вернее, проблемы вовсе не было. «Уроженцам широт, где никогда не бывает зимы, где

почва сказочно плодородна, - таитянам достаточно протянуть руку, чтобы собрать плоды

хлебного дерева и бананы, составляющие их основное питание. Поэтому они никогда не

трудятся, а рыбная ловля, которой они занимаются ради разнообразия стола, - это скорее

удовольствие, которого они не хотят лишаться».

Подводя итог, самый сведущий из авторов справочника, недавно возвратившийся с

Таити ботаник, восторженно пел хвалу этому острову, где, судя по всему, был подлинный

рай: «Если люди на противоположном конце земного шара упорно трудятся, зарабатывая

на жизнь, борются с холодом и голодом и постоянно терпят нужду, то счастливые

обитатели далекого таитянского рая в Южных морях знают одни только светлые стороны

жизни. Жить для них значит петь и любить».

Эти строки настолько совпадают со словами Лоти, что “невольно спрашиваешь себя,

не заимствовали ли у него составители справочника. Но Гоген не питал никаких

подозрений и тотчас согласился с Эмилем, что Таити - идеальное место для них**10**. В этом

выборе было еще одно важное преимущество: туда явно можно было проехать бесплатно,

не нанимаясь в официанты. Все тот же великолепный справочник сообщал радостное

известие: «Французское Общество колонизации щедро помогает земледельцам,

желающим поселиться в Южных морях. Правда, ограниченные ресурсы Общества не

позволяют ему даром предоставлять землю на востоке Тихого океана, как это будет

делаться в Новой Каледонии. Но благодаря любезному содействию властей Общество, во

всяком случае, обеспечивает бесплатный проезд питающим серьезные намерения

поселенцам, которые твердо решили эмигрировать в какую-нибудь французскую

колонию». Гоген нисколько не сомневался, что он и его товарищи вполне отвечают

требованиям Общества колонизации. Разве у них не «серьезные намерения», разве они не

«твердо решили»? Хорошенько изучив справочник, он открыл, что они даже могут легко и

приятно зарабатывать деньги в Южных морях. На островах Туамоту, к востоку от Таити,

полинезийцы ныряли за раковинами и нередко находили в них крупные жемчужины. И

Гоген с жаром изложил Бернару блестящую мысль, которая у

него возникла: «Не

исключено, что де Хаан без ущерба для нашей дикой и простой жизни сможет вести дела с

голландскими торговцами жемчугом».

Предвкушая райскую жизнь на Таити, Гоген еще в одном отношении переменил свои

планы. Наиболее четко об этом сказано в письме датскому художнику Е.-Ф. Виллюмсену:

«Что до меня, то я уже решил. Вскоре я уезжаю на Таити, маленький островок в Южных

морях, где можно жить без денег. Я твердо намерен забыть свое жалкое прошлое, писать

свободно, как мне хочется, не думая о славе, и в конце концов умереть там, забытым всеми

здесь в Европе»**11**. Чтобы доказать продуманность своего шага, он почти дословно привел

вдохновенные и вдохновляющие строки из справочника о том, что для таитян жить -

значит петь и любить. Сообщил он о своем «непоколебимом» решении и Одилону Редону:

«Я уезжаю на Таити и надеюсь там окончить свои дни. Мои произведения, которые вам

нравятся, представляются мне молодым ростком, но я надеюсь выпестовать из него дикое

примитивное растение только для моего собственного удовольствия. Чтобы добиться

этого, я нуждаюсь в мире и покое. Слава, похвала других теперь мне совершенно

безразличны. Европейский Гоген кончился, никто здесь больше не увидит его

произведений»**12**. Говоря о жене и детях, Гоген выражал надежду, что они приедут к нему, когда он устроится как следует и сможет предложить им более обеспеченную жизнь, чем в

Копенгагене.

Скорее всего именно в эти дни Гоген создал малоизвестную картину, подписанную и

датированную 1890 годом, которая особенно наглядно показывает, что он ожидал найти на

Таити (илл. 7). Обнаженная Ева невозмутимо срывает греховно-красный плод с

живописного фантастического дерева, какие до тех пор писал только таможенный

чиновник Руссо. Много лет Гогену приходилось довольствоваться продажной любовью и

случайными связями с горничными бретонских гостиниц. И на первый взгляд кажется, что

картина всего-навсего воплощает весьма банальную и легко толкуемую эротическую

мечту. Но, как известно, произведения больших художников часто оказываются

неожиданно сложными и многозначными; так и это полотно - своего рода головоломка.

Один проницательный американский искусствовед, Генри Дорра, недавно заметил, что,

во-первых, Ева стоит в позе Будды с японского храмового фриза, который Гоген видел на

Всемирной выставке 1889 года, и, во-вторых, художник наделил Еву головой и лицом

своей матери! Со дня смерти матери, которую Гоген очень любил, прошло девятнадцать

лет, но у него была хорошая фотография (она сохранилась до наших дней), и нет никакого

сомнения, что он использовал ее как образец. Психоаналитическое толкование этого

неожиданного заимствования, предложенное все тем же зорким искусствоведом, выглядит

довольно дельным (во всяком случае, рядом с большинством других фрейдистских

объяснений, встречающихся в книгах о Гогене):

«Здесь, как и в предыдущих работах, Ева олицетворяет тягу художника к

примитивному. Гоген, чья социальная философия во многом связана с Жан-Жаком Руссо, в

своих письмах и записках часто противопоставляет прогнившей цивилизации Запада

счастливое первобытное состояние человеческого рода. Обращаясь за вдохновением к

«типам, религии, символике, мистике» примитивных народов, он искал остатки далекого

чистого детства человечества. Можно ли найти лучший символ этой мечты о золотом веке,

чем крепко сложенная плодовитая праматерь всех людей?

Гогенова «Ева» экзотична, в этом выразилось его естественное влечение к

тропической жизни. Его пристрастие к чувственным туземкам не было случайной

прихотью. Гоген сам был смешанного происхождения - в жилах его матери текла

перуанская, испанская и французская кровь, - и когда он называл себя «парией»,

«дикарем», который должен вернуться к дикому состоянию, в этом проявлялся

осознанный атавизм.

Кроме первобытности и экзотичности его «Ева» - мать; в этом качестве она выражает

эмоциональное равновесие, которое Гоген - так сложились его юные годы - связывал с

жизнью в тропиках. Сам он проникновенно говорит об этом в письме, которое написал

жене перед отъездом на Таити, когда шел седьмой год его разлуки с нею и детьми: «Жить

одному, без матери, без семьи, без детей - это для меня несчастье... И я надеюсь, что

настанет день... когда я смогу бежать на какой-нибудь полинезийский остров, поселиться

там в лесной глуши, забыть о европейской погоне за деньгами, всецело жить своим

творчеством, в окружении семьи. Там, на Таити, в безмолвии чудных тропических ночей, я

смогу слушать нежную, журчащую музыку своего сердца, гармонично сливаясь с

окружающими меня таинственными существами». Как ни парадоксально это покажется,

настроения Гогена вполне объясняются его прошлым. Поль Гоген, рано оставшийся без

отца, в детстве провел четыре года в Перу, живя там сравнительно обеспеченно с матерью

и бабушкой. Когда же его мать, Алина, вернулась с детьми в Париж, они очутились в

стесненных обстоятельствах. Кончив учение, юный Поль тотчас завербовался на судно и в

итоге много лет вел беспокойную жизнь моряка. Даже брак не принес ему желанного

душевного равновесия, так как в его отношениях с женой не было устойчивости. Похоже,

что детские годы в Перу были самой счастливой и покойной порой его жизни. Вот почему

не так уж удивительно, что поиски эмоционального равновесия связывались у Гогена с

мечтой о бегстве в тропики; экзотические страны, в которых он побывал в юности, стали

психологическим убежищем, где он укрывался в тяжелую

минуту»**13**.

В августе 1890 года на мир прекрасных грез Гогена пала первая тень: он получил

краткое известие, что Винсент Ван Гог пустил себе пулю в грудь и истек кровью. С

присущей ему прямотой Гоген писал: «Как ни печальна эта кончина, я не очень горюю,

ибо предвидел ее и знал, каких страданий стоила этому бедняге борьба с безумием.

Умереть сейчас - для него счастье, кончились его мучения; а если он, согласно учению

Будды, снова родится, то пожнет плоды своего доблестного поведения в этой жизни. Он

мог утешиться тем, что брат ни разу не предал его и что многие художники его понимали».

Обуреваемого нетерпением Гогена гораздо больше, чем потеря непрактичного и

неуравновешенного Винсента, тревожило, что доктор Шарлопен, несмотря на частые

напоминания, до сих пор не прислал ему денег. Это его тем более обескураживало, что

французское колониальное общество почему-то не торопилось помочь столь серьезно

настроенным эмигрантам получить бесплатные билеты. Дни становились короче и

дождливее. С октября Гоген и Мейер де Хаан остались одни в холодной гостинице в Лё

Пульдю. «Когда же я смогу начать свою вольную жизнь в дебрях? - горько сетовал Гоген. -

Господи, как долго это тянется! И ведь подумать только: что ни день, собирают средства

для жертв наводнений. А художники? Им никто не хочет помочь. Пусть себе помирают».

Но в эти самые дни, когда он нигде не видел просвета, случилось чудо. Гоген получил

телеграмму:

«ПОЕЗДКА ТРОПИКИ УЛАЖЕНА. ДЕНЬГИ ВЫСЛАНЫ.

ДИРЕКТОР ТЕО».

Видно, Тео Ван Гог, желая почтить память погибшего брата, решил помочь его

друзьям осуществить их общий замысел. Великолепный, благородный поступок! С такой

опорой, как Тео и его галерея, можно впредь не беспокоиться о деньгах. Увы, уже через

несколько дней это чудо, как и многие другие, получило естественное объяснение: Тео

тоже помешался. Отправив телеграмму, он утратил всякий интерес к окружающему миру,

и ему расхотелось жить. Конечно, галерея отказалась отвечать за его действия, особенно за

такой безумный план, как отправка в тропики каких-то неизвестных мазил.

В довершение всего родственники Мейера де Хаана наотрез отказались вкладывать деньги в

тропическую мастерскую. Они даже пригрозили лишить его месячного содержания, если он и

впредь будет водить дружбу с Гогеном. В середине октября Мейер де Хаан отправился в Париж

для переговоров. Возможно, эта поспешная поездка в какой-то мере была вызвана

неожиданными осложнениями между ним и хозяйкой гостиницы, Мари Анри. Во всяком случае,

Мари решительно утверждала, что Мейер де Хаан - отец ребенка, которого она родила восемь

месяцев спустя. Гоген охотно составил бы компанию своему незадачливому другу, так как ему не

терпелось поговорить с глазу на глаз с Шарлопеном и окончательно уладить сделку. Или найти

другого покупателя. Да и Шуффа не мешало расшевелить. К сожалению, у Гогена тоже не все было

ладно с хозяйкой гостиницы: он остался в залог за триста франков, которые Мейер де Хаан не смог

заплатить за него. В конце концов Эмиль Бернар его выручил, проделав невероятный трюк: он

продал пять картин Гогена по сто франков за штуку.



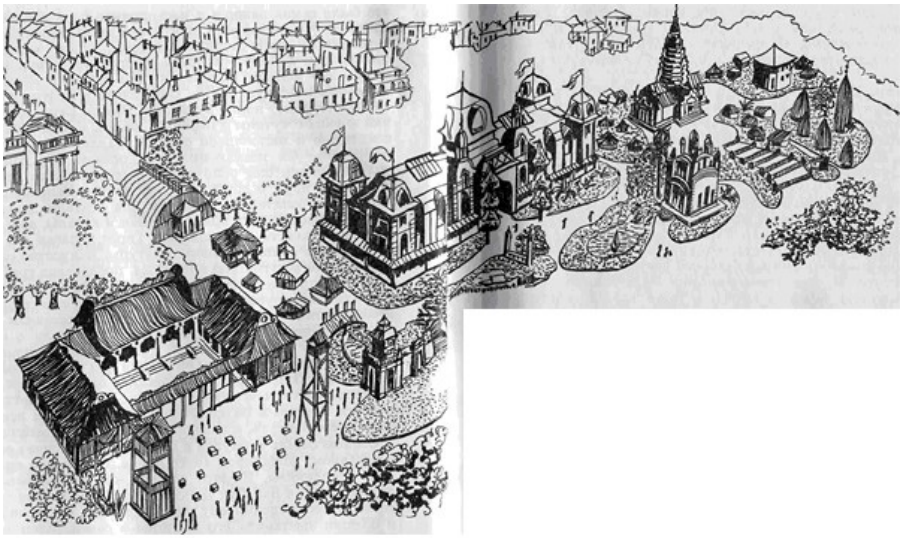
1. Таити - край, о котором

Гоген мечтал и куда он попал в 1891 г., - как и всякие другие острова Южных морей, представляет

собой разрушенную вершину круто вздымающегося со дна моря давно потухшего вулкана. Все

население живет среди пальм в узкой прибрежной полосе. Богатая рыбой лагуна лишь отчасти

прикрыта барьерным рифом.



Все
мирная выставка в Париже Колониальная секция Всемирной выставки 1889 г. в Париже, на
площади Инвалидов. В центральном двухэтажном павильоне были выставлены типичные
продукты, этнографические коллекции и фотографии из небольших колоний, в том числе с Таити и
других островов Французской Океании. Более крупным колониям были отведены отдельные
павильоны, каждый в национальном стиле. Здание с высоким острым куполом справа от
центрального павильона - копия храма из Ангкор Ват, которой так восхищался Гоген. Яванская
деревня, где он часто смотрел национальные танцы, находилась сразу за последними
постройками справа, в особой секции, посвященной Голландской Ост-Индии.





7. Что мечтал Гоген найти

на Таити, хорошо видно на малоизвестной картине, изображающей Еву в живописном тропическом

раю; эту вещь он написал в 1890 г., перед отъездом из Франции.

ГЛАВА II. Полоса удач

Из-за всех, этих досадных помех было уже 7 ноября 1890 года, когда Гоген приехал в

Париж, чтобы начать решающую битву, от которой зависело его будущее. Как обычно,

Шуффе-некер приютил его у себя. Но свой участок добрый Шуфф еще не продал, и

вообще ему явно не хотелось расставаться с тихой должностью учителя рисования в

классической гимназии, бросать семью и следовать за Гогеном в Южные моря.

Переговоры Мейера де Хаана с жестокосердными и прижимистыми родственниками тоже

ничего не дали. Но всего сильнее ударило по Гогену то, что доктор Шарлопен, несмотря на

все уговоры, окончательно отказался заключить выгоднейшую сделку века. (Тридцать

восемь картин и пять керамических сосудов, которые художник предлагал ему за пять

тысяч франков, сейчас оцениваются по меньшей мере в тридцать миллионов.) Тогда Гоген

обратился к другому частному коллекционеру, музыканту Эрнесту Шоссону. Он

подчеркивал, что тот может выручить большие деньги, продав потом половину картин в

розницу по двойной цене; в итоге вторая половина достанется ему даром**14**. Все было очень

тонко придумано, и Шоссон несомненно клюнул бы на роскошную» приманку, если бы не

одно печальное обстоятельство: ему не нравились произведения Гогена.

После этого Гоген пошел к торговцам картинами, надеясь устроить персональную

выставку, но и здесь его встретили без особого энтузиазма. Строго говоря, только в две

галереи и стоило обращаться. Во-первых, в галерею Буссо и Валадон, где уже скопилось

немало его картин, когда Тео Ван Гог был директором филиала фирмы на улице Монмартр.

Преемник Тео, друг детства Тулуз-Лотрека - Морис Жоаян, доброжелательно относился к

Гогену. К сожалению, владельцы галереи, нанимая его, дали ему строжайший наказ: «Наш

предыдущий директор, который, кстати, был таким же сумасшедшим, как его брат-

художник, набрал множество отвратительных модернистских вещей, подрывающих

репутацию нашей фирмы... Вы найдете также довольно много полотен пейзажиста Клода

Моне. Его покупают в Америке, но он, к сожалению, слишком продуктивен. По контракту

мы обязаны закупать все его произведения, и теперь он забрасывает нас однотипными

пейза жами. Что до остальных картин, то они, как мы уже сказали отвратительны. Просим

вас поскорее навести порядок не обращаясь за помощью к нам. Иначе мы закроем лавку»15.

Из всех «отвратительных картин» самыми «ужасными» разумеется, были написанные

Гогеном. И Жоаян мог подтвердить свое расположение к нему лишь тем, что, вопреки

недовольству владельцев галереи, сохранил его полотна и иногда тайком показывал их

избранным клиентам. Как ни благодарен был Гоген за такую поддержку, она вряд ли могла

помочь ему осуществить свою мечту - поскорее собрать деньги для поездки на Таити. Он

осторожно прощупал почву у другого торговца, смелого защитника импрессионистов

Дюран-Рюэля, но у того скопилось слишком много непроданных импрессионистских

полотен, чтобы он рискнул связаться с художником, пишущим еще более скандальные

вещи. Увы, судя по всему, земной рай, о котором грезил Гоген, был так же трудно

досягаем, как небесный.

Его утешало лишь то, что среди молодых художников было поразительно много

таких, которые знали его работы, стремились с ним познакомиться и жадно слушали его

революционные теории. Большая заслуга тут принадлежала его товарищу по пансионатам

в Понт-Авене и Лё Пульдю, Полю Серюзье, который выступал в роли апостола Гогена и

проповедовал новую веру парижским филистимлянам. Многие из почитателей Гогена

часто пили свой аперитив в обществе писателей, поэтов, критиков и журналистов,

вошедших в историю французской литературы под общим наименованием «символисты».

Как это всегда бывает с литературными группировками, символисты гораздо более точно и

вразумительно выражали свои антипатии, чем

формулировали свою программу и цели. К
счастью, нам здесь достаточно констатировать, что они особенно глубоко презирали
реалистическую и натуралистическую традицию во французской литературе и хотели
заменить ее новой литературой - прямо противоположной по духу. Символистов
объединяло стремление расковать спонтанное воображение; говоря словами одного из их
пророков, следовало «подсказывать, намекать и стимулировать», вместо того чтобы
описывать и объяснять. Поэтому одно из направлений символизма со временем вылилось
в сюрреализм. Очень показателен для идеологии символистов их интерес к теософии,
оккультизму, спиритуализму, каббализму, астрологии, алхимии и прочим
обскурантистским и псевдонаучным учениям, которые тогда были модны в Париже.

Политически многие символисты сочувствовали (осторожно) анархистам, а те
пропагандировали новый свободный стих символистов так же горячо, как свое свободное
общество.

Один из излюбленных тезисов теоретиков символизма гласил, что у всех видов
искусства единая цель, что писатели, художники, танцоры и музыканты могут каждый
своими средствами выразить одни и те же мысли, чувства и настроения. В поисках живых
подтверждений этой идеи они уже нашли своего великого поэта - Стефана Малларме,
который участвовал в их собраниях. И они великодушно приглашали на свои встречи
усталого, больного, спившегося Верлена, горячо приветствуя его как своего гениального
предтечу, хотя он частенько выпадал из образа, раздраженно ворча:

- Я декадент, вот я кто.

Среди композиторов символисты превыше всего ставили Вагнера; кстати, от него они
восприняли учение о единстве всех искусств. К началу девяностых годов им еще
оставалось найти себе великого" художника-символиста.

Правда, некоторые из них уже
тогда прозорливо оценили величие Одилона Редона, но он был чересчур скромен и
замкнут, чтобы стать знаменосцем нового течения. Досадную пустоту во что бы то ни
стало надо было заполнить. Обнаружив, что Гоген также не любит натурализм в
изобразительном искусстве и в литературе, они на радостях поспешили заключить, что он,
сам того не ведая, в сущности, художник-символист. Лично Гоген до самой смерти твердо
верил, что каждый гений неповторим и творит свои собственные законы. К тому же из-за
плохого образования и малой начитанности ему трудно было уследить за тонкостями
эстетических и философских дискуссий, от которых у него звенело в голове так, что он, по
примеру Верлена, иногда величал своих новоявленных друзей «цимбалистами». Однако
ему льстило их уважение и преклонение, и он понимал, что символисты могут сделать ему
много ценных услуг, особенно те, которые сотрудничают в газетах и журналах. Вот почему
Гоген не стал особенно возражать, когда его произвели в сан главы символических
живописцев.

В этой новой компании Гогену больше всех пришелся по душе красавец с
рафаэлевскими кудрями, литературный критик и поэт Шарль Морис, который был к тому
же отличным лектором, чтецом и оратором. Если верить современникам, Морис, о чем бы
он ни говорил, совершенно гипнотизировал своих слушателей. Многие утверждают, будто
он и сам настолько упивался бурным течением своих мыслей и слов, что потом долго
шатался, как пьяный. Впрочем, люди могли и ошибаться, потому что Шарль Морис
частенько напивался сверх меры. А еще, как и подобало представителю парижской
богемы, Морис питал слабость к женщинам, и они в свою очередь не могли устоять
против его неоспоримого обаяния.

Как и многие критики до и после него, Шарль Морис

особенно прославился книгой, в

которой начисто пересмотрел оценку всех великих имен литературы. Одновременно он,

разумеется, пел хвалу поэтам будущего, то есть символистам.

Все члены группы были убеждены, что тридцатилетний Морис - сам настоящий

человек будущего и скоро, очень скоро создаст бессмертные шедевры, которые помогут

окончательному торжеству литературы символистов. На счету Шарля Мориса уже было

много подвигов, из которых мы назовем «открытие» Верлена и успешную борьбу за то,

чтобы сделать его любимым и знаменитым**16**.

У Мориса, несомненно, было хорошее чутье, это видно из того, что он тотчас понял

творчество Гогена, увлекся им и в дальнейшем горячо защищал убедительными и вескими

аргументами.

Благодаря тому, что Морис - вполне справедливо - считал Гогена новым

непризнанным гением, нуждающимся в его помощи, он внимательно наблюдал за своим

другом и учителем и старался запоминать все, что тот говорил и делал. Во внешности

Гогена его при первой встрече больше всего поразили «узкий лоб, нос, скорее

изломанный, чем изогнутый или крючковатый, рот с тонкими прямыми губами, тяжелые

веки, которые медленно поднимались, открывая глаза на выкате, и голубоватые зрачки

поворачивались то влево, то вправо, но голова и тело за ними не следовали»**17**. Другой

завсегдатай кафе символистов дополняет этот великолепный, но не совсем

исчерпывающий портрет, сообщая, что волосы Гогена, «когда-то каштановые с рыжинкой,

казались выцветшими», что у него были короткие усы и «курчавая, но куцая и жиденькая

бородка клинышком»**18**. Добавим, что роста Гоген был небольшого, всего один метр

шестьдесят три сантиметра, зато он отличался крепким, мускулистым сложением.

Как ни преклонялся Шарль Морис перед учителем, он чистосердечно признается, что

на первых порах был шокирован его «выразительной, но неграмотной речью,

изобилующей морскими и жаргонными словечками, что не мешало ему, как ни странно,

излагать чрезвычайно высокие и чистые мысли». Второй цитированный выше символист

добавляет, что голос у Гогена был «глухой и сиплый, то ли из-за врожденного артрита, то

ли из-за злоупотребления табаком, ибо если Гоген откладывал в сторону сигарету, то лишь

затем, чтобы сунуть в рот трубку». Тот же автор говорит о привычке Гогена, когда он

заглядывал в кафе, «рассеянно наполнять свою кофейную чашку дешевым коньяком».

Преобладающей чертой характера Гогена Морис называет «аристократическую

надменность». И здесь он прав, потому что во всех описаниях нрава Гогена мы постоянно

встречаем слова «самодовольный», «высокомерный», даже «заносчивый». Мать Поля

неохотно признавала в своем завещании: «Что до моего дорогого сына, ему придется

самому пробивать себе дорогу в жизни, ведь он настолько восстановил против себя всех

моих друзей, что скоро окажется предоставленным самому себе»**19**. Эту характеристику

подтверждают слова, которыми Гоген ответил Шуффу, когда тот кратко его пожурил: «Мне

странно слышать, будто «я сам себе приношу вред своим высокомерием»... Людей,

которые могут быть мне полезными, очень мало. Я их знаю и никого из них, по-моему, не

обидел. Что до тех, кто может мне навредить - Писсарро и компания, - то их кудахтанье

вызвано скорее моим талантом, чем нравом. Как я ни слежу за выражением своего лица,

всем оно кажется снисходительным, будто это моя вина. И черт с ним! Нет смысла

втираться в милость у идиотов - и у меня есть основания презирать большую часть

человечества»**20**.

Конечной причиной бесспорной самоуверенности, самовлюбленности и эгоизма Поля

Гогена была, разумеется, его нерушимая вера в свой талант и

призвание, его твердое

убеждение, что он великий художник. И задним числом хочется согласиться с одним из

друзей Гогена, тоже членом кружка символистов, который говорил, что его «эгоизм был

оправдан, ведь это был творческий эгоизм»**21**. Потрясающая самоуверенность Гогена

хорошо объясняет и другую важную черту его характера: неистребимый оптимизм, из-за

которого он часто поступал безрассудно и иногда преждевременно праздновал победу. Его

неизменные провалы объяснялись не ограниченностью и не детским простодушием, как

это может показаться, а тем, что он требовал от современников, чтобы они так же

понимали и ценили его творчество, как он сам.

Услышав, что Гоген решил навсегда уехать в Южные моря, Морис тотчас выразил

свое сочувствие и одобрил этот смелый шаг, продекламировав строки Малларме:

Тоскует плоть, увы! к чему листать страницы?
Все книги прочтены! Я чувствую, как птицы
От счастья пьяны там, меж небом и водой.
Бежать, бежать! Ни сад, заросший лебедой -
Пусть отражался он так часто в нежном взоре, -
Не исцелит тоску души, вдохнувшей море,
О ночь! ни лампы свет, в тиши передо мной
Ложащийся на лист, хранимый белизной,
Ни молодая мать, кормящая ребенка.
Уходим в плаванье! Мой стимер, свистни звонко
И в мир экзотики, в лазурь чужих морей,
Качая мачтами, неси меня скорей.
(Перевод с французского В. Левика)

Сам Гоген был настроен куда более трезво и деловито: он не замедлил осведомить

Мориса, во сколько обойдется эта южноморская мечта, а заодно признался, что пока у

него, увы, нет денег даже на еду. Правда, заверил он Шарля, ему только что пришел в

голову отличный способ раздобыть средства на дорогу. Теперь Гоген задумал отправить

все свои непроданные картины или, во всяком случае, лучшие из них на аукцион в Отель

Друо. Но для успеха аукциона надо было, чтобы несколько крупных газет и журналов как

следует разрекламировали его. А для этого в свою очередь требовался свой человек и

поборник в журналистских кругах. Лучше всего такой квалифицированный, как Морис. К

чести последнего надо сказать, что он делом подтвердил, как искренне восхищается

Гогеном, охотно взяв на себя нелегкие обязанности агента по рекламе. И сразу же сделал

очень удачный ход, заручившись поддержкой влиятельного Стефана Малларме.

Гоген стал завсегдатаем кафе символистов, к нему привыкли и с ним считались, но

зато начали портиться его отношения с радушным хозяином дома Шуффенекером,

которого он намечал себе в спутники. Шуфф давно привык к тому, что Гоген, не стесняясь,

покушается на его запасы сигар и спиртного, бесцеремонно распоряжается в доме, всюду

развешивает свои картины и приводит друзей во все часы суток, и кротко все переносил с

завидным самообладанием. Но теперь, увы, было похоже, что Гоген решил распространить

свои права и на жену Шуффа, женщину кокетливую и красивую. Во всяком случае, так

заключил Шуфф, хотя убедительных доказательств у него не было. И в конце января 1891

года дошло до разрыва. Правда, безграничное преклонение Шуффа перед гением Гогена и

тут оказалось сильнее всех прочих чувств: он вызвался и впредь заботливо хранить

картины Гогена, хотя выставил их автора за дверь. Окончательно отпал еще один участник

Гогеновой экспедиции в Южные моря.

За восемнадцать франков в месяц Гоген снял меблированную комнату на улице

Деламбр, между Люксембургским парком и Монпарнасским кладбищем. Этот выбор

объясняется не только низкой платой, но и тем, что в соседнем квартале, на улице де ла

Гран-Шомьер, был чрезвычайно дешевый ресторан, названный в честь владелицы «У

Шарлотты», куда ходили главным образом ученики

разместившейся напротив частной

школы живописи - академии Коларосси. У этого ресторана было еще одно преимущество:

добрая хозяйка часто принимала у нищих художников картину в уплату за долг. И Гоген

стал здесь постоянным посетителем.

Шарлотта Карон, урожденная Футтерер, эльзаска по происхождению, и ее заведение

сыграли известную роль в жизни Гогена, вот почему стоит привести одно описание

ресторана:

«Как раз напротив «Коларосси» бросались в глаза две вывески, написанные на

металлических досках. На одной были изображены цветы, на другой - отлично

выполненные сочными красками плоды; автором первой был Альфонс Муха, второй -

Владислав Сливинский. Между вывесками открывался вход в маленькое помещение,

которое больше всего напоминало лавку парижского торговца картинами, так много

полотен всех форматов заполняло стены до самого потолка. Тут были очень интересные

вещи, а некоторые просто первоклассные... В завтрак и в обед сюда набивалось множество

народу, и стоял страшный шум. Слышалась французская, английская, польская речь.

Бархатные береты французов чередовались с поношенными польскими шляпами, и тут же

можно было заметить в изящном уборе головку красивой молодой англичанки... А в углу

напротив двери, за прилавком, сидела тучная мадам Шарлотта в желто-оранжевом платье с

розовыми цветочками. Роскошная прическа, черные брови и ресницы, ярко-синие глаза...

Она встречала входящих приветливой улыбкой; видно было, что все это добрые, близкие

друзья. Над головой мадам висел ее портрет, чудесная пастель работы Выспяньского, на

которой она была изображена в том же самом платье.

Летом все переходили в так называемый малый сад, огражденный высокой стеной.

Песок под ногами, клочок неба над головой да выполненный Выспяньским клеевой

краской большой пейзаж на одной из стен (словно задник небольшой сцены) - вот и все,

чем был примечателен этот сад. Фреска изображала Люксембургский парк с его газонами,

полный скульптур и декоративных балюстрад на фоне развесистых платанов, и фасад

дворца. Впереди - несколько девушек в итальянском национальном платье, любимые

модели Выспяньского»**22**.

Обстановка в комнате Гогена на улице Деламбр явно отвечала низкой плате; вот как ее

описывал датский художник Виллюмсен: «Мастерская была пуста, если не считать

стоявшую посреди комнаты железную кровать, на которой, играя на гитаре, сидел Гоген с

женщиной на коленях. Единственным произведением искусства, которое я увидел у него,

была только что законченная деревянная фигурка на камине. Она изображала

экзотическую женщину. Возможно, олицетворяла то, что Гоген мечтал увидеть на Таити.

Ноги были не закончены. Гоген назвал фигурку «Вожделение»**23**.

Женщина, сидевшая на коленях Гогена, была, вероятно, Жюльетта Уэ - бледная

худосочная двадцатилетняя швея с черными всклокоченными волосами, с которой он жил

в это время. Ему стоило больших трудов уговорить ее позировать без одежды для первой,

последней и единственной символистской картины, какую он когда-либо написал. Сам

Гоген назвал эту нарочитую демонстрацию солидарности со своими новоявленными

полезными друзьями «Утрата невинности», но потом без его ведома излишне

щепетильные люди переименовали ее в «Пробуждение весны». На переднем плане, на

горизонтальной плоскости, наполовину коричневой, наполовину темно-зеленой, держа в

руке увядший цветок, навзничь лежит Жюльетта. У нее на плече сидит лиса, а в глубине

картины через розовое поле наискось идет бретонское свадебное шествие. Чтобы понять

символику этой вещи, надо знать, что лиса - символ

плотского вожделения и распутства...

в Индии. Словом, так называемое символическое содержание картины ничуть не

примечательнее того, что можно увидеть на любом аллегорическом лубке.

Потом Гоген переехал в другую комнату, более заслуживающую наименования

меблированной, на улице де ла Гран-Шо-мьер, 10, напротив ресторана «У Шарлотты», то

есть в доме академии Коларосси. Возможно, он жил там бесплатно, давая за это несколько

уроков в неделю в школе живописи. Рекомендовал его старый друг и коллега Даниель де

Монфред, который тоже обедал в ресторане Шарлотты Карон**24**. Честный и обязательный

Даниель, как и Шуфф, не отличался большим дарованием и, как и тот, все бы отдал за

искру гения Гогена, перед которым оба они искренне преклонялись. Впрочем, Гоген

достаточно высоко ценил картины Даниеля, чтобы привлечь его к неудавшейся выставке в

кафе Вольпини в 1889 году. Даниель тоже искал утешения после разрыва с непонимавшей

его женой, которую где-то оставил; кажется, это он познакомил Гогена с Жюльеттой. Их

объединял также интерес к морю. У Даниеля, сына обеспеченных родителей, была 36-

тонная яхта, на которой он каждое лето ходил вдоль атлантического побережья Франции

или в Средиземном море.

Между тем самоотверженный Морис обегал все редакции и артистические кафе,

чтобы устроить статьи и бесплатную рекламу предстоящему аукциону. Его красноречие и

дипломатическое искусство принесли плоды: критики большинства ведущих газет и

журналов своевременно и подробно, на видных местах, рассказали об аукционе и

романтическом бегстве Гогена от пороков цивилизации. Самую длинную и яркую статью

написал подвергшийся особенно упорной обработке Октав Мирбо, который к тому

времени был настолько известен, что редакции, не раздумывая, печатали лишних десять

тысяч экземпляров, если в газете появлялся подписанный им материал. Для нас в

блестящей, как всегда, статье Мирбо (она появилась в «Эко де Пари») особенно интересно

очаровательное объяснение причин, которыми было вызвано героическое решение Гогена:

«Та же потребность в тишине, сосредоточенности и полном одиночестве, которая привела

его на Мартинику, побуждает его на этот раз уехать еще дальше, на Таити, в Южные моря,

где природа лучше отвечает его мечте и где он может рассчитывать на более радушный

прием, словно блудный сын, возвратившийся к родным пенатам». Мирбо превзошел сам

себя, написав вторую, не столь длинную, зато еще более хвалебную статью, которая

появилась через два дня на первой полосе «Фигаро»**25**.

Гоген был в таком восторге, что попросил разрешения у автора включить первую

статью в каталог аукциона. Но, как и следовало ожидать, особенно превозносил величие

Гогена наделенный почти пророческой прозорливостью критик-символист Альбед, Орье.

Свое эссе на пятнадцать страниц в главном органе символистов «Меркюр де Франс» он

заключил громкой фанфарой:

«Но какими бы волнующими, мастерскими, великолепными ни были произведения

Гогена, они ничто перед тем, что он мог бы создать в любом другом обществе, кроме

нашего. Хочу повторить: Гоген, как и все художники-идеисты, прежде всего декоратор. На

ограниченной площади холста его композициям тесно. Порой кажется, что это лишь

фрагменты огромных фресок, готовые взорвать сковывающие их рамки.

Да-да, в этом веке, который уже на исходе, мы знаем пока только одного великого

декоратора, может быть, двоих, если еще считать Пюви де Шаванна! И однако наше

идиотское общество, где столько банкиров и ученых инженеров, отказывает этому

неповторимому художнику в возможности развернуть изумительный чепрак своего

воображения на стенах самого маленького дворца или хотя бы общественного сарая. А

стены наших классических пантеонов размалеваны пачкунами вроде Ленепьё или

академическими ничтожествами.

О власть имущие, если бы вы знали, как потомки будут вас проклинать, поносить и

осмеивать в тот день, когда у человечества откроются глаза на прекрасное! Проснитесь,

проявите хоть каплю здравого смысла, среди вас живет гениальный декоратор. Стены,

стены, дайте ему стен!»**26**.

Лишь один человек резко осуждал направление, в котором теперь развивалось

творчество Гогена, - его бывший друг и учитель, убежденный и бесстрашный социалист

Писсарро. Он писал: «...оно типично для нашего времени. Буржуазия испугана и озадачена

голосом масс, решительными требованиями народа, она чувствует, что неплохо бы

попытаться вернуть народу его суеверия. Отсюда расцвет религиозного символизма,

религиозного социализма, идеалистического искусства, оккультизма, буддизма и так далее.

Гоген отлично уловил это. Я давно ждал, что враги рабочих станут на этот путь. Будем

надеяться, что мы видим предсмертные судороги этого творческого течения.

Импрессионисты - вот носители верного убеждения, они представляют искусство,

основывающееся на ощущениях, это честное убеждение».

Выставка в аукционном зале Отеля Друо открылась в воскресенье 22 февраля. Среди

многочисленных посетителей Гоген неожиданно встретил Эмиля Бернара, о котором давно

ничего не слышал. Было сразу видно, что Эмиль сердит и ожесточен; красавица Мадлен,

как обычно, сопровождавшая брата, открыто обвинила Поля в «предательстве»,

причинившем Эмилю «большой ущерб». Подразумевалось то, что ни одна газета, ни один

журнал ни словом не упомянули, сколь важную роль сыграл Бернар в рождении

синтетического стиля. Кроме того, Эмиль, судя по всему,

ожидал, что Гоген пригласит его

участвовать в аукционе. При этом он, увы, забывал одно досадное обстоятельство, а

именно, что он еще не написал ни одной картины, которая хоть сколько-нибудь могла

сравниться с творениями Гогена. Говорить с ним явно было бесполезно, и Гоген не стал

ничего отвечать, только с грустью отвернулся от когда-то любимого ученика. Теперь из

четырех товарищей, которых он первоначально задумал взять с собой в Южные моря,

оставался только Мейер де Хаан, да и тот все еще никак не мог поладить со своими

скупыми и несговорчивыми родственниками.

В остальном все шло по плану. Просмотр картин и назначенный на следующий день

аукцион привлекли много посетителей; к счастью, картины занимали их не меньше, чем

оригинальная личность художника. Торги шли очень лихо; из тридцати полотен,

написанных на Мартинике, в Арле и Бретани, двадцать девять были проданы по цене,

которая намного превосходила исходные двести пятьдесят франков, назначенные Гогеном.

Больше всего, девятьсот франков, принесло ему нашумевшее полотно, синтетический

манифест 1888 года - «Борьба Иакова с ангелом». За другие картины было заплачено по

пятьсот, по четыреста франков. Если вычесть двести сорок франков за картину, которую

Гоген выкупил сам, потому что она не достигла назначенного им минимума, аукцион в

целом дал девять тысяч триста девяносто пять франков**27**. Даже за вычетом пятнадцати

процентов комиссионных, а также расходов на рамы, каталог и тому подобное, должно

было остаться чистыми не меньше семи тысяч пятисот франков, то есть намного больше

того, что Гоген запрашивал у Шарлопена. В благодарность за помощь он «дал взаймы»

вечно нуждающемуся Шарлю Морису пятьсот франков и назначил его своим поверенным

на время поездки в Южные моря.

После такого успеха Гоген, естественно, решил, что стоит на

пороге полного

признания. И сразу станет легче с деньгами. Он сможет наконец осуществить свою самую

горячую мечту, вызвать к себе жену, которую видел лишь мельком в 1887 году, и пятерых

детей, с которыми не встречался уже шесть лет. Но захочет ли Метте плыть с детьми на

Таити, даже если у него будет постоянный доход? Чтобы выяснить это, надо повидаться и

переговорить.. . И еще за неделю до аукциона, когда газеты усиленно писали о нем, он

ласково, но с достоинством запросил ее, можно ли ему приехать в Копенгаген, чтобы

попрощаться: «Мне нужно сказать тебе так много, о чем не напишешь. Я понимаю, ты

несешь тяжелое бремя, но будем смотреть в будущее, и я верю, что в один прекрасный

день смогу совсем снять бремя с твоих плеч. Он настанет - день, когда твои дети смогут

предстать перед кем угодно, где угодно, почитаемые и охраняемые именем своего отца».

Метте, естественно, считала, что пятерых детей с нее достаточно; она ответила, что охотно

его встретит, но боится, как бы они от наплыва чувств не совершили какую-нибудь

«глупость». Гоген, слегка обиженный, обещал на всякий случай остановиться в гостинице.

После этого Метте написала, что ждет его, и заодно попросила привезти французский

корсет - так сказать, искупительную жертву.

Седьмого марта Гоген прибыл северным экспрессом на центральный вокзал

Копенгагена. На перроне его встречали тронутая сединой супруга и двое старших детей -

шестнадцатилетний Эмиль и тринадцатилетняя Алина. Как было условлено, он отвез свои

вещи в маленькую гостиницу на Вестре-Бульвар, после чего все вместе отправились в

центр города, где в доме 47 по улице Виммельскафтет, в просторной квартире Метте, их

ждали трое младших детей. Кловис, Жан и Пола - двенадцати, десяти и семи лет - по-

французски знали только «бонжур»; старшие объяснялись немногим лучше, к тому же

Эмиль с первой минуты смотрел волком на отца. Так что из всех детей Гоген мог

поговорить только с Алиной, и она глубоко тронула его своим интересом к его, как ей

казалось, чрезвычайно романтической жизни и профессии**28**.

Супруги не оставили никаких записей о том, что они говорили и делали за неделю,

проведенную Гогеном в Копенгагене. Однако из письма, которое Поль послал жене как

только вернулся в Париж, видно, что Метте соглашалась возобновить совместную жизнь,

хотя наотрез отказывалась участвовать в каких-либо южноморских приключениях. Со

своей стороны, Поль обещал приехать обратно, как только напишет достаточно

экзотических картин, чтобы можно было устроить большую персональную выставку. От

мысли организовать мастерскую в тропиках для пролетариев европейского искусства он

совсем отказался; это видно из его трогательного прощания с «обожаемой Метте», как он

величал ее на этот раз: «Теперь будущее обеспечено, и я буду счастлив, очень счастлив,

если ты разделишь его со мной. Пусть нам недоступны больше сильные страсти, пусть мы

поседели, мы еще сможем насладиться днями, полными мира и душевного счастья в

окружении наших детей, плоти от нашей плоти». Письмо заканчивалось словами: «До

свидания, дорогая Метте и дорогие дети, крепко любите меня. Когда я вернусь, наш брак

начнется заново. Так что сегодня я шлю тебе обручальный поцелуй. Твой Поль»**29**.

Пока Гоген был в Дании, Морис продолжал отстаивать интересы своего щедрого

друга. Через посредников ему удалось убедить самого министра просвещения, что следует

почтить прославленного художника официальной миссией. Даже могущественный

Клемансо обещал замолвить словечко за Гогена, хоть и не знал его лично. Громкое

выражение «официальная миссия» тогда, как и теперь, подразумевало всего лишь

составленное в самых общих выражениях рекомендательное

письмо, которое любой

«деятель культуры» мог и может получить, были бы влиятельные друзья. Тем не менее

человеку, едущему во французские колонии, полезно заручиться таким письмом, так как

бумага, подписанная министром, производит на губернаторов, чиновников, жандармов и

таможенников очень сильное впечатление и они готовы предоставить ее владельцу всякие

льготы и безвозмездную помощь.

Узнав по возвращении из Копенгагена, что почва подготовлена, Гоген тотчас сочинил

заявление, искусно подражая обычному для таких бумаг униженному тону и

высокопарному слогу:

«Париж, 15 марта 1891.

Господин Министр!

Я хочу отправиться на Таити, чтобы написать ряд картин в этом краю, дух и краски

которого считаю своей задачей увековечить. Соответственно, я имею честь просить

Господина Министра, чтобы мне, подобно Господину Дюмулену, была доверена

официальная миссия, которая, хотя и не предусматривая никакого вознаграждения,

благодаря иным, вытекающим из нее льготам, тем не менее облегчит мои исследования и

переезды.

Ваш покорнейший слуга *Поль Гоген*»**30**.

Больше того, вместе с Морисом он бесстрашно отправился к ведущему

представителю глубоко презираемого им официально признанного салонного искусства, -

другими словами, к директору Академии художеств. От сего компетентного деятеля

зависело, что решит министр просвещения. Скорее из уважения к могущественным

друзьям Гогена, чем к его возмутительно неакадемическому искусству, директор любезно

обещал не только помочь Гогену получить «миссию», но и добиться, чтобы государство

приобрело у него картину за три тысячи франков, когда он вернется. В книге о Поле

Гогене, которую Морис написал незадолго до своей смерти,

он сообщает, что, окрыленный

новой победой, по пути домой без умолку болтал о том, о сем.

«Но Гоген молчал. Я сказал ему, что долгая и трудная борьба кончилась, теперь он

сможет наконец без помех идти к цели. Но тут я взглянул на него и тоже смолк,

изумленный выражением предельного отчаяния на его лице. Его обычно свинцовая кожа

вдруг стала мертвенно-бледной, черты лица были искажены, взгляд был отсутствующим,

он через силу переставлял ноги. Я осторожно взял его за руку. Он вздрогнул, указал на

ближайшее кафе и сказал:

- Зайдем сюда.

Как только мы сели в самом темном углу (в этот ранний час кафе было пусто), Гоген

спрятал лицо в ладонях и разрыдался. Я был скорее испуган, чем растроган. Как может

такой человек плакать!

Наконец он приподнял голову и пробормотал:

- Никогда я не был так несчастлив.

- Как? Несчастлив? В такой день, когда к тебе наконец приходит признание и ты скоро

будешь знаменит?

- Как ты не понимаешь... Я не мог одновременно следовать своему призванию и

содержать семью. Тогда я избрал призвание, но и тут провалился. Теперь, когда можно на

что-то надеяться, меня, как никогда, мучает жертва, которую я принес и которой не

вернуть.

Он долго говорил о жене и детях, которых покинул, чтобы отдать все силы и все свое

время творчеству, и которых так горячо любил.

Вдруг встал и произнес:

- Я пойду, мне надо побыть одному. Увидимся через несколько дней.

И он добавил, горестно улыбаясь:

- Когда ты сможешь простить меня за то, что я досадил тебе своими слезами»**31**.

Однако, встречаясь с другими своими товарищами, Гоген не снимал личины

оптимизма и самоуверенности. Теперь, когда он так преуспел, они, разумеется, громче

прежнего твердили, что Гоген их соратник. И, конечно, они не могли отпустить его на

Таити, не воздав еще раз должного ему и их общим идеалам. По традиции, был назначен

банкет, который состоялся 23 марта в «штабе» символистов - кафе «Вольтер» на площади

Одеон в Латинском квартале. Пришли и верные друзья Гогена Поль Серюзье и Даниель де

Монфред, хотя их никак нельзя было назвать правоверными символистами. Самыми

знаменитыми среди сорока участников банкета были Одилон Редон и Стефан Малларме.

Зато бросалось в глаза отсутствие двух Эмилей - Бернара и Шуффенекера. Что до Мейера

де Хаана, то никто из присутствовавших не посчитал нужным записать, участвовал он или

нет. Известно только, что к этому времени он окончательно потерял надежду выжать

деньги на дорогу из своих прижимистых родственников. А так как Гоген отказался от

мысли навсегда покинуть страну, то без особых сожалений смирился с необходимостью

ехать одному.

Как того требует французская традиция, великолепное меню званого обеда было

сохранено для потомства**32**. Вот этот важнейший документ.

Potages Saint-Germain. Tapioca

Hors-d'oeuvre Beurre. Olives. Saucisson

*

Filet de barbue sauce dieppoise

*

Salmais de faisan aux champignons

Gigot d'agneau roti Flageolets maitre d'hotel

*

Fromage Brie

*

Corbeille de fruits Petite fours glaces

*

Vin Beaujolais

Речей было не меньше, чем блюд, и все они дословно записаны**33**. Первым, само собой, взял слово председатель, Стефан Малларме. Его спич отличался ясностью и краткостью:

«Давайте без обиняков выпьем и пожелаем Полю Гогену благополучно вернуться

обратно, а одновременно выразим наше восхищение тем, как самоотверженно он в

расцвете сил ищет обновления в дальних странах и глубинах собственной души».

Точка. Все чокнулись.

Следующим оратором был ныне забытый поэт Эдуард Дюбю. Он провозгласил

заслуженный тост в честь критиков и журналистов, которые так отлично подготовили

успех аукциона. Затем Шарль Морис горячо и с большой выдумкой описал в стихах, какое

райское блаженство ожидает Гогена в конце его долгого путешествия. Лирическая

словопись Мориса, явно вдохновленная Гогеном, изображала

таитян, как «живые
скульптуры первобытной поры человечества», «одетые только в солнечные лучи»., исполненные «сладостного вожделения» и «с неизменной улыбкой» расхаживающие
«среди цветов».
Понятно, за этими восторженными строфами последовали еще тосты, провозглашенные другим поэтом-символистом в честь таитянского рая и нового
солнцепоклонника и за здоровье всех предыдущих ораторов. Следующим, пятым оратором
был самый младший из присутствующих, Жюльен Ле-клерк, который претендовал на
звание поэта не столько тощим сборничком «Strophe d'Amant», сколько своей
внешностью: худая фигура, бледное лицо, взъерошенные волосы. Ему явно было трудно
соперничать с братьями-символистами; это видно по тому, какими избитыми фразами он
приветствовал почетного гостя.
«Мой дорогой Гоген!
Узнать вас значит не только восхищаться большим художником, но и глубоко ценить в
вас человека, а как же радостно восхищаться тем, кого любишь! Все три года, что вы
будете отсутствовать, ваши друзья часто будут вспоминать своего отсутствующего друга.
За эти три года многое произойдет, дорогой Гоген. Те из нас, кто еще очень молод, - я один
из них - достигнут зрелости к вашему возвращению, а те, что постарше, уже пожнут
заслуженные плоды своего труда. А так как будущее, заря которого уже занялась,
приблизится к нам, мы все гораздо более веско сможем воздать дань вашим прекрасным
произведениям».
Единственное интересное в этой речи, - слова, из которых явствует, что теперь Гоген
считал три года необходимым сроком, чтобы завершить свою миссию на Таити.
Дальше опять было художественное чтение, все услышали только что сделанный
Малларме перевод «Ворона» Эдгара Аллана По; затем были

еще тосты, и наконец пришла

очередь Гогена выразить свою благодарность. Как и следовало ожидать, после стольких

речей и тостов он говорил с трудом и, запинаясь, заверил присутствующих, что всех их

любит и очень тронут. «Поэтому я не могу говорить долго и красиво. Некоторые из нас

уже создали шедевры, которые завоевали большую известность. Я пью за них и за

будущие работы».

Речи на этом кончились, но возлияния продолжались. «Уже рассвело, когда участники

наконец разошлись», - сообщает «Меркюр де Франс».

Первым преимуществом официальной миссии Гогена было то, что он получал

тридцать процентов скидки на всех принадлежащих государству судах. Это определило и

его маршрут. В то время из Франции на Таити можно было попасть четырьмя путями**34**.

Первый, который с некоторой натяжкой называли единственным «прямым сообщением»,

был самым долгим. По этому маршруту ходили дряхлые парусники. Три-четыре раза в год

они отчаливали из Бордо с грузом вин, коньяка, консервов, сыра и готового платья и, если

все обходилось благополучно, после бурного и трудного плавания с остановками у мыса

Доброй Надежды, в Австралии и Новой Зеландии, через четыре месяца прибывали на

Таити. Самым быстрым был прямо противоположный путь, морем, железной дорогой и

опять морем, через Гавр, Нью-Йорк и Сан-Франциско. Если пассажир не застревал в

местах пересадки, он мог добраться до цели за шесть недель. Третий и четвертый пути

шли на восток, к Суэцу, и дальше совпадали до самого Сиднея. Обслуживавшие эти линии

суда французской государственной компании «Мессажери Маритим» выходили из

Марселя каждые сорок дней.

От Сиднея до Таити можно было добираться либо через Новую Каледонию, тоже

французскую колонию, где пересаживались на другое судно государственной компании,

либо на маленьких пароходиках через Новую Зеландию и Самоа.

Чтобы предельно использовать скидку, Гоген решил плыть через Новую Каледонию.

И он предусмотрительно довольствовался билетом второго класса, который обошелся ему

в восемьсот пять франков. У него были все основания экономить. Заем Морису, поездка в

Копенгаген, кров и стол в Париже, званые обеды, около ста метров холста, масляные

краски, новая одежда и другие необходимые расходы уже заметно отразились на его

кармане. А тут еще на беду - никчемные и непредвиденные траты, связанные с тем, что

Жюльетта забеременела. Чтобы умилостивить ее и на будущее освободиться от всяких

обязательств, пришлось дать ей немного денег, снять отдельную комнату и купить

швейную машину для работы на дому. Так что из семи тысяч пятисот франков, которые

принес аукцион, ко времени отплытия вряд ли осталось больше половины. В итоге он не

мог даже послать Метте тех денег, которые опрометчиво обещал, когда был в Копенгагене.

Но эту оплошность он надеялся скоро исправить. Теперь, когда появился спрос на его

картины, Гоген был уверен, что удастся продать старые полотна, хранившиеся в двух

галереях - Буссо и Валадона и Портье. К тому же ему предстояло вскоре поделить с

Верленом доход от бенефиса в Театре искусств, который взялись устроить великодушные

друзья-символисты; гвоздем программы была потрясающая пьеса Шарля Мориса.

Вечером 31 марта 1891 года Гоген сел в поезд, чтобы ехать в Марсель, откуда выходило его

судно. Пять-шесть друзей проводили его на Лионский вокзал и помогли тащить громоздкий багаж,

который включал ружье, валторну, две мандолины и гитару. Ружье было ему нужно для охоты,



чтобы в дебрях Таити обеспечить себя дичью и меньше тратиться на еду. Музыкальные

инструменты были, конечно, еще более необходимы на острове, счастливые обитатели которого

чуть не все время проводили в играх, песнях и любви.

Гоген в характерной позе,

между двумя важными периодами своей жизни. Он только что вернулся из Бретани (на нем

рыбацкая куртка с бретонским узором), но уже мечтал о Южных морях зимой 1891 г., когда был

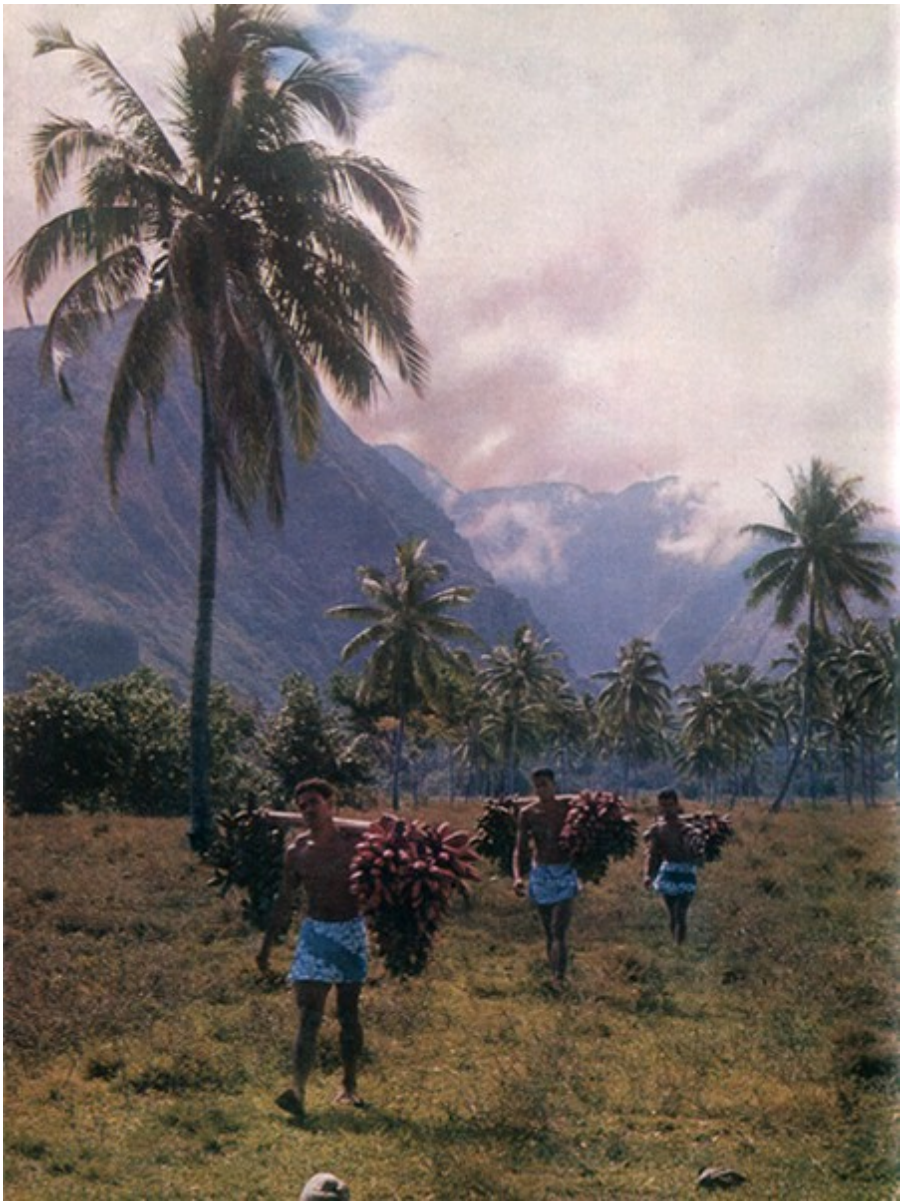
сделан этот снимок в Париже.



3. Теперь у таитянок нет времени часами плескаться в воде, как они это делали прежде. Но они каждое утро и вечер купаются в прозрачных и прохладных речках, сбегающих в море с гор внутри острова.



Метте и Поль Гоген в
Копенгагене в 1885 г., до того, как семья распалась.



4. Там, где лучше

сохранились старые обычаи и нравы, по субботам мужчины забираются в горы за дикими

красными бананами. Они приносят домой огромные грозди на неделю, чтобы было чем заедать

рыбу.

ГЛАВА III. Среди соотечественников

«Океания», водоизмещением 4150 тонн, на которой Гоген первого апреля 1891 года

вышел из Марселя, была меньше большинства пассажирских

судов «Мессажери

Маритим», обслуживающих в наши дни ту же линию**35**. Зато пароход был новый, поместительный и роскошно оборудованный. Добавим, что он развивал скорость до

пятнадцати узлов - совсем неплохо даже по современным меркам. Уже 7 апреля «Океания»

прошла Суэцкий канал, а еще через четыре дня прибыла в Аден. Отсюда Гоген послал

Даниелю де Монфреду короткое письмо, сообщая, что третий класс мало чем уступает

второму, и ругая себя - переплатил за билет пятьсот франков! Похоже, в его кошельке не

было даже тех трех-четырех тысяч, которые должны были остаться от вырученных на

аукционе денег.

В Индийском океане судно сперва пошло почти прямо на юг, так как предстояло зайти

на Сейшельские острова, Реюньон и Маврикий. Миновав когда-то манивший Гогена

Мадагаскар, пароход через теплый пассатный пояс южнее тропика Козерога направился в

Австралию. Естественно, очутившись после долгой и многотрудной зимы в тропиках,

Гоген отдыхал душой и телом. Сам он сообщает, что в основном «бессмысленно

таращился на горизонт». Единственное, что отвлекало его от этого приятного и праздного

занятия, были «дельфины, иногда выглядывающие из воды, чтобы поздороваться».

Похоже, разговоры самого Гогена с пассажирами тоже редко шли дальше простого

«здравствуйте». Его спутниками были почти исключительно служащие французской

колониальной администрации, которые направлялись к новому месту службы - кто на

Реюньон, кто (таких было большинство) в Новую Каледонию. Всего два года назад он сам

добивался места в колониальной администрации Тонкина, но с тех пор его мнение об этом

сословии явно изменилось, потому что в своем первом письме Метте он презрительно

называет его представителей «никчемными людьми» и возмущается тем, что государство,

то есть налогоплательщики, обязаны оплачивать их

«увеселительные поездки». Вместе с
тем он допускал, что, «в сущности, это славные люди, у них лишь один недостаток, к
сожалению, очень распространенный: все они страшные посредственности». По-
видимому, презрение было взаимным, так как он признается, что чувствовал себя
«удивительно одиноким» среди всех этих холеных чиновников в крахмальных
воротничках. Наверно, одной из причин, почему они сторонились Гогена, была его
внешность. Мало того, что он отрастил длинные волосы, которые, кстати, совсем не шли к
его мужественному лицу, Гоген к тому же носил коричневый бархатный костюм,
фиолетовые ботинки и широкополую артистическую шляпу!
После заходов в Аделаиду, Мельбурн и Сидней, которые показались Гогену большими
и бездарными слепками с городов Англии, «Океания» наконец 12 мая бросила якорь на
рейде Нумеа. Соблюдая полное беспристрастие, он не менее саркастически отозвался и об
этом типичном французском городишке, который в девяностых годах прошлого столетия
был почти таким же пресловутым местом ссылки, как Гвиана. «Что за потешная колония
этот Нумеа! Красивая и забавная. Чиновники с годовым жалованьем всего пять тысяч
франков могут позволить себе разъезжать с семьей в собственных экипажах, одевать жен в
дорогие наряды. Разгадайте эту загадку, кто может! Невозможно! Всех богаче бывшие
каторжники, и они вполне могут рассчитывать на видное положение. Отсюда соблазн
мошенничать и вести беспутную жизнь, ведь если ты попадешь под суд, то быстро
станешь счастлив».
В пути Гоген с недовольством узнал, что между Новой Каледонией и Таити суда ходят
всего два-три раза в год, и если ему не повезет, придется торчать в Нумеа несколько
месяцев. Сойдя на берег, он поспешил обратиться в канцелярию губернатора и услышал,
что его верно информировали. Впрочем, его тут же успокоили

известием, что следующее

судно отправляется уже через неделю. Речь шла о военном транспорте «Вир», который «по

особому назначению» ходил между островами и, если оставалось место, брал

гражданских пассажиров. Билет стоил неслыханно дешево, всего шестьдесят франков**36**. К

тому же благодаря официальному письму Гогена без разговоров поместили с офицерами, и

ел он в офицерской кают-компании. Несмотря на это, последний этап путешествия

оказался самым тяжелым и неприятным, главным образом потому, что «Вир» представлял

собой старый парусник, который давно пора было сдать на слом, но одержимые

бережливостью военно-морские власти вместо этого снабдили дряхлую посудину

стопятидесятисильной машиной, при благоприятных условиях развивающей скорость до

шести узлов. Правда, все три мачты оставили - и очень мудро поступили, так как машина с

годами становилась все капризнее и бедному командиру «Вира» то и дело приходилось

ставить паруса, чтобы дотянуть до порта. Был у достопочтенного корабля и еще один

недостаток. Хотя он уже много лет служил в мирных водах Южных морей, на нем по-

прежнему стояло шесть палубных пушек, по три с каждой стороны; в итоге - сильная

качка даже при умеренной волне.

Новая Каледония и Таити лежат почти на одной широте, в поясе, где круглый год дует

восточный пассат. И, зная многочисленные пороки «Вира», его капитан никогда не

отваживался идти против ветра прямо на Таити. Он поступал, как поколения

судоводителей до него: спускался в новозеландские воды, чтобы воспользоваться

господствующими там сильными западными ветрами. Путь от этого почти удваивался, но

зато получался выигрыш во времени. Плавание от Нумеа до Таити занимало всего около

трех недель; конечно, если машина не подводила.

«Вир» отчалил в назначенный срок - 21 мая, другими

словами, до разгара зимы в

южном полушарии. Так что Гоген вряд ли зяб, даже когда судно проходило самую южную

точку огромного полукруга. Но теснота на борту была невыносимая: вместе с ним плыли

тридцать пять солдат, три флотских офицера, жандарм с семьей, капитан-пехотинец (с

нефранцузской фамилией Сватон, очевидно, фламандец) и одна-единственная таитянка**37**.

Тем не менее сомнительно, чтобы пассажиры предпочитали отсиживаться в своих каютах.

Вот как описывает условия на борту один чиновник французской колониальной

администрации, проделавший тот же путь несколькими годами раньше: «Я один занимаю

каюту рядом с кладовкой. Но я стараюсь возможно меньше находиться в каюте, потому

что даже днем там тьма кромешная, и вентиляторы плотно задраены, не позволяя выгнать

спертый воздух и вонь, распространяющуюся из машинного отделения. И, однако, я пока

не жалуюсь на сон, несмотря на полчища огромных тараканов, которых, вероятно,

приманивает солонина в кладовке... Так или иначе, время идет. Лучшая пора дня - утро.

Как только рассветает, я с радостью выскакиваю из своей смердящей каюты и поднимаюсь

на мостик, чтобы наполнить легкие свежим морским воздухом... Офицеры, сменившиеся с

ночной вахты, отдыхают, судовой врач играет у себя на флейте, а мы режемся в вист в

офицерской кают-компании»**38**.

Погода стояла на редкость хорошая, машина, против всех ожиданий, ни разу не

отказала, и на восемнадцатый день плавания, рано утром 7 июня, на горизонте показался

первый из островов Французской Полинезии (или, как тогда говорили, - Французских

поселений в Океании). Речь идет о невысоком гористом островке Тупуаи в Австральном

архипелаге, лежащем к югу от Таити.

В этот день Гогену исполнилось сорок три года - очень важный день рождения, самая

критическая пора в жизни мужчины. Особенно если главная

работа еще впереди. И мы

вправе предположить, что Гоген остро ощущал, что он стоит на пороге больших перемен,

судьба его решится в этом неведомом островном царстве.

Было еще темно, когда «Вир», в ночь с 8-го на 9 июня, подошел к соседу Таити,

маленькому острову Моореа. Только мечущиеся огни факелов у западного берега Таити,

где рыбаки вышли на аутригерах ловить на свет летучих рыб, говорили о том, что Гоген

наконец достиг своего южноморского рая.

В глубокую, хорошо защищенную гавань на севере Таити, где находится столица всей

колонии - Папеэте, попадали через узкие ворота в коралловом рифе. Очень сильное

течение делало этот проход опасным ночью, и командир «Вира» сбавил ход, чтобы

подойти туда на рассвете. Поэтому, когда в половине шестого утра на светлеющем

тропическом небе вырисовался вздымающийся на две с лишним тысячи метров конус

Таити, судно было уже слишком близко к острову, и Гоген не мог как следует его

обозреть**39**. Самый величественный вид на Таити (остров представляет собой не что иное, как вершину исполинского подводного вулкана) открывается с расстояния десяти морских

миль. Причем должна быть ясная погода, иначе видно только основание размытого

свинцово-серого треугольника, все остальное скрыто в густой дождевой туче. А в

хороший день за десять миль можно отчетливо различить головокружительные обрывы и

темные глубокие расщелины, прорезанные за много миллионов лет разрушительным

действием воды и ветра. Дикий, угрюмый вид и пепельно-серые с переходом в

металлическую синь краски издали придают Таити сходство с лунным кратером; наверно,

поэтому восхищенные путешественники, описывая свое первое впечатление, столь охотно

употребляли прилагательные «сверхъестественная» и «неземная» красота. Но когда

подходишь ближе, краски исподволь меняются, ведь горы на самом деле вовсе не голые,

они покрыты пышным ковром ярко-зеленого папоротника в рост человека.

Не получил Гоген представления и о Папеэте, хотя «Вир» был в нескольких стах

метрах от берега, когда на борт поднялся лоцман. Дело в том, что город закрывала

сплошная стена усыпанных красными цветами брахихитонов. Она тянулась вдоль всей

двухкилометровой излучины залива и только две-три шхуны да несколько аутригеров

говорили, что тут есть люди. Лишь после того как «Вир» бросил якорь и пассажиров

свезли на поросший травой берег, Гоген смог оценить, в какой мере его умозрительное

представление отвечало действительности.

Он мгновенно убедился, что мечта и явь не совпадают. Если вспомнить, с каким

жадным ожиданием он ехал, для него, наверно, было настоящим ударом вместо красивого

селения с живописными хижинами увидеть шеренги лавок и кабаков, безобразные,

неоштукатуренные кирпичные дома и еще более безобразные деревянные постройки,

крытые железом. Конечно, если бы Гоген прибыл сюда вместе с Лоти, то есть лет двадцать

назад, он застал бы более приглядное зрелище. Но после того как в 1884 году половину

города уничтожил пожар, был принят закон, запрещающий строить дома из бамбука,

пальмовых листьев и прочих легко воспламеняющихся материалов. Однако еще больше

Гогена обескуражило, что полинезийцы ничуть не походили на голых Ев и диких

Геркулесов, ради встречи с которыми, мечтая писать их и разделить с ними райскую

жизнь, он обогнул половину земного шара. О фигурах женщин вообще нельзя было

судить, ибо все скрывали длинные, широкие платья-мешки - такую моду ввели

миссионеры. Чуть ли не еще более нелепо выглядело пристойное одеяние мужчин: что-то

вроде юбочек из цветастого набивного ситца, белые рубахи на выпуск и желтые

соломенные шляпы того самого фасона, который Морис

Шевалье позже прославил на весь
мир. Если говорить о внешних признаках, таитяне лишь в одном решительно
противостояли цивилизации: почти все они ходили босиком.
Впрочем, и Гоген был одет совсем не так, как европейцы, которых привыкли видеть
таитяне, - ни мундира, ни белого полотняного костюма, ни черного сюртука, ни даже
тропического шлема. Глядя на его женственно элегантную прическу и шляпу, они приняли
Гогена за европейского маху. Так называли здесь гомосексуалистов-трансвеститов,
которых на Таити было довольно много и которых осуждали одни миссионеры. Можно
даже сказать, что маху пользовались уважением и популярностью не только как
сексуальные партнеры, но и как домашние работницы, умеющие отлично стряпать,
стирать и шить.
По случаю раннего часа никто в городе не видел, как подходил «Вир», поэтому на
пристани не оказалось никого из представителей местной власти. Отелей в Папеэте в 1891
году не было. И Гоген стоял совершенно растерянный в окружении хихикающих
островитян. Наконец прибежал запыхавшийся лейтенант, чтобы приветствовать самого
знатного пассажира, а именно капитана Сватона, присланного на Таити на должность
командира местного гарнизона. Так как Гоген прибыл в обществе Сватона, молодой
лейтенант Жено учтиво пригласил его к себе; дом Жено стоял всего в нескольких стах
метрах от пристани. Таитяне пошли за ними и столпились у калитки, продолжая пялиться
на европейского *маху*, так что лейтенанту пришлось прогнать их**40**.
Самым высокопоставленным лицом на острове считался король Помаре V. Но Гоген
несомненно знал (а если не знал, то его просветил лейтенант Жено), что настоящим и
почти единоличным правителем был французский губернатор. И как только открылась
губернаторская канцелярия, он пошел туда, чтобы предъявить

свое рекомендательное
письмо и постараться получше использовать его. Он увидел небольшого роста мужчину
лет пятидесяти, с бакенбардами, очень смуглого, но с чисто европейскими чертами лица,
так что не родись Этьен-Теодор-Мондезир Лакаскад на негритянском острове Гваделупа,
даже его врагам не пришло бы в голову называть его мулатом (илл. 21). К несчастью для
губернатора, он нажил себе много врагов, а манеры его производили смешное
впечатление. Беспристрастный свидетель, американский историк Генри Адаме, пишет о
нем: «Он был очень любезен, засыпал нас кучей приглашений, которых мы не могли
принять, выпаливал фразы, полные какой-то японской смеси подобострастия,
покровитель-ственности и подозрительности»**41**. Кстати, Генри Адаме, который попал на
Таити, совершая на досуге кругосветное путешествие, покинул Папеэте всего за четыре
дня до прибытия Гогена. С ним вместе путешествовал его лучший друг, художник Джон
Лафарж, которого не без основания называли «американским Пюви де Шаванном».

Поль Гоген тоже восхищался Пюви де Шаванном; он, наверно, и с Генри Адамсом
нашел бы общий язык, так как оба были не в ладах с цивилизацией и всегда мечтали о
более гармоничной жизни.

Как Генри Адаме, так и Джон Лафарж отличались наблюдательностью и хорошо
владели пером; между прочим, в их письмах и книгах можно найти чрезвычайно
интересный рассказ о Роберте Луисе Стивенсоне, с которым они повстречались на Самоа.

Задержись они на Таити чуть дольше или попади они туда чуть позже, мы, наверно,
располагали бы тем, чего нам теперь так недостает: глубоким психологическим портретом
Гогена и квалифицированным отчетом о его творческих взглядах и работе в первое время
пребывания на острове.

Возвращаясь к губернатору Лакаскаду, следует сказать, что

при всей своей нелепой

манерности он был знающим и энергичным человеком. Он начал свою карьеру врачом,

потом много лет занимал пост директора банка, был избран в палату депутатов Франции и,

наконец, благодаря своему административному и дипломатическому дару получил видную

должность в колониальной администрации. Ему необычайно доверяли, это видно из того,

что Лакаскад губернаторствовал уже пять лет, когда прибыл Гоген, меж тем как

большинство его предшественников не смогло продержаться даже положенных трех лет**42**.

От министра колоний губернатор двумя неделями раньше получил с текущей почтой

через Америку известие об «официальной миссии» Гогена. Поэтому он держался очень

учтиво и предупредительно, что, разумеется, породило благоприятную цепную реакцию,

которая распространилась на всю местную чиновничью иерархию. Квартирный вопрос

решился тут же - на первых порах Гогену отвели комнату в правительственном доме для

новоприбывших служащих. В письме Метте он удовлетворенно сообщал: «Я очень

хорошо принят как губернатором, так и начальником управления внутренних дел, а также

его супругой и двумя дочерьми (он превосходный семьянин). Я завтракал у них, и они

всячески старались сделать мне приятное».

В виде особой чести Гоген без промедления был принят в члены «Сёркл Милитер»,

мужского клуба для избранных, куда обычно принимали только офицеров и высших

чиновников. Под стать ведущей роли, которую играл клуб в светской жизни Папеэте, его

помещения находились в самом большом парке в центре города, причем на огромном

баньяне, в трех метрах от земли, разместилось своего рода кафе, сидя в котором члены

клуба бросали сквозь листву рассеянные взгляды на простой люд, спешивший на работу

или с работы домой по главной улице внизу. Здесь-то двух новых членов - Гогена и

капитана Сватона - и чествовали вечером их первого дня в Папеэте; по таитянскому

обычаю им надели на шею цветочные гирлянды, а по французскому - поднесли абсент со

льда.

Окончательное подтверждение того, что Гоген признан значительной персоной,

последовало через два дня, когда в правительственном органе «Официальный вестник»

появилась заметка, извещающая, что колонию почтил своим посещением «живописец

Гоген, прибывший с официальной миссией»**43**. Фамилия была напечатана не совсем верно, но читатели этого не заметили, ведь никто на Таити раньше и не слышал о нем. Зато все

тотчас поняли, что у него, наверно, есть очень влиятельные друзья в Париже; многие даже

заподозрили, что так называемая официальная миссия только маскировка, а на самом деле

он прислан проверить, как обстоят дела в колонии. (Негласные ревизии в ту пору были

обычными.) Гогена повсюду принимали с большим почетом, и он заметно воспрянул

духом. Очень скоро он пришел к выводу, что в общем-то неожиданно высокий уровень

цивилизации в Папеэте - скорее плюс, чем минус. В день, когда появилась цитированная

заметка, 11 июня, он написал Метте: «Думаю, что вскоре получу хорошо оплачиваемые

заказы: каждый день самые различные люди просят меня написать их портреты. Пока что

я ломаюсь (самый верный способ получить хорошую цену). Так или иначе, похоже, что я

здесь смогу подзаработать, чего никак не ожидал. Завтра мне предстоит встреча с

королевской фамилией. Вот что значит реклама. Глупо, конечно, но я держусь молодцом»**44**.

Однако на следующее утро, когда до аудиенции оставалось совсем немного времени,

вдруг загрохотали пушки местного гарнизона, и бедняга Гоген услышал потрясающую

новость: то был траурный салют по случаю кончины короля Помаре V. Его величество

умер скоропостижно, но вообще-то он давно болел, даже удивительно, что дожил до

пятидесяти двух лет. Корнем зла и источником всех бед Помаре была его непомерная

жажда, унаследованная вместе с крупным состоянием, которое позволяло ему утолять ее.

Упиваться до смерти было, можно сказать, традицией в его роду. Точно так же кончили

свои дни его прадед, который после кровавых усобиц стал единоличным владыкой на

Таити в конце восемнадцатого века, дед, грозный Помаре II, силой обративший в

христианство все население острова, и отец, ничтожный супруг царствовавшей королевы,

Помаре IV. Честно говоря, Помаре V за всю свою жизнь никогда не был совсем трезв. Но

хроническим алкоголиком он стал только после того, как в 1880 году преждевременно

ушел в отставку и все силы посвятил нелегкой задаче пускать на ветер поистине

королевский оклад в 5 тысяч франков в месяц, которым его вознаградило французское

правительство. Хотя члены двух мужских клубов Папеэте охотно помогали ему

опустошать миски с его любимым коктейлем, составленным из рома, коньяка, виски и

ликера, он, как и следовало ожидать, в конце концов допился до неизлечимой болезни

печени. Тем не менее он до самого конца держался на ногах, так что Гоген был вправе

надеяться, что король Помаре примет его в назначенный час, а может быть, даже окажет

ему любезное и полезное покровительство.

Зато Гоген глубоко ошибался, считая нечестивую кончину Помаре великой

национальной трагедией и патетически восклицая: «С ним пришел конец последним

остаткам древних традиций, с ним кончилась история маори. Цивилизация солдат, купцов

и колониальных чиновников восторжествовала. Глубокое горе охватило меня». Воистину

печальная, но далеко не столь драматическая истина заключалась в том, что так

называемый процесс цивилизации Таити начался задолго до рождения Помаре V,

неспешно продолжался после его смерти и еще не закончен

по сей день, и уж если
говорить о старых исторических традициях, то они никогда не занимали короля Помаре, в
отличие, скажем, от его супруги, королевы Марау, которая, очень рано разойдясь со своим
непутевым мужем, весь досуг посвящала записям древних народных песен, героических
преданий, королевских генеалогий и эпоса.
Похороны были поручены начальнику Управления общественных работ. Радуясь, что
счастливый случай свел его с квалифицированным и официально одобренным
консультантом по вопросам эстетики, он попросил Гогена руководить украшением
большого тронного зала, где было выставлено для прощания облаченное в мундир
французского адмирала тело Помаре V (илл. 16). И как же он удивился, когда Гоген
бесцеремонно отверг почетнее поручение, заявив, что королева и женщины ее свиты
якобы обладают большим вкусом и превосходно справятся сами.
Отказ его вовсе не объяснялся недостаточным почтением к усопшему монарху, это
Гоген ясно показал в день похорон 16 июня - вместе с тысячами таитян и сотнями
европейцев он отшагал пять километров до личного склепа королевской фамилии,
расположенного на красивом мысу восточнее Папеэте (илл. 17). Гоген называет этот
мавзолей «не поддающимся описанию монументом» и жалуется, что он «режет глаз рядом
с естественной красотой растительности и всего места». А между тем при желании
описать склеп очень легко, ибо это была всего-навсего выкрашенная в красный цвет
пятиметровая каменная башня с железной крышей, увенчанной символом, который
приобрел несколько неожиданный смысл: то, что было задумано как греческая урна,
больше всего напоминало бутылку...
Зато какой радостью было для художника, только что прибывшего на остров, увидеть
сразу столько таитян, столько различных лиц и одеяний.

Пока губернатор Лакаскад читал

сто раз проверенную высокопарную речь, изобилующую витиеватыми фразами, вроде: «в

лице короля Помаре вы лишились отца, так сплотитесь же теснее вокруг вашей матери,

нашей общей матери, Франции», - Гоген достал свой блокнот и принялся делать наброски.

Времени у него было предостаточно, потому что речь Лакаскада, разумеется, переводилась

для таитян, а после губернатора взял слово придворный священник и произнес на

таитянском языке речь, длина которой никак не соразмерялась со скудными заслугами и

достоинствами покойного монарха. В заключение выступил брат королевы, знаменитый на

Таити оратор, который не любил делать что-либо наспех**45**. Как только обряд закончился, все с кощунственной, на взгляд Гогена, поспешностью и суетливостью вернулись в го-род.

Но ведь Гоген, если на то пошло, был одним из немногих, кого искренне опечалила

кончина короля, так как он, в отличие от других, видел в Помаре V не только доброго и

безобидного опереточного монарха, но и верного заказчика картин и мецената.

Сразу после похорон, не сомневаясь, что найдется еще много других знатных лиц,

которые щедро заплатят за свой портрет, и что есть полный смысл задержаться в Папеэте,

Гоген стал подыскивать себе дом. Жилье в столице не было проблемой, если не считать

того, что деревянные домишки Папеэте были похожи друг на друга как две капли воды.

Почти все они стояли на мощных каменных подпорах или полуметровых деревянных

сваях, чтобы воздух мог свободно циркулировать под полом. Это, возможно, помогло бы

поддерживать более сносную температуру в комнатах, если бы железные крыши не

превращали каждый дом в баню. Особенно тяжко было в коробках без потолка. И чтобы

не изжариться, местные жители большую часть дня проводили на окаймляющих фасады

открытых террасах. А где сваи были повыше, попросту устраивались под домом.

Канализация, конечно, отсутствовала; за водой ходили с ведрами к одной из трех
городских колонок. Впрочем, недостатки в какой-то мере возмещались тем, что уродливые
одноквартирные дома классического тропического стиля, все без исключения, были
окружены красивыми садиками с кустами гардении, гибискусом, манго и хлебным
деревом.

Как ни странно, меблированных домов в ту пору в Папеэте не сдавали. Подыскав себе
подходящую виллу, люди шли на мебельный склад и брали обстановку напрокат. Такой
неудобный порядок возник, наверно, потому, что у съемщиков были самые различные
привычки и запросы. Например, чиновники колониальной администрации предпочитали
жить на европейский лад и окружали себя всякими столиками, зеркалами, гардинами и
салфеточками. В отличие от них постоянные поселенцы часто довольствовались
несколькими циновками заменяющими и стулья и кровать, да большим деревянным
сундуком для одежды и прочего имущества.

Гоген, можно сказать, основательно обставил дом, который снял неподалеку от
католической церкви. Он взял напрокат двуспальную кровать, два стола, четыре стула,
бюро, шезлонг и сундук. Стены украсил фотографиями Метте и детей и репродукциями
картин.

Чтобы найти клиентов и получше узнать местные условия, Гоген старался возможно
скорее расширить круг своих знакомых. Для этого он даже постригся и, в соответствии с
местной модой, надел белый полотняный костюм и крахмальный воротничок. (Губернатор
и другие высокопоставленные лица обязаны были повседневно носить черный сюртук.)

Что ж, белый костюм, хотя и был далек от идеала, все-таки лучше подходил для
тропического климата Таити. Гогену еще посчастливилось приехать в начале прохладного
сухого сезона, когда температура в полдень редко превышала

тридцать градусов, а ночью,

как правило, понижалась до двадцати.

Довольно скоро Гоген уяснил себе, что три тысячи жителей этой провинциальной

дыры Папеэте делятся на множество различных групп и клик. Верхушку, как и во всех

колониях, составляли командированные чиновники и офицеры, которые привезли с собой

свои семьи и слуг. Обычно они служили на одном месте три года, после чего их

переводили в другую колонию. Эта группа, включавшая около ста человек, с известным

основанием считала себя не только политической, но и социальной и интеллектуальной

элитой. Во всяком случае, многие из них принадлежали к знатным семьям. Поэтому они

смотрели свысока на постоянных поселенцев, главным образом бывших солдат и

матросов, которые женились на таитянках и осели на острове. Большинство поселенцев

открыло магазины, лавки или трактиры, многие стали богачами. Всего «оседлых» было

около двухсот. Причем их основным пороком считались не столько грубая речь и

вульгарные манеры, сколько эгоизм и корыстолюбие. В свою очередь поселенцы обвиняли

военное и гражданское начальство в лени и чванстве. А то и в нечестности. Кроме того,

они единодушно считали, что все эти сменяющие друг друга приезжие службисты

возмутительно мало знают о местных условиях и, по справедливости, поселенцы сами

должны править двадцатью тысячами коренных жителей колонии. Вообще же они редко

бывали в чем-нибудь согласны между собой.

Впрочем, среди чиновничьего сословия тоже не было недостатка в интригах и

стычках, чаще всего из-за картофеля и таитянских девушек. Картофеля не хватало, ведь

это был импортный товар, к тому же плохо переносящий морские перевозки. А хозяйки не

могли допустить мысли о том, чтобы осквернить священную французскую кулинарную

традицию, заменив пом-де-фри с мясом бататом или иными

полинезийскими
корнеплодами, и дошедшие в сохранности ящики картофеля становились предметом
жестокой и беспощадной борьбы. Что до таитянских девушек, то проблема была прямо
противоположного рода: их было слишком много, и чиновники слишком часто искали в их
объятиях утешение и отдых после выматывающих душу картофельных битв.
Светская жизнь чиновничьего сословия сводилась к нескончаемой череде
традиционных обедов, причем меню и размещение гостей за столом долго оставались
важнейшей темой всех разговоров в городе. В промежутках между зваными обедами
женщины сплетничали за чашкой кофе, а их мужья сплетничали, пили и играли в домино в
«Сёркл Милитер»; местные тузы сплетничали, пили и играли в домино в «Сёркл Юньон».
Всего красноречивее интересы местного общества характеризует то, что единственными
предприятиями в Папеэте тогда были винный завод, пивной завод, фабрика по
производству льда и фабрика освежающих напитков, которая выпускала преимущественно
содовую воду. Один из участников кругосветного плавания шведского фрегата «Ванадис»,
побывавший на Таити незадолго до Гогена, дополняет картину экономики лаконичной
справкой о торговле: «Из наших продуктов здесь можно увидеть только спички и
некоторое количество норвежского пива. Сами французы сбывают на островах почти
исключительно вино, коньяк и табак»**46**.
Два-три раза в год чиновники и местные тузы встречались на приеме у губернатора,
где без особого успеха пытались найти общую тему для разговора. В остальные дни года
они ограничивались холодными поклонами во время вечерних и воскресных прогулок на
колясках вдоль берега залива. Только одно объединяло две соперничающие группы
французов - глубоко укоренившаяся недоброжелательность к тремстам коммерсантам и

плантаторам английского и американского происхождения. Большинство членов этой
группы родились на острове и сочетались браком с членами самых знатных таитянских
семей, что, разумеется, делало их еще более могущественными и опасными. Гораздо
позднее возникла следующая группа, к которой французы и англосаксы относились
одинаково неодобрительно. Речь идет о трехстах китайцах; их двадцать пять лет назад
привез на остров один шотландец-мегаломан, который задумал за счет дешевой рабочей
силы сделать более доходным производство хлопка на своей плантации. Шотландец
прогорел, а кули поневоле пришлось остаться на острове. Понятно, на их долю досталась
самая примитивная и скверно оплачиваемая работа. Большинство стали портными и
уличными торговцами; некоторые держали мясные лавки или с великим трудом
выращивали овощи и корнеплоды на искусственно орошаемых клочках земли на окраине
города. Наиболее преуспевшие открыли мелочную торговлю или трактиры, где
завсегдатаями были туземцы и моряки. А два-три человека нажили на опиуме такие
деньги, что надеялись вскоре осуществить самое горячее желание каждого китайца,
достигшего преклонных лет: вернуться на родину со сбережениями, которых хватило бы
на роскошные похороны и дорогую гробницу.

Наконец, в Папеэте жило довольно много - около двух тысяч - более или менее
чистокровных полинезийцев. Хотя они числом вдвое превосходили всех европейцев и
китайцев вместе взятых, у этой группы не было почти никаких прав и почти никакого
национального самосознания. Примерно половину составляли женщины, которые вышли
замуж за европейцев, их дети и родственники, тоже переехавшие в город. Надо сказать,
что полинезийки очень неохотно вступали в брак с китайцами, ибо те обладали двумя
непростительными, на взгляд таитян, пороками: они были

скупы и неопрятны.

Остальное туземное население Папеэте составляли многочисленные женщины и не

столь многочисленные мужчины, которые первоначально приехали сделать покупки,

развлечься и посмотреть чудеса большого города. Как это часто случается я в других

частях света, столичная жизнь настолько пленяла гостей из провинции, что они оседали в

городе и нанимались на работу, чаще всего слугами. Конечно, самые молодые, красивые и

предприимчивые женщины быстро открывали, что в Папеэте много солдат и матросов,

которые, наперебой предлагая им еду, вино, деньги, требуют взамен лишь то, что таитянки

в своей родной деревне безвозмездно дарили любому неженатому мужчине.

Поскольку таитяне в Папеэте были подчинены другим этническим группам, они

почти совсем отказались от своих нравов и обычаев. Однако многие остались верны

привычке купаться утром и вечером, избрав для этого пересекающий город ручей

Королевы. А в окружавших все дома прелестных садах ежедневно можно было видеть, как

туземцы готовят себе обед в таитянской земляной печи. На обломках базальта,

выстилающих дно неглубокой ямы, разводили костер; раскалив камни, клали на них

завернутые в большие листья кушанья и засыпали яму песком, после чего можно было

спокойно выкурить трубку или сигарету, ожидая, пока еда будет готова.

Гоген, разочарованный в своих соотечественниках, с горечью подытожил свои

впечатления от Папеэте: «Это была Европа - Европа, от которой я уехал, только еще хуже,

с колониальным снобизмом и гротескным до карикатурности подражанием нашим

обычаям, модам, порокам и безумствам». Генри Адаме был лишь немногим милосерднее,

когда в письме от 23 февраля 1891 года говорил: «Папеэте - одно из тех идеальных

местечек, у которых есть только один недостаток: они

невыносимы. Стивенсон
предупреждал нас об этом; и все же я допускаю, что когда-нибудь в будущем, когда город
опять будет окружен ореолом романтического далека, мы будем вспоминать наше
пребывание там, удивляясь, как он мог нам надоесть. Солнце и луна выше всех похвал.
Горы и море вполне годятся в обитель всем богам любой теологической энциклопедии.
Город отличен от всего, что мне довелось видеть, на нем лежит печать утерянной
прелести, которую приписывают раю, - если не считать горожан. Что до них, то не знаю
толком почему, но они меня очень сильно беспокоят. А между тем они гораздо занятнее,
чем можно было ожидать. Больше всего меня тревожит все пронизывающая
нечистокровность, словно густой бледно-коричневый или грязно-белый налет, говорящий
о худосочности, болезни и сочетании наименее достойных качеств... В окружении двух-
трех тысяч подобных людей, живя в грязной лачуге, в десяти шагах от других таких же
«коттеджей», быстро перестаешь замечать изысканную игру лучей утреннего солнца в
бокале вина на вашем столе, голубизну моря перед вашей калиткой, не говоря уже о
красках гор Моореа вдали. Впрочем, даже когда я забываю этих метисов и эти коттеджи,
когда я, так сказать, купаюсь в голубом и фиолетовом свете, меня упорно не покидает
какая-то сосущая тоска, и не понять, почему ею овеяно место, которому больше к лицу
быть веселым, как комическая опера».
Гоген, парижанин с официальной миссией, разумеется, был принят в круг
чиновничества. Но после того как он целую зиму вращался в Париже среди художников,
богемы и салонных анархистов, ему было трудно взять верный тон. К тому же он, как
всегда, не умел скрывать своих мыслей. Единственный, кого Гоген кое-как переносил, был
добрейший лейтенант Жено. Каким отличным человеком был Жено, особенно убедительно

говорит то, что с ним ладили даже соседи, хотя они принадлежали к сословию поселенцев.

Во всяком случае, они иногда заходили к нему на аперитив. Одним из них был санитар

Жан-Жак Сюха, женившийся в Папеэте на дочери ирландца и туа-мотуанки. Второй,

Состен Дролле, по профессии кондитер, приехал на Таити еще в 1857 году и знал все обо

всех на острове. Гоген уже в один из первых дней в Папеэте встретил в доме лейтенанта

Жено (номер 15 на карте Папеэте) этих полезных людей и потом часто обращался к ним за

разными справками. Один из сыновей Состена Дролле, двадцатилетний Александр,

несмотря на свою молодость, был едва ли не лучшим правительственным переводчиком.

Гоген решил во что бы то ни стало изучать таитянский язык; как и многие другие

новоприбывшие европейцы, он полагал, что это чрезвычайно просто, так как язык

агглютинирующий, нет никаких падежных окончаний. Александр Дролле любезно

вызвался преподавать ему бесплатно, но вскоре убедился, что ученик начисто лишен

способностей к языкам. Все же он мужественно продолжал растолковывать ему

своеобразную систему таитянских частиц, пока Гоген не сдался сам.

Конечно, в Папеэте среди поселенцев были люди, которые влиянием и богатством

намного превосходили Состена Дролле и Жан-Жака Сюха. В первую очередь Гоген

попытался завоевать дружбу двух крупнейших местных тузов. Одним был выборный мэр

Папеэте, Франсуа Карделла, в чьих руках сходились многие видимые и невидимые нити

сложной политической машины. Второй был адвокат-самоучка, крупнейший капиталист

острова, Огюст Гупиль, любивший похвастать, что начинал свой путь не только с пустыми

руками, но и с босыми ногами, так как у него не было даже пары обуви, когда он двадцать

пять лет назад приехал в колонию. Благодаря огромной энергии и незаурядному

коммерческому дарованию он быстро нажил состояние на копре и кокосовой крошке и уже

много лет занимал роскошный особняк за городом. Ко всему Гупиль был талантливый

музыкант-любитель и изо всех поселенцев один хоть сколько-то интересовался

искусством[47]. Превыше всего он ставил древнегреческую классику, но и к современному

искусству относился милостиво - в той мере, в какой оно служило античным идеалам.

Увы, в глазах поселенцев Гоген был человеком из вражеского лагеря, ведь он приехал с

официальной миссией. Карделла и Гупиль держались вполне корректно, однако избегали

приглашать Гогена к себе, и большинство последовало их примеру.

Холодное отношение поселенцев и собственное нежелание Гогена участвовать в

скучной и мещанской светской жизни колониальных чиновников привели к тому, что

Гоген очутился как бы на периферии местного общества. К своей радости, он открыл, что

жизнь в этих кругах куда интереснее и веселее. В том же парке, где находилась

офицерская столовая военного клуба и кафе на дереве, два раза в неделю устраивались

танцы для всех (номер 11 на карте Папеэте). И замечательное зрелище, которое Гоген

увидел из своего удобного наблюдательного пункта, побудило его бросить домино,

отставить в сторону рюмку с абсентом и спуститься на несколько ступенек вниз по

общественной лестнице. Каждую среду и субботу в восемь ча-Сов вечера любительский

духовой оркестр занимал места в забавном железном павильоне (сохранившемся до наших

дней) и полтора часа играл гавоты, польки и вальсы. Публику составляли главным

образом таитяне, солдаты, матросы, служащие и приказчики; впрочем, даже

высокопоставленные чиновники и местные тузы могли без риска для своей репутации

подойти и со скучающим лицом обозреть танцующих. Гоген не видел никаких причин

ограничиваться скромной ролью зрителя, а танцевал он хорошо и быстро стал желанным

кавалером. Очаровательный местный обычай разрешил женщинам приглашать на танец

партнеров по своему вкусу, и они часто пользовались этим правом.

Наверно, Гоген вполне разделял чувства путешественника Пеллендера, который

восторженно писал: «Больше двухсот девушек окружает эстраду, развлекаясь тем, что

выделывают разные антраша. Сколько красок! Сколько пыли! Сколько пыла!

Возблагодарим небо или французов, что есть на свете хоть один уголок, где человек,

пресыщенный цивилизацией, может преклонить свою усталую голову и позволить вихрю

тропических образов убаюкать себя. Годами мы мечтали о таком зрелище и наконец

нашли одно - в Папеэте»**48**.

Один французский писатель, тоже побывавший на Таити в девяностых годах, оставил

более подробное описание этих балов.

«Вокруг лужка в такие вечера размещается два десятка торговцев, которые

раскладывают свой товар на циновках или маленьких столиках, в свете керосиновых ламп

и свечей. Они предлагают кокосовые орехи, таитянские сигареты (небрежно высушенный

табак, завернутый в листья панданyса), цветочные гирлянды, ожерелья из благоухающих

гардений тиаре, искусственные цветы из нарезанных листьев, пиво в стаканах,

безалкогольные напитки в бутылках и ледяные соки.

Между торговцами и павильоном прогуливаются толпы канаков обоего пола, среди

которых преобладают слегка принаряженные женщины, и довольно много европейцев, в

том числе почти в полном составе команды стоящих в гавани судов. Словом, публика не

самая «изысканная», зато очень своеобразная.

Таитяне, эти большие дети природы, которые пришли сюда повеселиться, настолько

восприимчивы к музыке, что с первыми же звуками трубы начинается живописный

спектакль. Несколько человек неуклюже скачут перед павильоном. Их коленца

приветствуются едкими словечками и смехом. А сквозь добродушную толпу зрителей,

громко распевая, уже бесцеремонно пробивается другая группа танцующих. Все это

веселое сборище забавляется невинно и беззаботно, даже самые сильные толчки

вызывают только шутки и громкий смех.

По краям зеленой площадки, но на безопасном расстоянии от танцующих, разложив

принесенные с собой коврики и подушки, устроились люди постепеннее. Это офицеры,

чиновники колониальной администрации и «женский свет» - иначе говоря, королева

Марау со свитой и другие таитянки и метиски. Всюду видишь группы островитянок в

длинных белых платьях, с густыми распущенными черными волосами, темными глазами и

зовущими чувственными губами. У каждой в черных волосах - великолепная белая

гардения; они удобно устраиваются на циновках, обмахиваются веерами и курят длинные

канакские сигареты. Чуть видимые в полутьме, которая так располагает к флирту и

интимной беседе, они принимают комплименты, хвалу и шутливые реплики мужчин с

восхитительным обаянием, присущим этим жительницам тропиков, таким пикантным,

благодаря их безнравственности, невероятно смелому языку и необузданной

жизнерадостности»**49**.

Другой французский писатель далеко не столь лестно отзывается об уличных

женщинах Таити той поры: «Угодить на них невозможно, им всегда не хватает денег, как

бы щедры вы ни были. Так, многие офицеры, покидая колонию, оставляли своим

любовницам немалые суммы, тысячи франков. А те в несколько дней все пускали на ветер,

без сожаления тратили деньги на кутежи. Думать о завтрашнем дне и испытывать

благодарность - и то, и другое одинаково чуждо таитянкам. Они живут лишь настоящим, о

будущем не помышляют, прошлого не помнят. Самый нежный, самый преданный

любовник забыт, едва ступил за порог, забыт буквально на следующий же день. Главное

для них - опьянять себя песнями, танцами, алкоголем и любовью»**50**. На это можно ответить

откровенными, но все же одобрительными словами самого Гогена: «У всех таитянок

любовь в крови - ее столько, что она всегда остается любовью, даже если куплена».

Конечно, Гоген под многозначным словом «любовь» здесь понимал прежде всего

эротическую страсть.

В половине девятого духовой оркестр подводил черту танцам «Марсельезой». Но, как

отмечает уже цитированный нами писатель, мало кто расходился в столь ранний час.

«Обычай предписывает после концерта идти пить чай в китайские кварталы. Мужчины и

женщины отправляются туда по двое, причем принять такое приглашение для таитянки -

все равно что дать согласие на более интимное общение, потому что в этой жаркой,

опьяняющей чувства стране считается естественным свободно удовлетворять свои

инстинкты, и отказать было бы равносильно оскорблению. И вот китайские кварталы

наводняет пестрая толпа, объединенная решимостью хорошенько повеселиться. Всего

замечательнее, что, хотя здесь смешалось столько людей - разные характеры, разные

сословия, - крайне редко можно услышать бранное слово, и еще реже шутка и насмешка

кончаются ссорой. Впрочем, возможно, играет роль то, что в каждой чайной свой

постоянный круг посетителей.

Среди всей этой суматохи от стойки к стойке мечется вечно улыбающийся китаец-

трактирщик. Небольшого роста, желтокожий, с раскосыми, непрерывно мигающими

глазами, с тонкими руками, узкогрудый. Одет он в синюю блузу и серые отглаженные

штаны, из которых торчат тощие ноги, обутые в стучащие туфли. Он разносит маленькие

чашки со светлым, прозрачным напитком, над которым вьется пар; вдруг улыбка

становится жесткой, а сам трактирщик - злым и угрюмым. Одна из таитянок, с присущим

ее народу презрительным отношением к китайцам, перегнула палку, обозвав его *«Тинито*

ури неонео»: «Вонючая китайская собака». Сквозь шум и гам доносятся с сумрачной

улицы, освещенной только бумажными фонарями трактиров, нестройные звуки

пронзительной китайской флейты и всхлипывающей гармони»**51**.

Намного проще происходило все в остальные дни недели, когда не было музыки и

танцев. В такие вечера местом свиданий служила базарная площадь в китайском квартале,

возле невообразимо уродливого крытого рынка, сооруженного из железных прутьев и

жести (номер 13 на карте Папеэте). Один чиновник, настолько свободный от

предрассудков, что он частенько ходил туда с Гогеном, оставил подробное описание.

«Базарная площадь с редкими деревьями ограничена улицей Боннар, улицей Изящных

искусств (!), парком ратуши, строениями фирмы Атуотер и, наконец, крытым рынком.

Единственное украшение площади - квадратный фонтанчик за железной оградой,

извергающий тоненькую, едва заметную струйку воды. Когда стемнеет, вдоль ограды

рассаживаются старухи, зажигают чадящие светильники и раскладывают на тряпке или

циновке свои заманчивые товары: цветочные гирлянды, таитянские сигареты - табак,

завернутый в листья пандануса, иногда первые фрукты сезона.

Напротив них, вдоль крытого рынка, располагаются торговцы апельсинами, арбузами,

кокосовыми орехами, ананасами, каштанами мапе, липкими пирожными и т. п. Стоит

продавец мороженого с маленькой тикающей машиной, неизменно вызывающей восторг

туземцев, впервые попавших в город. Тускло освещенные китайские трактиры, кабачки,

постоялые дворы, кафе и лавки, размещенные на прилегающих улицах, уже давно битком

набиты людьми, теперь эти люди постепенно наводняют базарную площадь, и начинается

обычный спектакль.

Босые туземцы обоего пола, благоухающие парфюмерией, с цветочными венками на

голове, прогуливаются группами, здороваются друг с другом за руку и поют песенки,

смысл которых нетрудно понять, даже если вы не знаете языка. Между этими легко

одетыми, а то и вовсе раздетыми туземцами, между женщинами, предлагающими цветы,

фрукты и самих себя, можно увидеть много иностранцев, главным образом моряков всех

национальностей, французских солдат, приказчиков, писарей, но есть и представители

сливок местного общества. Они заверят вас, что пришли сюда исключительно из

любопытства или с исследовательской целью, да разве скроешь истинную причину!

На «Базаре равноправных», с его пестрым смешением людей, можно увидеть сугубо

реалистичные сцены. Все продается на этой бирже сердец - или «мясном рынке», по

меткому выражению местных жителей, - и на все находятся покупатели. Пока вовсю идет

всеобъемлющая торговля, несколько туземцев собираются у фонтана, составляют хор,

добывают откуда-то гармонь или другой инструмент для аккомпанемента, и вот уже в

самом центре причудливого сборища звучит буйная, громкая песня. Нередко полиция (она

всегда начеку в эти часы) вынуждена вмешиваться, чтобы прекратить потасовки, которые

вспыхивают, когда стороны не могут договориться о плате за определенные услуги.

Обычно толпа расходится около одиннадцати часов. Как и во всем мире,

возлюбленные парочки идут крадучись, прижимаясь к стенам домов, подальше от

уличных фонарей и масляных светильников; у женщины венок на голове, мужчина несет

какое-нибудь лакомство - кокосовый орех, ананас или другой

плод, чтобы было чем

освежиться потом. За покупателями исчезают и торговцы. Ночная тьма окутывает

базарную площадь черным покрывалом. Только на углу улицы Боннар еще мерцает

одинокий светильник. Спите спокойно, любезные жители Папеэте, полиция не дремлет.

Через несколько часов, когда откроются ворота крытого рынка и покупатели явятся за

дынями и рыбой, будут обсуждены все события вчерашнего вечера и минувшей ночи, и

сплетня быстро обойдет весь город»**52**.

Будни «мясного рынка» вдохновили Гогена на одну из его самых известных картин -

«Та матете», которая теперь висит в Музее искусств в Базеле. (Ее «таитянское» название -

всего-навсего извращенное английское «market», рынок, причем надо было написать

определенный артикль «те», а не «та».) Подчеркнуто стилизованное полотно изображает

несколько типичных принарядившихся таитянских «веселых девиц», которые сидят на

скамейке, ожидая клиентов; на заднем плане два таитянина в набедренных повязках идут в

сторону крытого рынка, неся на палке тунцов. Стилизация заключается главным образом в

том, что позы и жесты девушек заимствованы Гогеном с росписи на египетском надгробье.

У Гогена был очень сильный половой инстинкт, который ему приходилось подавлять.

Теперь он мог дать волю своим чувствам. К тому же после восьми лет тягостной нужды у

него наконец появились какие-то деньги. Будущее - не только ближайшее, но и более

отдаленное, когда он вернется во Францию, - рисовалось ему в самых радужных красках.

И Гоген, естественно, считал, что можно позволить себе отдохнуть душой и пожить в свое

удовольствие. Но его все-таки мучила совесть, об этом говорит письмо жене, написанное в

конце первого месяца его пребывания на Таити и содержащее слова самооправдания,

которые, наверно, озадачили Метте: «Дай мне пожить так некоторое время. Те, кто

осуждают меня, совершенно не представляют себе, что такое темперамент художника.

Почему люди навязывают нам, художникам, свои требования? Мы ведь не навязываем им

свои»**53**.

У Гогена были причины просить о снисхождении: вскоре Пирушки и попойки

достигли кульминации в связи с главным Событием года - национальным праздником

Франции, который островитяне тогда, как и теперь, с достойным восхищения

патриотизмом и выносливостью ухитрялись растягивать на несколько недель**54**. Уже в

первых числах июля в город начинали Прибывать на больших лодках с оранжевыми

парусами жители разных областей и соседних островов, и население Папеэте буквально

удваивалось за две недели. Официально праздник открывался пушечным салютом в три

часа дня 13 июля. После торжественной процессии, в которой каждый остров и каждая

область были представлены своей колонной во главе со знаменосцем и барабанщиками,

туземцы остаток дня проводили в невинных и бесхитростных забавах: стреляли или

метали рукой стрелы в мишень, играли на колесе счастья, сшибали пустые банки,

поднимали тяжести и ели пончики и сахарную вату. Но предоставим слово Пеллендеру:

«Короткая улочка, идущая от пристани до ворот дворца Помаре, являет собой

изумительное зрелище. Она сплошь уставлена всевозможными будками. Фокусники,

игроки, продавцы мороженого и напитков, цветочницы расположились по бокам улицы и

говорят все сразу. Творится беззастенчивое жульничество. Наивные пассажирки с

«Ваикаре» платят двадцать пять центов за кусок арбуза. Если учесть, что целый арбуз

стоит на Таити всего пять центов, торговцы неплохо наживаются. Покупателям

предлагают отвратительнейшие напитки; от одного взгляда на наклейку можно заболеть

холерой. На одном столике, который несколько возвышается

над соседними, крутится
колесо с ярко намалеванными цифрами, и, судя по непрекращающемуся звону монет на
обитой сукном полке внизу, хозяин колеса, блестящий джентльмен в клетчатом костюме, с
поддельными запонками в манжетах и с таким цветом лица, словно по нему прошлись
кистью с дегтем, явно преуспевает. Рядом, за прилавком, на котором громоздятся
неудобоваримые галеты, канака с музыкальными наклонностями зазывает покупателей,
играя на флейте. Вся улочка с ее экзотической толпой и причудливым набором товаров -
словно Нижегородская ярмарка в миниатюре. Так называемая парфюмерная лавка
выставила напоказ кучу бутылочек со смесями, которые могли быть составлены только в
трущобах Папеэте. Банка колесной мази, сдобренной гвоздичной эссенцией, снабжена
наклейкой с надписью «Болеутоляющее Риммеля для Волос». На пузырьке, в который,
судя по запаху, налит спирт и лавандовая вода, написано «Одеколон Жан Мария Фарина»**55**.

Этот «увеселительный парк» работал всю ночь напролет. Утром 14 июля большинство
участников праздника шли оттуда на танцевальную площадку около «Сёркл Милитер», где
в восемь часов начинался конкурс песни. Каждая область или остров были представлены
хором в составе сорока-пятидесяти человек, исполнявших великолепные полифонические
хоралы; как-никак, миссионеры десятки лет обучали островитян европейским ладам и
пению псалмов. Эти хоралы, которые, по словам самого Гогена, произвели на него
глубокое впечатление, были основным событием фестиваля, так как знаменитые
таитянские танцы упаупа, ставшие в наши дни главным аттракционом, считались властями
слишком неприличными, чтобы включать их в программу национального праздника. А в
разрешенных танцах не осталось почти ничего исконно таитянского, к тому же участники
должны были выступать в стесняющей европейской одежде.

Зато когда островитяне

собирались где-нибудь в укромном месте, они сбрасывали одежды, и танцы принимали

эротический характер.

Тот же Пеллендер пишет, что трудно на бумаге воздать должное полинезийскому

празднику песни. Однако сам он неплохо справляется с задачей:

«Выступление начинается обычно с резкого дискантового крика в первом попавшемся

ключе. В тот миг, когда вы уже начинаете опасаться за голосовые связки девушки,

безобразный крик прекращается, и слышно что-то вроде мелодии с такими модуляциями,

что любой фонограф спасует. Вам покажется, что нет ни рифмы, ни ритма. Но хор думает

иначе. Тембр голоса девушки скачками понижается. И когда она переходит на спокойное

меццо, один за другим к ней присоединяются другие голоса. Кто повторяет основную

мелодию в духе фуги, кто импровизирует что-то свое; остальные - так сказать, тяжелая

артиллерия - вторят басом, как бы аккомпанируя.

Мало что осталось от правил, по которым строится европейский хорал. Разные партии

могут свободно перекрещиваться, и басы, если им вздумается, вдруг переходят на высокие

теноровые звучания, не опасаясь, что их сочтут нарушителями. Некоторые гармонии с

китайской окраской (вроде известной гармонии «Грейл», использованной Вагнером во

вступлении к «Ло-энгрину»), повторяются снова и снова, чуть ли не до одури. А в итоге

получается какая-то странная, грубоватая симфония. Кто обучал их контрапункту? Только

не миссионеры, что им до местных музыкантов! Кто обучил их модулированию? Кто

говорил им, когда вторящий бас должен умолкнуть, чтобы избежать какофонии? Что

представляет собой эта буйная таитянская мелодия - случайное скопление звуков или

звукопись, музыкальное выражение пейзажей, которые ее породили? Разве монотонный

аравийский напев не сходен с пустыней? И разве графическое

воплощение шотландской

музыки, когда она записана нотными знаками на бумаге, не напоминает своими пиками и

скачками шотландские горы? Так, может быть, эти колышащиеся, плывущие созвучия, с

рокочущим фоном мужских голосов, изображают свист пассата в пальмовых кронах и рев

прибоя на рифе? Эта проблема заслуживает изучения»**56**.

В час дня в защищенной гавани начинались парусные и весельные гонки для

таитянских аутригеров, корабельных шлюпок и тендеров. А на берегу в это время

развертывались другие соревнования. Особенным успехом среди зрителей пользовались

гонки на ходулях для мужчин (древний таитянский спорт) и лазанье по смазанному мылом

шесту для женщин (французское нововведение). Вечером соревнующиеся и зрители

делали передышку, ограничиваясь танцами вокруг музыкального павильона, после чего

следовала еще одна бессонная ночь в «увеселительном парке». Наконец, 15 июля все

устало брели на ипподром в долину Фаутауа. Здесь происходили конноспортивные

состязания: скачки с препятствиями и без оных, рысистые испытания. Они чередовались с

соревнованиями в беге для мужчин и женщин, причем дистанции, слава богу, не

превышали 400 метров. День заканчивался так называемым венецианским водным

праздником, во время которого команды островов и областей старались покрасивее и

необычнее украсить цветами и пальмовыми листьями большую двойную пирогу.

Шестнадцатого июля, после еще одной бурной ночи, «увеселительный парк», впервые за

трое суток, закрывался, чтобы люди могли немного поспать. Но сперва раздавали

денежные призы, награды и выигрыши.

На этом празднество, разумеется, не кончалось, все продолжали играть, петь,

танцевать и пить, пока хватало денег. Последние гости разъезжались по домам лишь в

начале августа - с опухшими глазами, дикой головной болью

и вялой, но блаженной
улыбкой на устах.
Для Гогена праздники были не только отличным поводом, чтобы с еще большим
рвением и упоением предаться веселью, но и бесподобным случаем наблюдать и
зарисовывать новые интересные туземные типы. Уже во время похорон короля Помаре он
сделал портретные наброски таитян, которых можно было назвать настоящими туземцами,
в отличие от обосновавшихся в Папеэте. Но тогда все были в черных траурных платьях и
плохо сидящих темных костюмах, и к тому же гости быстро исчезли. Другое дело
июльские праздники: целый месяц легко одетые полинезийцы наводняли город и
устроенные для гостей лагеря. А многие участники спортивных состязаний вообще
выступали лишь в узкой набедренной повязке. И Гоген, гуляя по городу, то и дело
останавливался, бесцеремонно устремлял пристальный взгляд на какого-нибудь туземца,
приказывал ему стоять смирно и быстро делал набросок. Добрые и сговорчивые
островитяне, как правило, не возражали, их только огорчало, что этот странный чужеземец
не только не отдает, но даже не показывает им готового «портрета». Художники-любители,
не говоря уже о фотографах, не были для них в новинку. В Папеэте работал даже
профессиональный фотограф, к которому охотно шли туземцы побогаче.
Итак, хотя на Таити в самом деле можно было целыми днями петь и любить, Гоген
убедился, что совсем без денег не обойтись. Во всяком случае, в Папеэте, где стоимость
жизни оказалась даже выше, чем в Париже. Домик, снятый Гогеном, обходился ему в
пятьдесят-шестьдесят франков в месяц. Два раза в день он ходил в отличный французский
ресторан Ренвойе; в месяц это составляло около ста пятидесяти франков. Когда он
приглашал гостей, - а это случалось частенько, - счет, естественно, оказывался еще

больше. Многочисленные лавки на пристани изобиловали товаром до такой степени, что

одежда, ткани, утварь, инструмент, лампы и ведра висели на стенах, под потолком, даже у

входа снаружи. Известно, когда у тебя перед глазами столько заманчивых товаров,

невозможно устоять против соблазна. Временные подруги Гогена поддавались соблазну

ежедневно и ежечасно, в итоге его скромный капитал таял с угрожающей быстротой.

Словом, пора было приступать к писанию портретов, на которые он возлагал такие

надежды.

К великому разочарованию Гогена, ни чиновники, ни местные тузы не обнаружили

интереса, когда он известил их, что у него наконец-то появилось время для заказов.

Вероятно, они заключили, что человек, чьи вкусы позволяют ему открыто якшаться не

только с таитянскими девицами, но и с приказчиками, писарями, солдатами и моряками,

не может быть хорошим художником. Не исключено также, что Гоген с самого начала

неверно оценил обстановку и был обманут вежливыми фразами и обостренным

вниманием, которое вызывает новый человек. И вместо того чтобы, как положено, начать

свою карьеру светского живописца портретом губернатора, он вынужден был в качестве

первого клиента довольствоваться простым английским столяром по имени Томас

Бембридж. У столяра было целых двадцать два ребенка, и почему-то ему захотелось

получить портрет дочери Сусанны, солидной дамы лет сорока. Справедливо полагая, что

столяр вряд ли сумеет оценить синтетический стиль, Гоген написал сугубо

реалистический портрет уже не молодой, увядшей и весьма тучной Сусанны. Он даже

придал ее носу натуральный красный цвет. Столяр, разумеется, посчитал это карикатурой

и, наверно, уничтожил бы портрет, если бы не уплатил за него целых двести франков. И

Томас Бембридж с грустью упрятал картину в своем сарае,

где ее нашли уже после смерти

Гогена. Со временем она попала в Королевский музей современного искусства в Брюсселе,

где висит и ныне[57]. Неодобрительное отношение к портрету, можно сказать, пережило

заказчика: едва ли не во всех альбомах Сусанну ошибочно именуют «Мисс Кембридж».

Хотя мало кто из жителей Папеэте видел эту ужасную картину, молва быстро разнесла

по городу, что у Гогена нет ни такта, ни дарования. После этого никому уже не хотелось

заказывать ему портреты. Если кто-нибудь вообще об этом помышлял. Обозленный тем,

что впустую потерял три драгоценных месяца, Гоген решил незамедлительно покинуть

город и осуществить то, ради чего обогнул половину земного шара: изучать и писать

настоящих, неиспорченных дикарей.

Двадцатью годами раньше Пьер Лоти, чей роман о Таити Гоген хорошо знал, тоже был

разочарован Папеэте, и в своей книге он заранее утешал тех, кто пойдет по его стопам:

«Нет, тот, кто пожил лишь среди полуцивилизованных девиц Папеэте и через них

узнал обычаи и нравы горожан и ломаный таитянский язык портового люда, для кого

Таити всего лишь место, где легко удовлетворить свои страсти и потребности, - тот не

понял, что может дать этот остров.

Не понимают этого и более достойные люди (их, безусловно, большинство), которые

видят в Таити прежде всего романтический край вечного лета, изобилующий цветами и

прекрасными женщинами.

Подлинное очарование этого края заключается в другом, и далеко не всякий способен

его оценить. Чтобы найти его, надо уехать подальше от Папеэте - туда, куда еще не

вторглась цивилизация, где деревни с хижинами, крытыми листьями пандануса,

раскинулись под стройными кокосовыми пальмами на берегах коралловых лагун, рядом с

пустынным, безбрежным океаном!»[58]





9.

«Вир», дряхлая посудина, на которой Гоген прибыл в Папеэте, как и все военные корабли, бросил

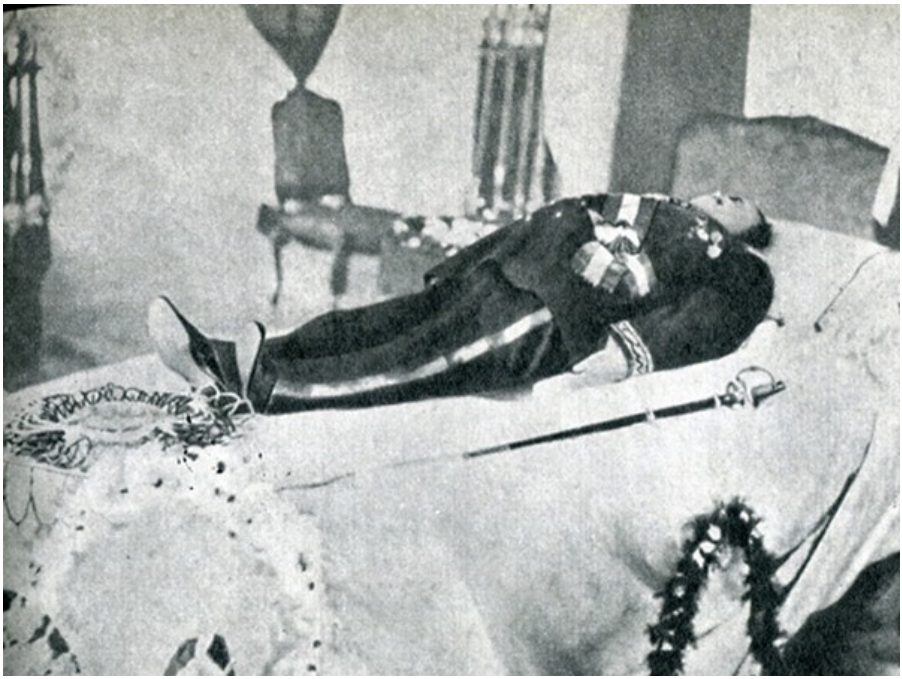
якорь недалеко от берега.

8.

Цель долгого плавания Гогена в 1891 г.: город и порт Папеэте, вид с гор.



21. Губернатор Лакаскад
(средний в первом ряду), которого Гоген обзывал «негром», в окружении своих подчиненных.



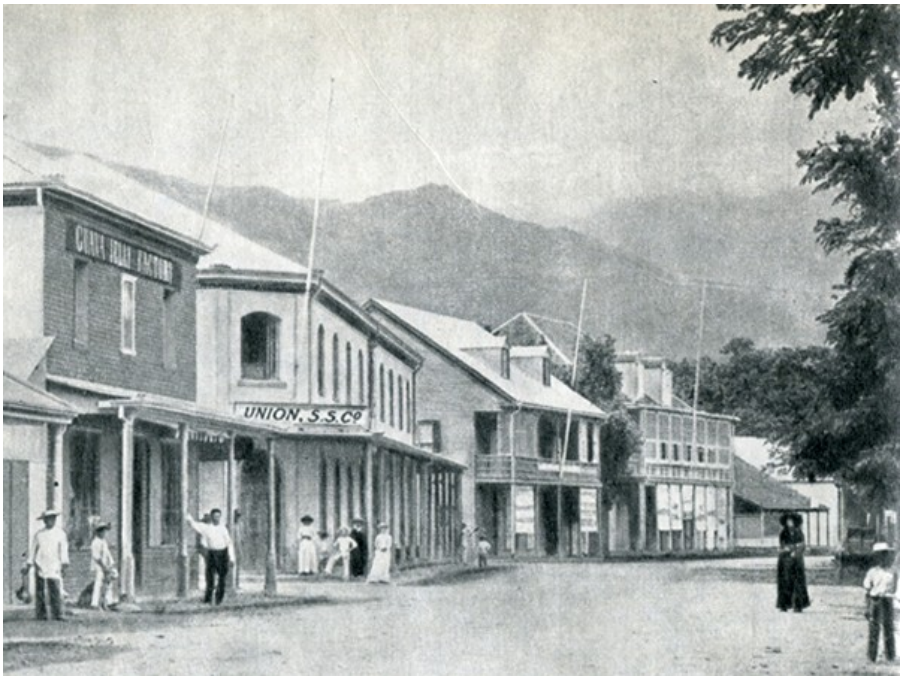


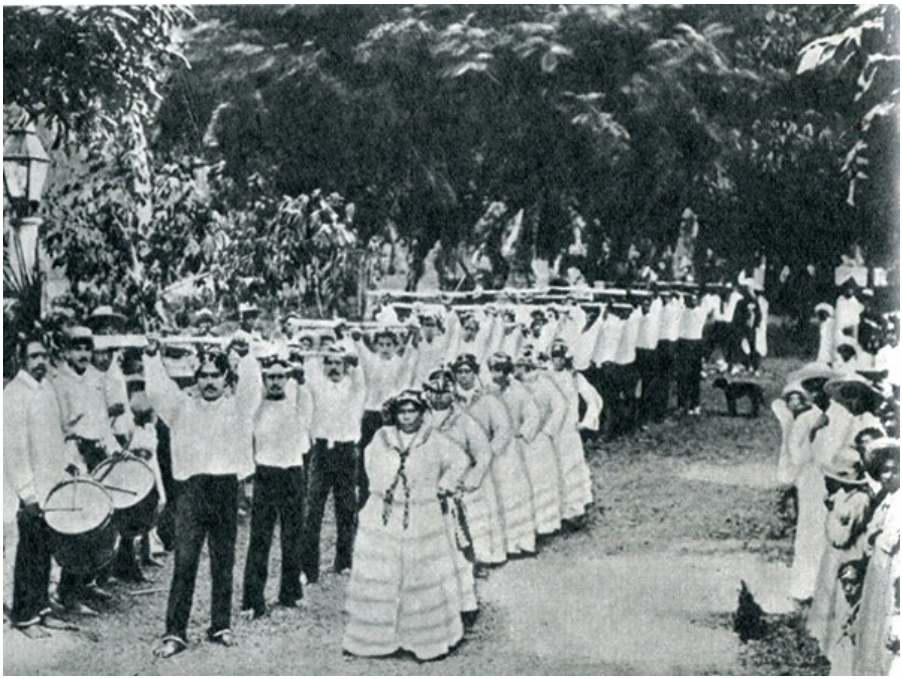
16.

Когда Гоген увидел Помаре V, на чье покровительство рассчитывал, король был уже мертв.

17.

Опечаленный, Гоген присоединился к траурной процессии и пошел за катафалком к склепу.





10.

Искатель рая Гоген, наверно, был удручен, увидев полный европейцев безобразный городишко.

11.

Какие же это дикари: мужчины упражняются с ружьями,

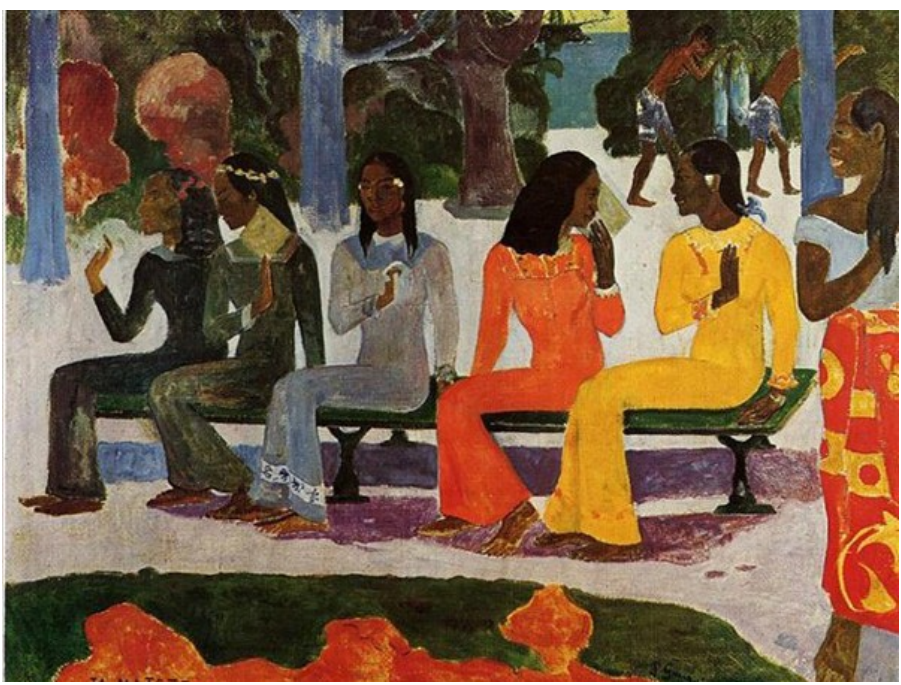
женщины одеты в длинные мешковатые платья...


II. Папеэте, столица Таити в 1890-х гг.
1. Дворец короля Помаре
2. Католический собор
3. Протестантская церковь
4. Резиденция губернатора
5. Правительственные учреждения
6. Единственная в колонии почтовая контора
7. Казначейство
8. Управление общественных работ
9. Военный госпиталь
10. Клуб «Сёркл Милитер»
11. Музыкальный павильон и танцевальная площадка
12. Увеселительный парк с 1895 г.
13. Овощной и мясной рынок
14. Ресторан «Ренвойе»
15. Дом лейтенанта Жено
16. Дом Жан-Жака Сюха
17. Дом Состена Дролле
18. Пансионат мадам Шарбонье
19. Дом Гогена, 1898—1899 гг.
20. Аптека мэра Карделлы
21. Типография Кулона
0 100 200 300 м.

II. Папеэте, столица Таити в 1890-х гг.

1. Дворец короля Помаре
2. Католический собор
3. Протестантская церковь
4. Резиденция губернатора
5. Правительственные учреждения

6. Единственная в колонии почтовая контора
7. Казначейство
8. Управление общественных работ
9. Военный госпиталь
10. Клуб «Сёркл Милитер»
11. Музыкальный павильон
и танцевальная площадка
12. Увеселительный парк с 1895 г.
13. Овощной и мясной рынок
14. Ресторан «Ренвойе»
15. Дом лейтенанта Жено
16. Дом Жан-Жака Сюха
17. Дом Состена Дролле
18. Пансионат мадам Шарбонье
19. Дом Гогена, 1898-1899 гг.
20. Аптека мэра Карделлы
21. Типография Кулона



31.

Будни «мясного рынка» вдохновили Гогена на одну из его самых известных картин - «Та матете»,

которая теперь висит в Музее искусств в Базеле. Сидя на скамейке на рынке, ждут клиентов

девушки легкого поведения, которым Гоген придал стилизованные позы, заимствованные с

египетской росписи.



18.

В 1891 г. эта улица была торговым центром Папеэте. теперь она носит имя Поля Гогена. Магазин

слева принадлежал его другу Состену Дролле. В следующем доме, с верандой, был ресторан, где

Гоген завтракал и обедал.

ГЛАВА IV. Среди таитян

Лоти был безусловно прав, когда писал, что в деревне жизнь была куда примитивнее,

чем в Папеэте. Но все на свете относительно, и если сравнивать ее с райскими картинами,

которые Гоген рисовал себе во Франции, она выглядела до безобразия цивилизованной. В

роли распространителей европейской культуры выступали в первую очередь миссионеры,

моряки и торговцы. Итог был, как это легко себе представить, весьма неровным и

неудовлетворительным. Особенно рьяно внедряли цивилизацию, конечно, миссионеры.

Когда на Таити приехал Гоген, за плечами кальвинистов было почти сто лет деятельности

на острове, у католиков и мормонов - пятьдесят с лишком. Поэтому от таитянской религии

и мифологии мало что осталось. Большинство таитян не помнили даже имен своих старых

языческих богов и, наслышавшись миссионеров, стыдились (совершенно напрасно) своих

невежественных и диких предков. Зато они вызубрили наизусть катехизис, библейские

тексты, псалмы и молитвы. К какой бы секте ни принадлежали островитяне, все аккуратно

посещали церковь. А воскресенье чуть ли не целиком посвящалось богослужениям.

Мало того, собираясь вместе вечерами после работы, таитян частенько читали друг

другу Библию. Только никак не могли они уразуметь самую суть христианского учения.

Один французский чиновник описывает такое чтение, на которое он нечаянно попал.

«Человек шесть-семь сидели на таитянский лад (скрести ноги) на циновках, куря и

разговаривая; я сидел чуть поодаль. Один таитянин вслух читал Библию. Читал медленно,

запинаясь, явно не понимая, что читает. Наконец другому надоед слушать его нудное

бормотание, он взял книгу и сам стал читать. Очевидно, это был дьякон. Потом все вместе

принялись обсуждать изгнание Адама и Евы из рая. Вдруг один из ни повернулся ко мне и

спросил:

- Яблоко - что это такое?

Поразмыслив, я ответил, что яблоко напоминает местный плод ахиа. Я думал, что

этого достаточно, однако основательно ошибся, потому что сейчас же последовал еще

вопрос:

- А вы уверены, что это было яблоко?

- Конечно, все так говорят.

- Значит, бог прогнал Адама и Еву из-за яблока?

- Да.

- Почему?

Я нетерпеливо ответил:

- Если бы бог их не прогнал, они съели бы все его яблоки, и ему самому ничего бы не

осталось.

Они покатились со смеху и отложили в сторону Библию»**59**.

Зная, что Библия была тогда единственной книгой,

переведенной на таитянский язык,

трудно приписывать интерес к ней всецело искреннему благочестию таитян. Кроме того,

чтобы верно понять их неожиданное пристрастие к церковным службам, надо помнить,

что они, во всяком случае, в одном, разделяли взгляд своих предков на дела религиозные.

Таитяне твердо верили, что достаточно выполнять ритуалы и читать положенные молитвы;

тем самым будет выполнен долг перед силами небесными, а в остальное время можно

делать все, что вздумается. Другими словами, как и всем настоящим полинезийцам, им по-

прежнему было невдомек, что между религией и моралью может быть какая-то связь.

Такое воззрение могло удивлять только чужеземцев, как было с двумя англичанами,

лордом Альбертом Осборном и его другом Дугласом Холлом, которые были «поражены»,

когда однажды в разгар танцев «увидели, что все девушки и мужчины, до тех пор певшие

любовные песни, без всякого перехода сняли свои цветочные венки и гирлянды и

продолжали, как нам показалось, исполнять ту же мелодию. Мы спросили Хинои, в чем

дело, и услышали, что теперь они поют вечерний религиозный гимн. Через минуту они

снова надели венки, и продолжалось прежнее представление, разве что пляска стала еще

более залихватской. Мне это показалось на редкость нелепым, а они держались, словно

так и надо»**60**.

Таитянское искусство - тот самый элемент туземной культуры, который прежде всего

занимал Гогена, - в старину в очень большой мере служило религии. Маленькие и с

художественной точки зрения довольно заурядные деревянные и каменные скульптуры

украшали храмы. И когда была искоренена древняя религия, исчезло и туземное

искусство. Единственным местом на острове, где хранилась неплохая коллекция

таитянских идолов, был маленький музей католической миссии в Папеэте. Но и это

собрание сильно уступало тому, что Гоген мог увидеть до своего отъезда в

этнографических музеях Европы.

Сходная судьба постигла замечательное прикладное искусство и ремесла, как только

таитяне стали приобретать фабричные товары. Ведь европейский инструмент и

европейская утварь, которую они могли выменять на судах и купить в вырастающих на

каждом шагу лавках, были несравненно прочнее и удобнее, чем каменные топоры,

бамбуковые ножи, костяные крючки и деревянные миски, которыми они довольствовались

до сих пор. Что до одежды, то во времена Гогена большинство островитян предпочитали

ходить в легких, прохладных набедренных повязках таитянского покроя. Правда, они

давно перешли на привозные ткани - цветастый ситец, у женщин чаще всего красный, у

мужчин синий. Воскресный наряд, естественно, был куда внушительнее и строже. Как и в

Папеэте, женщины надевали длинное платье, а мужчины - черный костюм, обычно

шерстяной. Основным видом домашнего ремесла, которым занимались в девяностых годах

таитяне, было плетение циновок и шляп, а также изготовление лубяной материи. В

отличие от, скажем, гавайских женщин и самоанок, таитянки редко украшали свою *тапу*,

да и то лишь простыми натуралистическими узорами: окунув в красный растительный сок

листья папоротника и гибискуса, они руками прижимали их к материи. Но и это искусство

пришло в упадок, потому что жены миссионеров обучили таитянок шитью. Причем те

обратили свое новое умение не только на то, чтобы обшивать семью, но - тоже по примеру

жен миссионеров - принялись шить пестрые лоскутные покрывала!

В религии, в искусстве, в прикладном искусстве новая культура предлагала таитянам

товар, который внешне превосходил все старое, исконное. Итогом были быстрые и

основательные перемены. Иное дело с музыкой и танцем.

Здесь миссионеры
ограничивались запретами, не предлагая взамен других развлечений. Поэтому запреты не
возымели действия, и таитяне продолжали весело распевать свои непристойные на взгляд
европейца песни и танцевать откровенно эротические танцы. Во всяком случае, когда не
было поблизости миссионеров или других европейцев. Только что цитированные
английские путешественники хорошо описывают типичный танец *упаупа*: «Таитянский
танец очень напоминает большинство восточных танцев, главное в нем - «танец живота»,
какой можно увидеть в Египте и других странах Востока. Ноги двигаются очень мало. В
данном случае исполнители выстроились в два ряда человек по двадцати, девушки с одной
стороны, мужчины с другой, между рядами было около шести футов. Танцуют под
монотонные звуки туземного барабана или, когда танец короткий, под гармонь. Лучшая
плясунья и лучший плясун стояли во главе своих рядов лицом к нам (мы сидели на
помосте) и делали под музыку волнообразные движения руками и всем телом; каждое
движение повторялось остальными участниками. Было также что-то вроде
гимнастических номеров - так, один мужчина вскочил на плечи стоящего впереди, а
другой сел на плечи партнеру и стал изображать конника. Время от времени главные
танцоры отделялись от строя, подходили к нам и исполняли самый настоящий танец
живота, причем девушка извивалась так, словно была сделана из резины».

Как видно из этого описания, изменился только выбор инструментов. Помимо
старинных деревянных барабанов с акульей кожей и бамбуковых флейт, на которых играли
носом, в каждом деревенском оркестре давно утвердились гармони. А вот гавайская
гитара, которую мы в Европе считаем наиболее типичным полинезийским музыкальным
инструментом, еще не начала своего триумфального шествия.

Так что Гоген явно опередил
развитие, когда привез на Таити гитару и две мандолины, и они вряд ли пользовались
большим успехом.
На первый взгляд казалось, что произошли также коренные политические перемены,
так как во всех областях и княжествах старые династии вождей сменились
демократически избираемыми правителями. И вся структура управления была
французской - большинство законов и указов метрополии действовало на Таити без
изменений. Но на самом деле эти реформы оставались на бумаге. Жители деревни не
знали ничего о том, что предписали и что запретили власти в Папеэте, и преспокойно
продолжали улаживать свои недоразумения по старинке. Кстати, хотя таитяне считались
французскими гражданами, они были избавлены от самых неприятных следствий
цивилизованной жизни - военной службы и налогов.
Еще меньше изменилась экономическая система: все сельские жители, оставаясь
земледельцами и рыбаками, вели натуральное хозяйство. Выращивали главным образом
таро, батат и ямс, да, кроме того, могли три раза в год собирать плоды хлебного дерева в
своих садах и каждый день - бананы в горах. Держали кур и свиней, а также собак:
таитяне с незапамятных времен высоко ценили нежное собачье мясо. Денег,
зарабатываемых на заготовке копры, ванили и апельсинов (Таити ежегодно вывозил
больше трех миллионов диких апельсинов, преимущественно в Калифорнию, где люди
тогда предпочитали искать золото, а не выращивать фрукты), с избытком хватало, чтобы
купить промышленные товары, которые казались им необходимыми и без которых они
вполне могли обойтись.
Не изменилось и то, что теперь называют психологией. Другими словами, какой бы
цивилизованной ни стала жизнь, сколько бы таитяне ни ходили в церковь и ни читали

Библию, все они оставались типичными полинезийцами - жизнерадостными, радушными,

беспечными, любящими наслаждения. В каждой деревне можно было увидеть сцены

вроде этой:

«Под сенью хлебного дерева между хижин сидят живописными группами мужчины и

женщины, распевая песни или беседуя друг с другом. Если они делают лубяную материю,

стук деревянных колотушек непременно сопровождается песней. По утрам женщины,

будто знатные европейские дамы, много часов тратят на свой туалет. Проснувшись,

прыгают в море или ближайшую речку и часами ныряют, плавают и играют в воде.

Наконец, выходят на берег, чтобы ветер обсушил их тело и длинные волосы. Особенно

пекутся они о своих восхитительно красивых черных, мягких волосах. Заплетают две

косы, натирают их *монои* - кокосовым маслом с благовониями. Поначалу европейцу

резкий запах *монои* неприятен, но затем он открывает, что у этого аромата есть своя

прелесть. Завершая свой туалет, женщины собирают в лесу дикие цветы и сплетают из них

венки и гирлянды»**61**.

Подводя итог, отметим, что почти во всех областях острова сохранился в

неприкосновенности таитянский язык - по той простой причине, что таитяне составляли

подавляющее большинство. Французский не стал даже вторым языком, ибо, несмотря на

героические усилия немногочисленных миссионеров и учителей, дети (которые между

собой и с родителями все время говорили по-таитянски), окончив школу, быстро забывали

все, чему их учили.

Кстати, программа сводилась к нескольким молитвам, образцам склонения и басням

Лафонтена. Да еще наиболее предприимчивые ученики пополняли багаж своих знаний

десятком-другим французских бранных слов, которые они могли услышать, посещая

Папеэте.

Но печальнее всего не то, что европейское влияние за сто двадцать пять лет создало

лишь хромающую на обе ноги полуцивилизацию, а то, что таитяне слишком дорого

заплатили за нее. Сверх библий, инструмента, утвари и галантереи чужеземные

наставники привезли с собой ужасающее количество новых болезней, от которых у таитян

не было иммунитета и с которыми они не умели бороться. Даже такие сравнительно

безобидные в Европе болезни, как корь, коклюш, грипп и ветрянка, здесь часто приводили

к смертельному исходу. Еще более страшным бедствием, естественно, оказались сифилис

и туберкулез, которых счастливые острова Полинезии до европейцев не знали.

Одновременно туземцы научились не только пить, но и гнать спиртные напитки. Не счесть

числа островитян, которые, следуя высочайшему примеру династии Помаре, упивались до

смерти. Наиболее популярным напитком во времена Гогена был неразбавленный ром; если

его все-таки разбавляли, то только крепким пивом. Пристрастие к рому очень легко

объяснить. Он был самым дешевым напитком, так как изготовлялся из местного сахарного

тростника. В начале девяностых годов ежегодно производилось около двухсот тысяч

литров рома. Почти такой же любовью пользовалось французское красное вино, его

ввозили ежегодно до трехсот тысяч литров. Кому не по карману были ром и красное вино

(или кто уже пропил все деньги), тот делал фруктовое вино. Больше всего пили в июле -

августе, когда в горах созревали дикие апельсины. «Когда идет сбор плодов, весь остров

превращается в сплошной огромный трактир, - писал один

потрясенный очевидец. -

Жители собираются вместе в каком-нибудь укромном уголке, собирают апельсины,

выдавливают из них сок и оставляют его на некоторое время бродить в бочках, после чего

пьют без перерыва день и ночь и тут же предаются не поддающимся описанию оргиям.

Полтора месяца они отравляют жизнь всем остальным»**62**.

Численность населения лучше всего отражает катастрофическое действие болезней и

пьянства. Одно время казалось даже, что островитянам грозит быстрое и полное

истребление, ибо за первые тридцать лет после открытия острова (1767-1797) от ста

пятидесяти тысяч жителей осталась только одна десятая. Еще через тридцать лет и этот

жалкий остаток сократился наполовину, до каких-нибудь восьми тысяч. С тридцатых годов

прошлого столетия до 1891 года с ужасающей точностью рождалось столько же людей,

сколько умирало. Так что положение оставалось в высшей степени критическим, и были

все причины опасаться, что таитянский народ не переживет процесса цивилизации.

В общем можно сказать, что Гоген опоздал на Таити по меньшей мере на сто лет. Или

же - что он выбрал не тот остров. Потому что в Южных морях оставалось еще немало

островов, чьи обитатели вовсе не подверглись влиянию нашей западной культуры, и жизнь

там приближалась к тому, о чем мечтал Гоген, который, кстати, все еще верил, что

таитянская деревня отвечает его идеалу. По ряду причин прозрение состоялось довольно

поздно. Во-первых, отъезд из Папеэте неожиданно задержался из-за крайне неприятного

происшествия: у него было очень сильное кровоизлияние. Одновременно стало

пошаливать сердце**63**. В скверно оборудованном военном госпитале (единственной

больнице на острове) он продолжал харкать кровью - «по четверть литра в день», по его

собственным словам. Правда, Гоген не сообщает, какой диагноз поставили два

измученных перегрузкой врача - хирург и терапевт, - составлявшие весь врачебный

персонал. Но современные специалисты, которых я спрашивал, все как один сходятся на

том, что симптомы указывают на сифилис во второй стадии. В таком случае, Гоген

заразился много лет назад. Впрочем, течение болезни могло быть ускорено бурной и

далеко не здоровой жизнью, которую он вел в Папеэте, не говоря уже о риске нового

заражения. Военные врачи сделали все, что могли, а именно: налепили ему горчичники на

ноги и поставили банки на грудь. Достоинство этого средневекового лечения заключалось

в том, что оно не могло повредить Гогену и не помешало его организму справиться с

недугом в силу естественной сопротивляемости. Главным же недостатком было то, что

пребывание в больнице стоило ему 12 франков в день. И как только прекратилось

кровотечение, он вернулся домой.

Сам Гоген утверждает, что в августе 1891 года, поднявшись на ноги, он покинул

Папеэте и бежал «в джунгли внутри острова». Все биографы поверили ему на слово и

поняли образное выражение буквально. За примером ходить недалеко; вот как его сын,

датский искусствовед Пола Гоген, в своей отличной книге об отношениях между

родителями описывает это паломничество отца: «Сперва он следовал по дороге,

проложенной его соотечественниками, потом уже ступил на бесхитростную, примитивную

тропу, ведущую в джунгли, где последние остатки коренного населения еще поклонялись

своим языческим богам, коим подвластны тайны природы и примитивной жизни»**64**. Из

того, что уже говорилось выше, достаточно ясно видно, что в девяностых годах на Таити

никто не поклонялся языческим богам и не жил по старинке. И если уж говорить

начистоту, то Гоген при всем желании не смог бы укрыться внутри острова. Как Большой,

так и Малый Таити - как обычно именуют соединенные

узенькой перемычкой две части
острова - на девять десятых состоят из могучих горных массивов, которые не только
необитаемы, но и, по большей части, неприступны. Взобраться даже на самые низкие
вершины и плато - чрезвычайно сложное и утомительное дело, потому что все время надо
прорубать себе путь сквозь высокий, в рост человека, папоротник. Большинство вершин
до сих пор никем не покорено - ни таитянами, ни европейцами. Только в одном месте
можно пересечь большой остров, если вы согласны несколько суток шагать по скользким
камням, выстилающим русла рек, зажатых между склонами глубоких ущелий, карабкаться
по головокружительным обрывам и переплыть горное озеро с ледяной водой. Обитаемая
часть Таити ограничена прибрежной полосой, ширина которой мало где превышает один
километр. И единственная на острове дорога вьется вдоль побережья. Во времена Гогена
ее восточный отрезок представлял собой всего-навсего виляющую по холмам верховую
тропу, и только на юге и западе можно было проехать на экипаже. Да и то при условии, что
путники внимательно следили за коварными корнями и за огромными камнями, которые
частенько падали или съезжали с крутых склонов.

Легко понять Гогена, когда он предпочел отправиться в деревню на удобной коляске
вдоль западного побережья, вместо того чтобы продираться сквозь папоротник в сердце
острова. Кучером был один из новых друзей Гогена, он же владелец коляски, Гастон Пиа,
который, несмотря на необычную фамилию, был самым настоящим французом. Он
преподавал детям в одной из школ на западном берегу, а во время летних каникул, как
обычно, приехал в Папеэте, чтобы вместе со всеми хорошенько отпраздновать 14 июля.

Учитель Пиа гостил у своего брата, который тоже учительствовал, но в городской школе.

В разгар праздника Гоген и познакомился с ними. Оба они увлекались живописью,

причем Гастон настолько преуспел, что его через несколько лет назначили преподавать

рисование в школу протестантской миссии в Папеэте. Чувство профессиональной

солидарности объединяло братьев с Гогеном, хотя они не могли взять в толк, как такой

слабый рисовальщик и плохой колорист мог получить «официальную миссию». И когда

Гастон после праздников собрался домой, он любезно пригласил Гогена к себе**65**. Как и все

деревенские учителя на Таити, Гастон Пиа жил рядом со школой, которая находилась в

Паеа, в двадцати одном километре от Папеэте. Из его дома (нынешний учитель живет на

том же месте, правда, дом куда современнее и удобнее) Гогену открывался, бесподобный

вид на крутые вершины внутри острова. До берега было всего около ста метров, но лагуну

и море заслоняли густые заросли гибискуса, дома и сады. И когда Гоген хотел

полюбоваться самым красивым и живописным зрелищем во всем южном полушарии -

таким зрелищем был закат, когда солнце заходило за островом Муреа, - он, по примеру

туземцев, в сумерках шел на берег и садился на мягкий песок у самой воды.

Гоген прогостил здесь недолго, и мы знаем об этой поре немного: в Паеа он наконец-

то взялся за кисть и закончил по меньшей мере две картины, на одной - школьный

дворник-туземец за рубкой дров («Матамоэ», экспонируемая в Музее изобразительных

искусств имени А. С. Пушкина в Москве)**66**, вторая - пейзаж. Вряд ли он близко общался с

туземцами, ведь ни Гоген, ни Гастон Пиа не говорили по-таитянски, и круг знакомых

доброго учителя составляли главным образом французские поселенцы. Поэтому, как

только Гоген почувствовал себя достаточно бодрым, он решил покинуть Паеа и найти

такое место, где мог бы скорее осуществить свой первоначальный замысел - жить, как

настоящий таитянин. Вероятно, его отъезд был ускорен тем, что в середине сентября

начинался новый учебный год: во-первых, у его радушного хозяина появилась уйма дел;

во-вторых, при таком шуме и гаме, какой устраивали школьники, ни о каком покое уже не

приходилось мечтать. Но сперва он из чисто практических соображений должен был

вернуться в свой исходный пункт, Папеэте - на всем острове только там была почта и

хорошие магазины.

В июльские дни Гоген познакомился в Папеэте кроме Гастона Пиа с вождем, которого

родители нарекли Ариioехау, но который по таитянскому обычаю много раз менял имя.

Для простоты я буду употреблять то имя, под каким его знали во времена Гогена, -

Тетуануи. Из восемнадцати областных вождей Таити он был самый профранцузски

настроенный и единственный, свободно говоривший на французском языке. В награду за

верность он получал разные блага, например съездил в 1889 году за государственный счет

на Всемирную выставку в Париж**67**. И хотя Тетуануи, скорее всего, заходя в кафе Вольпини

не видел выставленных там синтетических импрессионистских полотен, у них с Гогеном,

наверно, нашлось, вспомнить и о чем поговорить. Поэтому естественно, что для

следующей разведки Гоген выбрал подчиненную его другу область Матаиеа на южном

берегу Таити, в сорока километрах от Папеэте.

На этот раз ему одолжил коляску один собутыльник, служивший в жандармерии, а для

компании Гоген взял с собой метиску, с которой встретился то ли в таверне, то ли на

«мясном рынке», то ли на танцевальной площадке и которая отзывалась на ласковое

прозвище Тити (Грудь). Задумав поразить деревенских простолюдинок, она нарядилась в

свое лучшее бальное платье и надела шляпу с искусственными цветами и лентой из

позолоченных ракушек. В полдень эта причудливая пара подъехала к официальной

резиденции вождя Тетуануи, сильно смахивающей на замки, какие строили себе в Европе

преуспевающие дельцы в прошлом веке. Тетуануи тепло встретил гостей и с гордостью

показал им свои владения. У него были причины гордиться, ведь Матаиеа - одна из самых

красивых областей Таити. Во-первых, береговая полоса тут шире, чем в других частях

острова, горы не торчат перед самым носом и можно оценить их великолепие. Кроме того,

прибой вдоль кораллового барьера, защищающего лагуну, сильнее и выглядит эффектнее,

так как с этой стороны без помех дует юго-восточный пассат. Наконец, два пальмовых

островка придают особую глубину перспективе и украшают чудесный вид на Малый

Таити, лежащий в двадцати километрах на восток. Гоген пришел в такой восторг, что сразу

решил больше никуда не ездить и поселиться в Матаиеа.

Он выбрал не совсем удачно. Матаиеа, бесспорно, самая красивая область острова, но,

к сожалению, она была и самой цивилизованной. Конечно, разница была не так уж велика

и не бросалась в глаза, но все-таки. Начнем с того, что из всех областей только в Матаиеа

действовала католическая начальная школа, где преподавали французские монахи.

Основали ее еще в 1854 году, в итоге больше половины жителей Матаиеа стали

католиками; в других областях католики составляли лишь около одной пятой. Чтобы хоть

как-то противостоять конкуренции, глава кальвинистской миссии прислал сюда одного из

своих самых талантливых и ревностных помощников, француза Луи де Помаре; обычно

души местных жителей доверялись попечению туземных пастырей. Матаиеа отличало и

то, что кроме вождя Тетуануи здесь был французский жандарм, кстати, он одним из

первых дал понять Гогену, что Матаиеа вовсе не райский сад, когда тот вскоре после

своего приезда решил искупаться в костюме Адама. И еще один признак цивилизации,

гораздо более ценимый и туземцами и Гогеном: небольшой магазин. Китаец, которому

принадлежал магазин, торговал почти круглые сутки и

неплохо наживался на консервах,

пестрых ситцах, кастрюлях, ножах и рыболовных крючках, отпуская товары в кредит (и

взымая высокий процент). Как и всюду на Таити, тут жило несколько французов. От

поселенцев других областей их отличало разве то, что они были очень хорошо обеспечены

благодаря плантациям сахарного тростника, который поставляли на крупный винный

завод, расположенный в нескольких километрах к востоку от протестантской церкви.

Роберт Луис Стивенсон, посетивший Таити в 1888 году, и Генри Адамс, который уехал

только что, были более предприимчивы, чем Гоген. Правда, у них были более

могущественные друзья, так что они получили и совет и помощь. Проехав в поисках

исконно таитянской среды через все области западного и южного побережья, включая

Матаиеа, и тот и другой предпочли Таутира, в северо-восточной части Малого Таити.

Услышав, что Гоген решил остаться, Тетуануи обрадовался и показал ему пустующий дом.

До берега было метров двести с лишним, и вид на море заслоняли кусты и деревья, зато

мимо дома протекала речушка Ваитара, в которой вполне можно было купаться, а дальше

до самых гор простиралась равнина. Дом принадлежал одному энергичному таитянину,

нажившему небольшое состояние на диких апельсинах, за что он и получил прозвище

Анани - Апельсин. Большинство апельсиновых экспортеров пропивали вырученные

денежки, но Анани, следуя примеру Тетуануи, купил лес и железо и построил себе

двухкомнатную виллу с верандой впереди и позади. Как это часто бывало тогда и

случается теперь, когда дом был готов, он показался хозяину таким роскошным, что тот

даже не решился в него въехать, а продолжал жить в своей старой бамбуковой хижине.

Словом, жилищная проблема выглядела здесь несколько иначе, чем в наших краях.

Тем не менее, как и всякий слуга народа, Тетуануи считал

своим долгом бороться с ней, и

он предложил Анани сдать этот пустующий образец роскоши Гогену. К великому

изумлению вождя и Анани, Гоген стал настойчиво просить, чтобы ему сдали бамбуковую

хижину**68**. Мы не знаем, какими соображениями он руководствовался - эстетическими, сентиментальными или практическими, - но выбор был сделан удачно, потому что в

тропиках нет лучшего жилья, чем бамбуковый домик с лиственной крышей.

В хижине была одна-единственная комната, без перегородок, с земляным полом, а

мебель заменяла толстая подстилка из сухой травы. Рядом с домом стояла кухонька, там

жена Анани стряпала на костре или в таитянской земляной печи. Как ни хотелось Гогену

жить на туземный лад, он не мог обойтись совсем без мебели и утвари. И когда он поехал

за своим имуществом в Папеэте, то заодно купил кровать, стулья, стол, а также набор

кастрюль и сковородок. Тити он больше не относил к предметам необходимости, после

того как повидал своих новых соседок, а потому воспользовался случаем оставить ее в

городе.

Матаиеа нельзя назвать деревней в собственном смысле слова. Дома и хижины

пятисот шестнадцати жителей области (по данным 1891 года) были разбросаны под

пальцами вдоль всей лагуны. Так что если не считать Анани и его семью, в поле зрения

Гогена не было соседей. Зато в пределах слышимости стояли протестантская церковь,

школа и дом пастора. В не слишком ветреные дни до него отчетливо доносились и пение

гимнов и скороговорка школьников. Католическая церковь лежала в противоположной

стороне, но и до нее было не так уж далеко, а именно - два километра. И каждый день

Гоген просыпался и засыпал под колокольный звон с двух сторон.

Первое время он был вполне счастлив и доволен переменой обстановки и до конца

года успел написать два десятка картин, которые ярко

передают радость человека,

открывающего новое.

На этих полотнах преобладают бесхитростные сценки повседневной жизни

островитян: две женщины на берегу плетут из листьев шляпы, проголодавшиеся дети

сидят за накрытым столом, молодежь ночью пляшет вокруг костра в пальмовой роще,

рыбаки проверяют сети, под двумя живописными панданусами встречаются мускулистые

туземцы, несущие фрукты. Две картины представляют собой портреты женщин, соседок

Анани, есть несколько пейзажей, причем непременно присутствуют какие-нибудь фигуры

- люди, лошади, черные таитянские свиньи или тощие дворняжки. Другими словами, эти

картины (я надеюсь, это видно из моего краткого очерка местных условий) показывают

нам только самые красивые, примитивные и идиллические стороны жизни в Матаиеа.

Конечно, нет никаких причин упрекать художника за то, что его занимало новое,

необычное, и понятно, что в эту категорию не входили ни священники, ни монахини, ни

церкви, ни магазины, ни дощатые дома. Но так как в Европе принято считать, будто Гоген

в своих картинах отразил *полную*картину жизни Таити в девяностых годах, все-таки важно

и любопытно заметить, что он, повторяю, показывает нам только часть действительности.

Как известно, Гогена, в отличие от, скажем, таких его современников, как Тулуз-

Лотрек и Дега, не занимали быстрые, стремительные движения. Особенно четко идеал

Гогена сформулирован в его совете молодым художникам: «Пусть на всем, что вы пишете,

лежит печать спокойствия и уравновешенности. Избегайте динамических поз. Каждая

фигура должна быть статичной». На Таити он впервые встретил народ, всецело

отвечающий этому идеалу: таитяне наделены редкой способностью часами сидеть на

месте, устремив взгляд в пространство. И хотя с европейской точки зрения позы многих

фигур на его картинах несомненно кажутся искусственными, надуманными, они

чрезвычайно реалистичны. Живя на Таити, я чуть не каждый день «узнаю» кого-нибудь с

картин Гогена.

Зато он очень вольно обращался с красками. И, как всегда, именно мастерский выбор

выразительных красок позволял ему, словно по волшебству, придавать повседневным

сценам что-то таинственное, загадочное, чего на деле не было. Разница заключалась

только в том, что в новой среде, вдалеке от Европы и всех европейских образцов, он

чувствовал себя еще свободнее, и еще легче ему было идти своим путем. Или, говоря его

словами: «Было так просто писать вещи такими, какими я их видел, класть без

намеренного расчета красную краску рядом с синей. Меня завораживали золотистые

фигуры в речушках или на берегу моря. Что мешало мне передать на холсте это торжество

солнца? Только закоренелая европейская традиция. Только оковы страха, присущего

выродившемуся народу!»

Второй совет Гогена воображаемым ученикам тоже показателен для его метода:

«Молодым очень полезно работать с моделью, но задерните занавеску, когда пишете.

Лучше опираться на мысленный образ, тогда произведение будет вашим». В полном

соответствии с этим советом Гоген обычно ограничивался набросками «с натуры», а потом

уже на их основе писал одну или несколько картин в своей мастерской - просторной

хижине из бамбуковых жердей, где было достаточно светло, так как стены изобиловали

щелями.

Но для художника с нравом Гогена будни Матаиеа все-таки были недостаточным

источником мотивов. А ведь он с тем и приехал на остров, чтобы искать вдохновения

прежде всего в древнем таитянском искусстве, религии и мифологии. Однако в жизни

Таити произошло слишком много перемен; естественно

поэтому, что когда он впервые

после приезда обратился к миру вымысла, то взял сюжет из Библии: три ангела у Марии с

младенцем.

Возможно, эта мысль была навеяна посещением католической церкви в Матаиеа;

недаром Гоген назвал картину «Иа ора на Мариа», то есть первой строчкой таитянского

перевода известной молитвы «Аве Мария». И хотя у всех фигур смуглая кожа и

таитянские черты, главным источником вдохновения был не тот мир, который окружал

художника. Французский искусствовед Бернар Дориваль недавно показал, что позы фигур

заимствованы с фотографии буддийского фриза на одном яванском храме. Эту

фотографию Гоген приобрел в год Всемирной выставки и привез с собой на Таити**69**.

Убеждаясь с каждым днем, сколь мало сохранилось от древней таитянской культуры,

Гоген одновременно пережил еще одно серьезное разочарование. Приехав в Матаиеа, он

сразу начал искать девушку, которая согласилась бы жить с ним в его хижине. Заодно

будет решена проблема стирки, готовки, мытья посуды.

К сожалению, это оказалось очень сложно. Прежде всего потому, что в Матаиеа, где

насчитывалось лишь полсотни семейств, было очень мало молодых женщин, да еще самые

красивые уехали в Папеэте и осели там. К тому же местные девушки, не дожидаясь

благословения священника и вождя, рано выходили замуж. Кончилось тем, что Гоген

избрал наименее удачное решение: он послал за Тити. Разумеется, этот эксперимент был

обречен на неудачу. Тити привыкла к шумному веселью танцевальной площадки и

«мясного рынка», к китайским ресторанам. В ее глазах Матаиеа было скучнейшим местом,

а местные жители - тупой деревенщиной. В свою очередь соседи Гогена считали Тити

спесивой кривлякой и не хотели с ней знаться. Оставался один собеседник - Гоген, и она

принялась отравлять ему жизнь болтовней, требовала к себе

внимания. Конечно, хуже

всего то, что она мешала ему работать. И когда перед ним встал выбор - или Тити, или

работа, он, не долго думая, отправил ее обратно в Папеэте, где ей надлежало быть.

Но в Матаиеа ему оказалось неожиданно трудно найти себе даже случайную подругу.

Сам Гоген объяснял это тем, что «немногие девушки в Матаиеа, которые еще не

обзавелись тане (муж, мужчина), смотрят на меня так откровенно, так вызывающе и

смело, что я их даже побаиваюсь. К тому же мне сказали, что они больны. Заражены

болезнью, которой мы, европейцы, наградили их в благодарность за их радушие». В том,

что Гоген боялся снова заболеть, нет ничего удивительного. Что же до страха перед

женщинами, который раньше за ним не наблюдался, то речь идет скорее всего о вполне

понятном опасении показать себя смешным. Молодые таитяне и таитянки, не состоящие в

браке, объединялись в особые группы, и для пожилых мужчин почиталось крайне

неприличным участвовать в их интимных играх. Да и как, сохраняя почтенный вид,

ухаживать за таитянской хохотушкой, если вам доступен только язык жестов.

Еще более горьким разочарованием для Гогена было то, что в таитянской деревне

нельзя было обойтись без денег. Вместе с тем авторы очаровательного справочника,

изданного министерством колоний, по-своему были правы: таитяне не знали голода и

нужды.

К сожалению, европейцу, не владеющему землей и не знающему таитянского

земледелия, прокормиться было куда сложнее. Островитяне ловили в лагуне крупную

вкусную рыбу, но Гоген и этого не умел. На Таити, как и везде, трудное искусство

рыболовства дается не сразу. Охотиться? Но из дичи на острове были только одичавшие

свиньи, а они обитали в зарослях папоротника высоко в горах, так что требовалось хорошо

знать местность и располагать натасканными собаками, наконец, просто быть закаленным

человеком, чтобы переносить холод, дожди и прочие лишения. Иными словами, охота на

диких свиней была не по силам новичку, который к тому же только что оправился от

болезни. Из всех способов добывать себе бесплатную пищу Гогену был доступен лишь

один: собирать в горах дикие бананы. Тогда, как и теперь, таитяне каждую субботу

отправлялись за бананами и приносили запас на всю неделю. (Поэтому суббота

называлась *махана ма'а* - «день пищи»; и так Гоген назвал экспонируемую в музее

«Атенеум» в Хельсинки картину, на которой изображен таитянин с ношей бананов**70**.)

Однако он и тут не смог последовать примеру островитян, и всякий, кто пытался

повторить его таитянский опыт, тотчас поймет - почему. Дикие бананы растут высоко в

горах, туда нужно идти много часов по узким тропкам, вьющимся между пропастями,

вдоль острых гребней, и каждая гроздь весит около десяти килограммов. С

нетренированного европейца, как правило, достаточно одной вылазки, чтобы на всю

жизнь отбить ему вкус к горным бананам, даже если он на обратном пути не поломал

руки-ноги и не свалился в расщелину.

Но допустим, что Гоген ценой долгого и упорного труда в конце концов научился бы

добывать себе пищу, как это делают островитяне, - ему бы просто было некогда писать.

Конечно, он это понимал, а поэтому и не стал пытаться. Волей-неволей ему пришлось

избрать бесславное решение, стать постоянным покупателем в магазинчике китайца Аони,

стоявшем у дороги неподалеку. Однако Аони, естественно, держал только такие товары, на

которые был спрос в Матаиеа, а в их число уж, во всяком случае, не входили ни фрукты,

ни корнеплоды, ни овощи, ни свежее мясо, ни рыба, ни яйца - всем этим местные жители

сами себя обеспечивали. Не было тут и других лавок или

базара, где бы продавались
перечисленные товары.
Казалось бы, проще всего покупать мясо, рыбу и овощи у туземцев, но торговать
продуктами питания противоречило их традициям. Если европеец по невежеству или
невоспитанности обращался к ним с таким предложением, они предпочитали дать ему
что-нибудь даром; но побираться - иначе этого не назовешь - несовместимо с этикой
европейца, тем более такого самолюбивого и гордого, как Гоген.
И он очутился в нелепом положении: живя в цветущем, плодородном краю, был
вынужден питаться консервами, хлебом, рисом, бобами и макаронами. Все это
привозилось из Франции и все стоило очень дорого. Банка говяжьей тушонки - 2,5 - 3
франка, килограмм консервированного масла - 4,5 - 6 франков, килограмм сыра - 1,75 - 2
франка, килограмм сахара - 1 франк, килограмм риса и бобов 1-1,5 и килограмм муки - 0,5
франка. Молока вообще нельзя было достать, во всяком случае, свежего; правда, без этого
напитка Гоген легко обходился. Красное вино, которое он обычно пил за обедом, стоило
0,90 франка литр, а его любимый абсент - целых 7 франков бутылка. Пиво - 9 франков
дюжина (местное) и 20 франков дюжина (привозное). Из спиртных напитков всего
дешевле был ром - 2,5 франка за литр**71**.
Непредвиденные расходы (сверх обязательных - на квартиру и табак) были очень
некстати, так как у Гогена уже к рождеству совсем не осталось денег, которых ему должно
было хватить на целый год, не будь он таким расточительным в Папеэте. От торговцев
картинами в Париже он не получил ни сантима. Даже самый верный, казалось бы,
источник дохода - бенефис в Театре искусств, состоявшийся сразу после его отъезда, - не
оправдал ожиданий. Вместо полутора тысяч он принес каких-нибудь сто франков, и
организаторы целиком вручили их еще более нуждающемуся

второму бенефицианту -

Верлену. И в художественном смысле спектакль, гвоздем которого был шедевр Шарля

Мориса, трехактная пьеса о проклятии денег (!), с треском провалился. Видимо, Морис

был убит горем, потому что за прошедшие с тех пор полгода он не написал ни строчки, и

Гоген услышал печальную новость окольным путем. Нужно ли добавлять, что ввиду таких

обстоятельств бедняга Морис не смог вернуть пятьсот франков, которые занял в феврале

1891 года.

К счастью, у Гогена было рекомендательное письмо министра колоний, и он уже

придумал, как его использовать. В Папеэте он услышал, что освободилась должность

мирового судьи на Маркизских островах, и сразу смекнул, что это место поможет ему

решить все проблемы. Судье полагалось целых пятьсот франков в месяц; на такое

жалованье он будет жить без забот, жить по-княжески. И сможет наконец изучать

интереснейшее туземное искусство. Еще во Франции Гоген вырезал из журналов образцы

маркизских татуировок, которые ему очень понравились. А в Папеэте он у начальника

жандармерии увидел большое собрание маркизской каменной скульптуры, костяных

изделий, палиц и деревянных чаш, и почти все они были украшены великолепными

узорами, которые убедительно говорили о художественном таланте и мастерстве

маркизцев**72**. Еще Гогену нравилось, что Маркизский архипелаг лежит далеко от Таити и

вряд ли начальство станет докучать ему проверками.

Несомненно, Гоген был прав, считая, что должность судьи ему отлично подойдет.

Весь вопрос заключался в том, подойдет ли он для должности. Сам он, видимо, ни

секунды в этом не сомневался. Но что скажет губернатор Лакаскад? И Гоген на всякий

случай решил начать сверху, повлиять на начальников губернатора в министерстве

колоний. Написав Шарлю Морису и укорив его за долгое

молчание, он одновременно

предоставил ему отличную возможность искупить свою вину: Морис должен был опять

пойти к Клемансо и к другим влиятельным лицам, которые могли бы подтвердить, что

Гоген вполне годится в судьи. А тут, кстати, в начале 1892 года в Париж приехала Метте.

Она хотела попытаться продать картины, оставленные Гогеном у Шуффенекера, и тем

самым как-то исправить оплошность, которую он совершил, не послав ей денег перед

отъездом на Таити. Неожиданная предприимчивость Метте объяснялась вовсе не тем, что

она вдруг признала в своем супруге великого художника, ибо речь шла не о его полотнах, а

о маленькой, но хорошей коллекции картин импрессионистов, собранной им в ту далекую

пору, когда он был преуспевающим биржевым маклером.

Операция прошла успешно, чувства Метте смягчились, и, получив от Поля письмо,

где он справедливо отмечал, что большинство мужчин, во всяком случае французов,

скорее прислушаются к голосу женщины, она пообещала помочь Морису нажать где надо.

Как ни тщательно Гоген подготовил почву, обстоятельства (и прежде всего

катастрофическая нехватка денег) вынудили его обратиться к губернатору Лакаскаду до

того, как пришел ответ из Парижа. Вот как он сам описывает эту беседу: «Один честный (а

потому не очень популярный) судья, видя, что мне никак не удается нормально работать,

проявил ко мне большое участие и посоветовал просить губернатора, чтобы тот назначил

меня мировым судьей Маркизского архипелага. Сказал, что вакансия давно свободна, и ее

нужно заполнить. Раньше эту должность занимал первостатейный бездельник и болван,

один из фаворитов губернатора, получивший ее вопреки возражениям колониального

совета и впоследствии отправленный обратно во Францию в ранге официального

чиновника со всякими привилегиями. Деньги ему выделили бог весть из какой статьи

бюджета - то ли «писарские расходы», то ли «икс».

Речь шла почти о синекуре, и я получил бы возможность заниматься

своим *полезным* делом. Это было все равно что искушать дьявола, и я не стал

ходатайствовать сразу, попросил дать мне несколько дней на раздумье. Через неделю я

опять приехал в Папеэте. Судья посоветовал мне ковать железо, пока горячо, мол,

прокурор недавно говорил с губернатором, и тот заявил, что охотно меня поддержит.

Без дальнейших церемоний я пересек площадь и вошел в резиденцию губернатора. Я

не мог отделаться от чувства стыда при мысли, что собираюсь просить милости у столь

жалкой и презренной личности. (Почему мы должны зависеть от презренных личностей?)

Вестовой отнес мою визитную карточку и вернулся через пять минут. Он предложил мне

подняться наверх. Губернатор соизволит принять меня. И в самом деле, в конце лестницы,

ожидая меня, стоял Лакаскад, как всегда напомаженный, одетый в черный сюртук.

- Это вы, мсье Гоген, - сказал он. - Никак не ожидал вас увидеть. Что привело вас ко

мне?

- Я пришел с ходатайством, ваше превосходительство, только и всего. Как вам

известно, я художник. Я закончил свои занятия здесь на Таити и хочу теперь ехать на

Маркизские острова, чтобы продолжать их там. Мне только

что *посоветовали*ходатайствовать о назначении на давно освободившуюся должность

мирового судьи.

- Любезный мсье Гоген, что за нелепая мысль! Как вам это пришло в голову? Разве вы

не знаете, что для такой трудной должности нужны особые данные и основательные

знания? Скажу напрямик - вас невозможно назначить. Это произвело бы очень дурное

впечатление.

Я не мог не восхищаться удивительной проницательностью этого мерзавца, который в

одну минуту решил, что я лишен всяких данных, и

несравненной учтивостью, с какой он

объявил мне, что я буду производить дурное впечатление в роли мирового судьи»**73**.

Что бы ни думал сам Гоген, его сарказм говорит скорее о том, как он был разочарован

и ожесточен, чем о продажности и нечестности Лакаскада.

Решительный отказ губернатора поставил Гогена в крайне тяжелое и неприятное

положение. Даже если он тотчас напишет своим друзьям-художникам в Париже и те чудом

окажутся в состоянии одолжить ему денег, он их получит самое раннее через четыре

месяца. Быстрее этого письма не оборачивались, а телеграфного кабеля до Таити не

дотянули. Да и то надо признать, что почта работала очень хорошо. Все письма и переводы

шли через Северную Америку. Самым трудным и долгим, естественно, был этап между

Таити и Сан-Франциско длиной в 3660 морских миль. Ежемесячное сообщение

поддерживали небольшие шхуны водоизмещением в 150-220 тонн. Из Сан-Франциско они

выходили первого числа каждого месяца, из Папеэте - между двенадцатым и пятнадцатым.

Плавание обычно длилось минимум четыре недели, иногда намного больше. Так, шхуна

«Сити оф Папеэте», которая отчалила 15 декабря 1891 года и везла, в частности,

упомянутые письма Гогена Морису и Метте, из-за сильного встречного ветра сорок девять

дней пробивалась в Сан-Франциско**74**. Вот почему Гоген не получил своевременного

ответа.

В Матаиеа он, разумеется, не мог рассчитывать ни на какой заработок. Несколько

лучше обстояло дело со случайной работой в Папеэте, но там хватало загулявших моряков

и заблудших туземцев с других островов Французской Полинезии, которым нужны были

деньги на обратный путь. Вероятно, Гоген смог бы получить должность капитана шхуны

или бухгалтера в какой-нибудь фирме, потому что людей со специальным образованием не

хватало; а он знал обе профессии лучше большинства своих

соотечественников,

избравших эти занятия. Но тогда пришлось бы вовсе отказаться от живописи, о чем он

даже не помышлял. Время шло, а денег из Франции не поступало, и он стал продавать то,

без чего мог обойтись. Одним из первых было продано замечательное и бесполезное

охотничье ружье.

В довершение, всякий раз, когда Гоген отправлялся в ненавистный город добывать

деньги, ему приходилось выкладывать восемнадцать франков. Держать свою коляску, как

это делали все поселенцы, ему, понятно, было не по карману. И Гоген совершал

сорокапятикилометровое путешествие в дилижансе, который ходил раз в день между

Папеэте и Таравао, небольшим поселком в пятнадцати километрах от Матаиеа, на мысу

между Большим и Малым Таити. Если учесть, что дорога отнимала пять с половиной

часов, - девять франков в один конец не такая уж большая цена. Хотя, по чести говоря,

платить надо было бесстрашным пассажирам, они, безусловно, заслуживали компенсации

за переносимые ими муки. Вот как один путешественник той поры описывает поездку в

Матаиеа:

«Экипаж представляет собой длинный и довольно широкий открытый ящик с тремя

поперечными скамьями на три человека каждая, если потесниться. Ящик поднят на

полтора метра над землей, он покоится на трех рессорах - две сзади, одна впереди; они в

свою очередь опираются на две оси. Передние колеса почти такие же большие, как задние.

С левой либо с правой стороны, по усмотрению кучера, висит тяжелый, массивный

почтовый ящик, который от тряски частенько срывается с петель**75**. Первое время в

дилижанс запрягали четыре лошади цугом. Но вторая пара, случалось, тормозила, когда

первая тянула экипаж вперед, и приходилось часами ждать, пока они поладят. В Таити

всегда пристально следят за европейской модой, и теперь

запрягают тройку; во многих

местах ширина дороги такая, что больше просто не проедет. После этого

усовершенствования сообщение стало более регулярным. И наконец - великое достижение

- дилижанс снабдили пологом, чтобы пассажиры не выкалывали друг другу глаза спицами

своих зонтов. Попробуйте угадать, из чего был сделан первый полог? Из кроватной сетки

(к счастью, без пружин), поставленной на четыре палки! Опыт удался, и модель была

утверждена.

Лучшее место - на передней скамье, рядом с кучером, потому что он предпочитает

сажать к себе не больше одного человека; к тому же у вас не громоздится под ногами куча

багажа. Последняя скамейка лучше всего подходит для людей флегматичных,

нуждающихся во встряске, которой на этой дороге не избежать. Потому что когда

дилижанс полон, задние рессоры совсем сжимаются, и сидящие на последней скамейке то

и дело получают толчок, который через позвоночный столб передается в мозг, совершенно

его оглушая»**76**.

Для полноты картины добавим, что Гоген ездил в город в разгар дождевого сезона.

Дожди длятся на Таити примерно с ноября по апрель, и в это время часто дует сильный

ветер, от которого самый лучший в мире полог не может защитить.

Жители Папеэте больше не видели причин относиться к Гогену радушно и вежливо,

после того как губернатор показал своим решительным поведением, что этот человек, хоть

он и получил каким-то таинственным путем официальную миссию, - ничтожество.

Исключений было мало. Самыми верными друзьями оказались самые старые: лейтенант

Жено и его соседи - кондитер Дролле и санитар Сюха. Жено всегда давал Гогену приют,

остальные частенько приглашали отобедать. И все трое время от времени давали ему

деньги взаймы. Гоген выражал свою благодарность

единственным доступным ему путем:

дарил им рисунки и картины. Один раз он даже написал портрет для Сюха. Повод был не

совсем обычный, но картина была принята так же, как и предыдущие полотна Гогена. У

супругов Сюха был единственный сын, Аристид, которому тогда исполнилось всего

полтора года. В начале марта 1892 года Аристид заболел, судя по всему, гастритом.

Несмотря на это, мать, следуя лучшим (вернее, худшим) таитянским традициям,

продолжала пичкать его едой. Пятого марта ребенок скончался, и когда Гоген, который в

это время был в городе, вернулся «домой», он застал госпожу Сюха горько рыдающей у

кроватки сына. Полагая, что портрет ребенка может стать для нее утешением, он живо

приготовил краски и холст и молниеносно изобразил умершего Аристида. Но когда он

подошел к госпоже Сюха с готовым портретом, она только зарыдала еще сильнее и

горестно вымолвила:

- У него тут совсем желтое лицо, он похож на китайца...

Гоген попытался оправдаться тем, что задернутые занавески создают в комнате

желтоватое освещение, однако ему так и не удалось уговорить мадам Сюха принять

подарок. В конце концов смущенный супруг взял картину и спрятал ее подальше**77**. Почти

во всех альбомах и трудах о Гогене утверждается, что портрет (он теперь находится в

Голландии, в музее Кроллер-Мюллера в Оттерло) изображает «принца Аити». Но на Таити

никогда не было такого принца и «Аити» - всего-навсего таитянская форма французского

имени Аристид.

Несмотря на новый публичный провал, Гоген всего через две недели, к своему и

всеобщему удивлению, получил заказ на портрет. Смельчака звали Шарль Арно, его

хорошо знали на Таити, он прежде служил во французском флоте, потом ушел в отставку,

купил шхуну «Матеата» и теперь ходил на ней от острова к острову (а их во французской

Полинезии больше ста), скупая копру и жемчужниц и сбывая втридорога скверную водку,

муку и ситец. Капитан Арно заслужил весьма красноречивую кличку «Белый волк», и

восхищенные коллеги считали, что он надувает власти так же ловко, как туземцев. О нем

говорили, например, будто он не раз тайком переправлял в Америку жемчужницы,

собранные в запретных водах, а на обратном пути контрабандой ввозил в колонию

спиртные напитки.

Впервые Гоген встретил капитана в доме их общего друга Состена Дролле вскоре

после того, как Арно 18 марта вернулся с Туамоту. У двух бывших военных моряков было,

конечно, что вспомнить и о чем поговорить, и они быстро стали хорошими друзьями. И

ведь их объединяла не только многолетняя флотская служба: оба, каждый по-своему, были

пиратами, попирающими все условности. Видимо, капитан Арно неплохо заработал на

последнем плавании, так как он обещал Гогену огромный гонорар - две с половиной

тысячи франков за портрет своей жены**78**. Во всяком случае, так утверждает сам Гоген.

(Правда, в одном письме он уточняет, что речь шла «всего» о двух тысячах.) Скорее всего,

разговор с Арно происходил в баре, во время какой-нибудь веселой пирушки и капитан,

который и в хвастовстве мог с кем угодно потягаться, добавил лишний ноль, чтобы

произвести впечатление на присутствующих.

Во всем этом деле Гогена тревожила одна деталь: капитан Арно уже снова собирался в

путь, на этот раз на далекие острова Мангарева, и, как всегда, хотел взять красавицу-жену

с собой, поэтому выполнить заказ можно было только, когда они вернутся, то есть в мае. А

это означало, что Гогену еще почти два месяца предстоит побираться, так как и мартовская

шхуна (вернее, запоздавшая февральская), придя девятнадцатого числа, не привезла ни

писем, ни денег от его парижского агента.

Несколько дней спустя Гоген в письме Полю Серюзье -

единственному, кроме Метте,

от кого он получил весточку с мартовской почтой, - поделился своими горестями: «Твое

письмо прибыло как раз в такую тяжелую минуту в жизни человека, когда нужно

принимать решение, хотя знаешь, что все равно, как ни решай, будет неудача. Короче

говоря, я сижу на мели, и все из-за вероломства Мориса. Остается только возвращаться

домой. Но как это сделать без денег? К тому же я хочу остаться, мое дело не завершено,

работа только-только начата, и я чувствую, что способен создать хорошие вещи. Да,

подвел меня Морис. Если бы он в самом деле отправил мне два заказных письма, как он

уверяет, я их непременно получил бы. (Все твои письма дошли.) И будь у меня еще

пятьсот франков (как раз те пятьсот, которые мне должен Морис), я бы перебился. У меня

есть договоренность, в мае я должен написать женский портрет за 2500 франков, но, к

сожалению, на эту договоренность я не могу твердо положиться. Буду делать все, даже

невозможное, чтобы продержаться до мая. Если тогда и впрямь доведется писать этот

портрет - уж я сделаю что-нибудь лестное в духе Бонна - и мне заплатят, я потом, наверно,

смогу получить еще один-два заказа и снова стать вольным человеком».

Как это ни парадоксально, главным положительным результатом вынужденных

поездок в город было то, что Гоген углубил свои крайне недостаточные познания о

таитянской культуре. Причем весьма прозаическим способом: он наконец-то открыл для

себя два широко известных этнологических труда. Один было не трудно найти, он вошел в

изданный в начале марта официальный ежегодник 1892 года, продаваемый за небольшую

цену в государственной типографии. Это была перепечатка статьи страниц на пятьдесят

под названием «Таитянское общество ко времени прибытия европейцев», впервые

опубликованной в 1855 году. Автор, французский военный

моряк Эдмон де Бови, отбывая

в сороковых годах службу в новой колонии, расспросил многих старых вождей и местных

историков. Материал был в общем-то заслуживающий доверия, но, как это видно по

малому объему статьи, очень уж жидкий. Второй труд (его было гораздо труднее отыскать)

Гоген взял почитать у адвоката Гупиля, который доказал свое расположение к художнику,

купив его роскошное ружье. Речь идет о вышедшем еще в 1837 году известном всем

исследователям Южных морей двухтомнике с поэтическим названием «Путешествие на

острова Великого океана». Написал эту книгу французский коммерсант, впоследствии

консул, Жак Антуан Муренхут, фамилия которого говорит о фламандском происхождении.

Этот автор тоже попытался реконструировать картины прошлого, опираясь на беседы со

стариками, но он опрашивал их лет за пятнадцать до Бови. Литературным образцом

Муренхута был Шатобриан, о котором очень метко сказано, что он обладал «могучей

фантазией и блестящим стилем и соединял страстное красноречие с красочными

описаниями среды». Эта характеристика вполне подходит и к Муренхуту. Гоген был

настолько захвачен эпическим повествованием, что принял на веру все реконструкции и

толкования Муренхута, хотя среди них есть много ошибочных.

Любопытно в этой связи отметить, что Гоген без труда мог бы найти у местных

французов другие, более основательные этнологические труды, написанные по-английски.

Например, «Полинезийские исследования» Вильяма Эллиса, миссионера, который жил на

Таити в 1816-1822 годах. Не говоря уже о знаменитых записках капитана Кука, с

непревзойденной точностью и тщательностью описавшего таитянский быт и нравы еще

более ранней поры. Видимо, от этих книг Гогена отпугнуло недостаточное знание

английского**79**. Удивительнее другое: как он упустил из виду,

что и в его время на Таити еще

были старики и старухи, которые знали немало мифов и преданий, песен и легенд. Самая

ученая среди них - семидесятилетняя Арии Таимаи Салмон, мать королевы Марау, жила в

соседней области Папара, у своего сына, вождя Тати, всего в девяти километрах от

Матаиеа.

Впрочем, недостаток предприимчивости Гогена можно объяснить. Арии Таимаи была

замужем за англичанином, поэтому она и все ее дети были ярко выраженными

англофилами. Роберт Луис Стивенсон и Генри Адамс были очень радушно приняты

семьей Салмон, и оба записали многие рассказы Арии Таимаи**80**. Другое дело неизвестный

нищий французишко, вроде Гогена, уже он-то вряд ли мог рассчитывать, что Арии Таимаи

пригласит его послушать исторические предания, тем более что он поселился у Тетуануи,

который был главным соперником и противником Тати Салмон и в политике и в делах.

В трудах Бови и Муренхута, как и можно было ожидать, Гогена особенно увлекла

глава о давно исчезнувшем обществе ариои. Члены этого общества, наверно, лучше и

полнее, чем кто-либо когда-либо на свете, осуществили идеал свободной любви. Все

мужчины и женщины, входившие в этот союз, имели неограниченное право на половые

связи друг с другом. Несмотря на свободную мораль, общество представляло собой

организацию с такими же строгими правилами, как какой-нибудь религиозный орден;

собственно, оно и было таким орденом. Ариои считали себя апостолами бога Ора и

старались всякими средствами распространять его учение. Самыми остроумными из этих

средств бесспорно были танцы нагишом и демонстрация сексуальной техники, которые

неизменно привлекали на их душеспасительные сборища множество народу.

Сами ариои рассказывали, что их общество было учреждено богом Оро, когда

знаменитая красавица Ваираумати заманила его на землю. Этот эпизод и лег в основу

первой картины, написанной Гогеном после того, как он познакомился с пикантной

таитянской религией. Картина изображает обнаженную Ваираумати - она восседает на

ложе, устланном мягкими тканями. а на низком столике у ее ног лежат свежие плоды.

Видимо, художник был не совсем доволен своим произведением, потому что он написал

еще одну картину на ту же тему. Первую он назвал попросту - «Ваираумати теи оа»

(вернее было бы «Ваираумати те и'оа»), что означает - «Ее зовут Ваираумати». Второе,

гораздо более удачное полотно, получило название «Те аа но ареоис» (Гоген повторил

грубые орфографические ошибки Муренхута и «с» для обозначения множественного

числа), то есть «Корень ариои». Корень, о котором идет речь, - завязь кокосового ореха в

левой руке Ваираумати. Очевидно, корень или завязь символизирует сына, рожденного

красавицей Ваираумати от Оро.

Но делать Ваираумати родоначальницей общества ариои совсем неверно, потому что,

согласно легенде, Оро сам лично избрал первого ариои - вождя с острова Раиатеа, после

чего незамедлительно вернулся в свою небесную обитель**81**. По прихоти судьбы, которая, наверно, вызвала бы улыбку Гогена, первая картина в конечном счете очутилась в Музее

изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве, тогда как вторая уже много лет

украшает бар одного американского мультимиллионера.

В конце апреля, когда пришла очередная почтовая шхуна, Гоген был грубо оторван от

упоительного таитянского прошлого и из мира прекрасной мечты возвращен в печальную

действительность. Среди писем, врученных ему кучером, и на этот раз не было денежных

переводов. Поэтому он снова сел в трясучий дилижанс и поехал в Папеэте. Капитан Арно

еще не завершил своего дальнего плавания, и Гоген опять обратился к богатому и

влиятельному адвокату Огюсту Гупилю. Но тот мог только

предложить ему временную

должность.. . сторожа мебельного склада. Мебель принадлежала одному китайскому

лавочнику в Паеа, который слишком щедро раздавал товары в кредит туземцам и

прогорел. Имущество китайца описали, назначили распродажу. А пока ликвидатору, то

есть адвокату Гупилю, нужен был надежный сторож. Лучшей работы в Папеэте не

нашлось, и Гоген, подавив самолюбие, отправился в Паеа. Он Мог хоть утешаться тем, что

там есть хороший друг, учитель Пиа, который, наверно, его приютит. Уже через

одиннадцать дней, 18 мая, временная работа кончилась. Гоген получил на руки тридцать

шесть франков и семьдесят пять сантимов; положение оставалось отчаянным**82**.

Капитан Арно все еще не вернулся. Совершенно убитый, Гоген поехал обратно в

Матаиеа, размышляя над своей тяжкой судьбой. Больше всего его тревожило то, что после

9 июня он уже не сможет рассчитывать на бесплатный проезд домой, во Францию. В этот

день исполнится год его пребывания на Таити, а он недавно узнал, что французский

гражданин, оказавшийся без денег в одной из колоний, мог рассчитывать на помощь

государства только, если ходатайствовал об этом до истечения первого года. Если он по

своей воле оставался сверх одного года, его уже рассматривали не как попавшего в беду

туриста, а как поселенца.

Полагаться на щедрое обещание капитана Арно вряд ли стоило, и все более

очевидным становилось, что случайной работой не прокормишься, поэтому потерять

право на бесплатный проезд было бы для Гогена полной катастрофой. Хочешь не хочешь,

надо немедленно что-то решать.

Всего он написал около тридцати пяти картин. (Точную цифру установить нельзя, но

если мы и ошибаемся, то от силы на две-три картины.) Даже если отбирать не слишком

строго, получалось маловато для персональной выставки, а

он к тому же был недоволен

многими произведениями. Правда, у Гогена были полные альбомы набросков, и при его

методе он без труда мог бы продолжать в Париже свой цикл таитянских картин. Больше

того, там дело несомненно пошло бы и быстрее и лучше, чем на Таити, где ему без конца

приходилось ездить из Матаиеа в Папеэте. О том, как трудно было Гогену сосредоточиться

на работе, говорит такой факт: из тридцати пяти картин, которые он все же создал,

большинство приходится на 1891 год и только пять или шесть написаны в первое

полугодие 1892-го. Гоген взвесил все и в конце концов с величайшей неохотой решил

просить, чтобы его отправили домой за государственный счет.

Кроме картин, которые он написал, чтобы выставить и продать по возвращении в

Париж, Гоген создал одно произведение, так сказать, для себя. Оно и по другой причине

стоит особняком: речь идет о витраже. Возможно, мне следовало бы выбрать другое слово,

не вызывающее у читателя представления о красочном, скрепленном свинцовыми

обрамлениями церковном окне, потому что Гоген попросту написал масляными красками

картину на стеклах в верхней половине одной из дверей парадного дома Анани.

Это не совсем обычная мысль пришла ему в голову случайно, скорее всего, в конце

первого года его пребывания на Таити, когда он опять заболел и радушный хозяин уложил

его в постель в своей утепленной вилле, где не было таких сквозняков, как в бамбуковой

хижине. (Хотя на побережье Таити температура никогда не опускается ниже семнадцати

градусов тепла, дующий ночью с гор сырой и прохладный ветер вполне может вызвать

простуду, даже воспаление легких, так что Анани поступил очень мудро.) Анани считал,

что Гогену надо отлежаться, но тот не мог долго оставаться без дела и через несколько

дней придумал оригинальный способ удовлетворить свою

неизлечимую страсть к

творчеству, чем привел в полное замешательство своего хозяина.

На первый взгляд витраж на двери Анани (в 1916 году Сомерсет Моэм купил его у

сына Анани**83**) ничего особенного не выражает: таитянская девушка с обнаженным бюстом

стоит перед кустом (илл. 27). Но он тотчас обретает смысл, если сравнить его с

изображением Евы, срывающей красный плод с древа познания, - картиной, которую

Гоген написал осенью 1890 года в Бретани (илл. 7). Витраж повторяет это полотно, разница лишь в том, что Ева номер два несколько тучнее и у нее таитянское лицо. Не боясь

обвинения в ложной психологизации, можно сказать, что витраж, как и бретонская

картина, рассказывает нам, о чем Гоген по-прежнему больше всего тосковал: о женщине.

И еще одно обстоятельство делает особенно волнующим это творение больного. Если

разобраться, это был всего-навсего суррогат произведений, которые давно занимали

Гогена. Он и сам это хорошо понимал, это видно из его ответа Даниелю, который в одном

из своих последних писем рассказывал, что сам чисто случайно заинтересовался

французским церковным искусством.

«Нет ничего прекраснее на свете, чем простое церковное окно, очаровывающее

своими четко разграниченными красками и фигурами. Оно по-своему напоминает

музыкальное творение. Не горько ли сознавать, что я родился прикладным художником, но

не могу осуществить свое призвание. Ведь у меня гораздо больше данных для росписи

стекла, конструирования мебели и керамики, чем для живописи в строгом смысле этого

слова».

Лишь после того как Гоген, к своему великому огорчению, убедился, что и следующая

почтовая шхуна, которая пришла 1 июня, не привезла ему ни денег, ни письма от Мориса,

он наконец отправился в город просить губернатора, чтобы ему предоставили бесплатный

билет. Немалую роль сыграло то, что к этому времени все его состояние измерялось

сорока пятью франкам.

С тяжелым сердцем пересек Гоген танцевальную площадку перед дворцом

губернатора, на которой в первые месяцы провел столько счастливых часов, и вошел в

широкие ворота. Только он стал подниматься по лестнице, как увидел спускающуюся ему

навстречу знакомую коренастую фигуру. Капитан Арно**84**! Удивление было взаимным.

- Кой черт тебя привел на эту посудину? - спросил капитан; он вернулся всего два дня

назад, причем явно опять проштрафился.

Гоген отвечал ему в тон:

- Такое паршивое дело, что хуже не придумаешь. Пришел просить губернатора, чтобы

меня отправили домой. Я сел на мель и потерял все паруса.

Испытывая угрызения совести, Арно вытащил четыреста франков и сунул их Гогену

со словами:

- Дай мне любую картину, и мы в расчете.

Уж не собирается ли он увильнуть от скороспелого обещания, данного двумя

месяцами раньше?.. Но капитан тут же заверил, что заказ остается в силе, а заодно

беспардонно сбавил цену наполовину. Потом сказал Гогену по секрету, что жена почему-то

упрямится, он до сих пор не уговорил ее позировать. Тем не менее четыреста франков и

новое туманное обещание настолько ободрили Гогена, что он решил отказаться от

унизительного визита к губернатору Лакаскаду и пока никуда не уезжать.



Чтобы показать капитану Арно, что сам он вполне серьезно относится к их уговору,

Гоген вскоре подарил ему картину, выполненную в реалистичной манере и вполне

понятную любому человеку: две таитянки плетут шляпы на берегу лагуны**85**. (Она

экспонируется в одном из отделов Лувра.) А еще через несколько дней, как следует

обдумав свое положение, он принял весьма разумную меру предосторожности. Чтобы не

ходить больше к ненавистному губернатору, Гоген написал письмо своему патрону,

директору Академии искусств в Париже:

«Таити, 12 июня 1892 года. Господин Директор!

По моей просьбе Вы оказали мне честь, послав меня с официальной миссией на Таити,

чтобы я изучал нравы и природу этого края. Я надеюсь, что Вы оцените мой труд, когда я

вернусь. Но даже при самой большой бережливости стоимость жизни на Таити высока и

поездки обходятся дорого. Вот почему я позволяю себе просить Вас, господин Директор,

об отправке меня домой, во Францию, за государственный счет, и надеюсь, что Вы

любезно согласитесь предоставить мне эту льготу.

Ваш почтенный слуга *Поль Гоген*»**86**.

Правда, ответ придет не раньше, чем через четыре месяца. Но если и впрямь быть таким

бережливым, каким он рисовал себя в письме, четырехсот франков, полученных от капитана Арно,

должно хватить на этот срок. И Гоген впервые за много недель был в хорошем настроении, когда

сел писать о своих последних злоключениях Даниелю де Монфреду, который показал себя его

самым верным другом. «Я до сих пор громко смеюсь всякий раз, как подумаю об этом, - уверял он

и с беспечной прямотой продолжал: - Так у меня всю жизнь: я подхожу к краю бездны, но никогда

не падаю в нее. Когда (Тео) Ван Гог из галереи Гупиля потерял рассудок, я уже думал, что все

пропало. Ничего, обошлось. Я только еще больше старался. Ну да ладно. Странные шутки играет со

мной судьба. Пока что я получил новую отсрочку до следующей катастрофы и опять начинаю

работать».

19.

Большинство туземцев жило в старинных овальных хижинах: глухие стены из бамбука, крыша из



сплетенных листьев пандануса или кокосовой пальмы.

12.

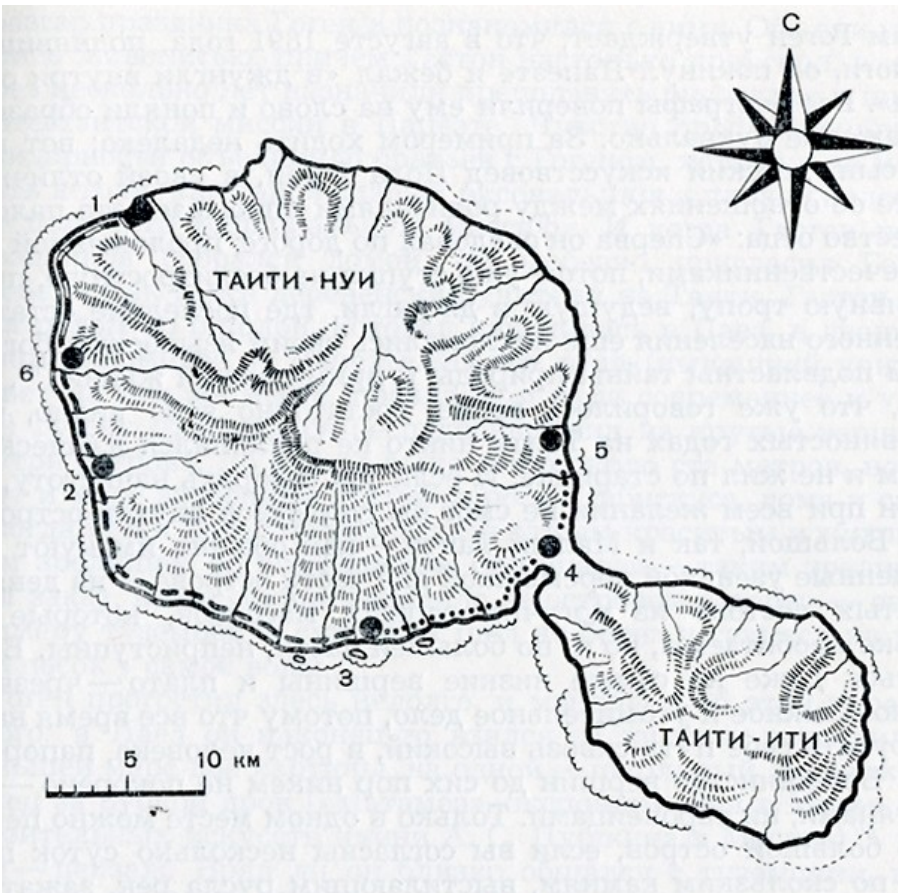
Ле парау парау. Беседа. 1891 (Беседа. Эрмитаж, инв. № 8980). Типичная сцена из жизни

островитян. Под вечер, когда становится прохладнее и кончается рабочий день, таитяне

собираются вместе - часто мужчины отдельно, женщины отдельно, - чтобы побеседовать и

покурить, пока не зайдет солнце. Обратите внимание, как строго одеты женщины - в длинные, у

многих черные платья. Это плоды проповедей миссионеров.

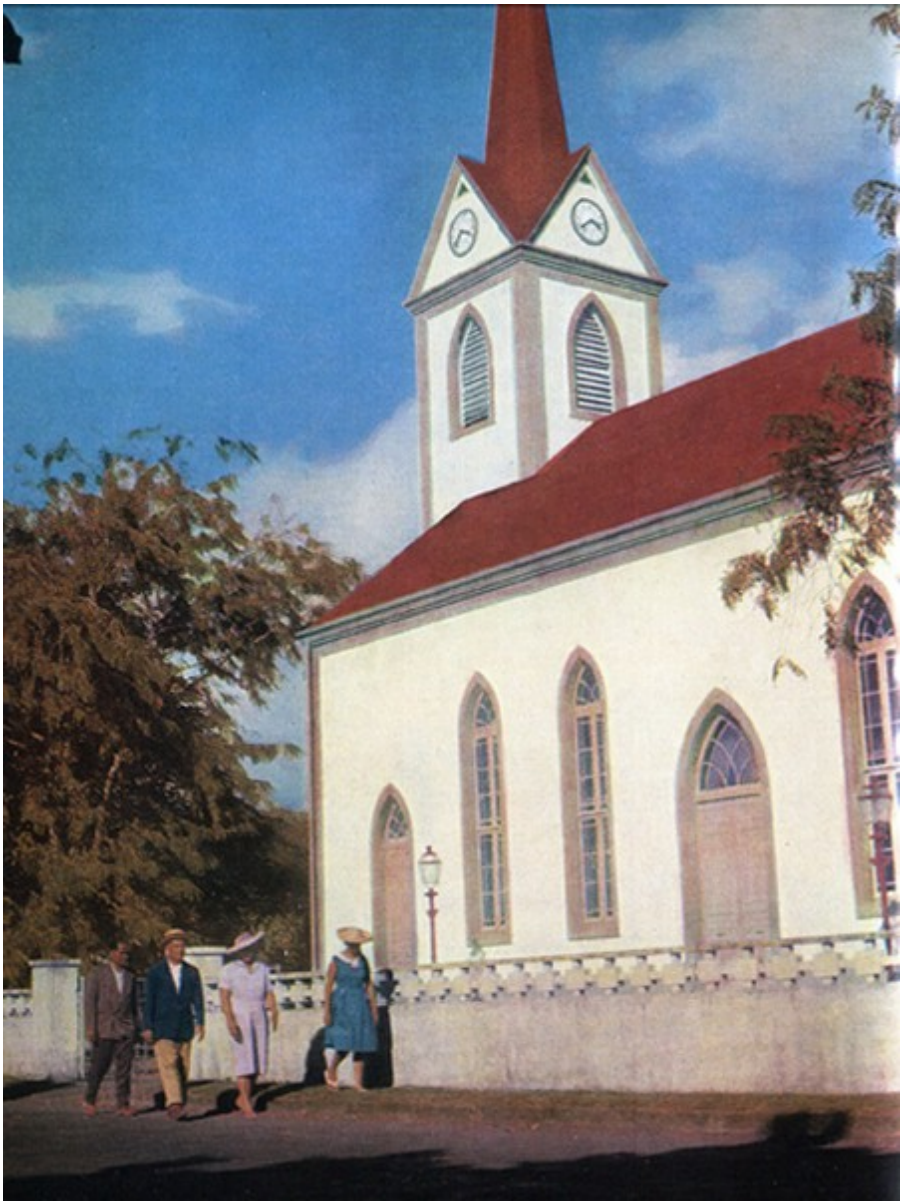


III.

Карта Таити 1. Папеэте, столица Французской Полинезии 2. Школа и дом учителя в Паеа 3. Хижина

Гогенам Матаиеа, 1891-1893 4. Таравао, конечная станция папеэтского дилижанса 5. Дома

родителей Теха'аманы в Фааоне 6. Пунаауиа, где Гоген жил в 1895-1901 гг.



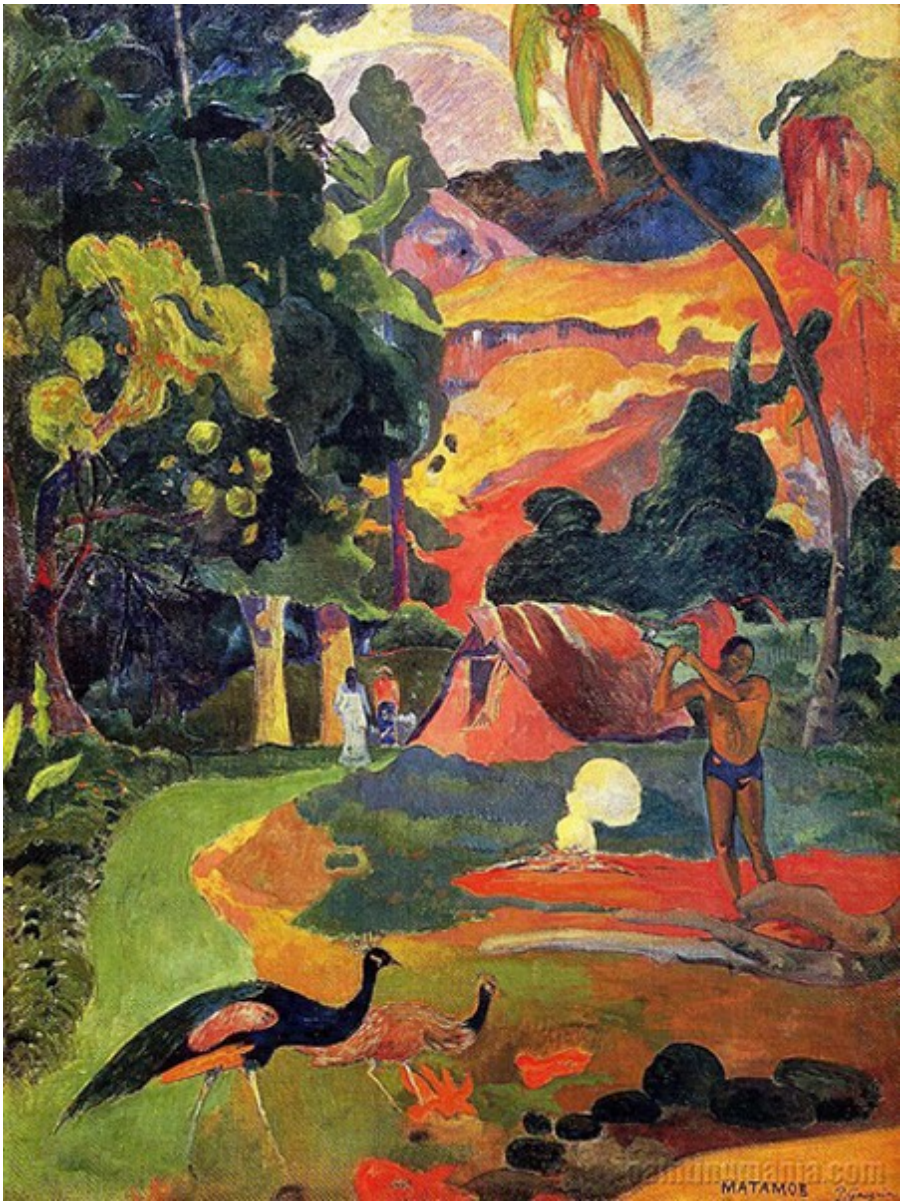
67. В лучшем выходном

платье таитянская семья идет в кальвинистскую церковь в Паофаи (Папеэте). Впрочем, женщина

посредине так часто натирала ноги, что на этот раз оставила туфли дома. Зато исполненные

покаянного духа мужчины честно шагают в жарких шерстяных пиджаках, несмотря на тропический

зной.

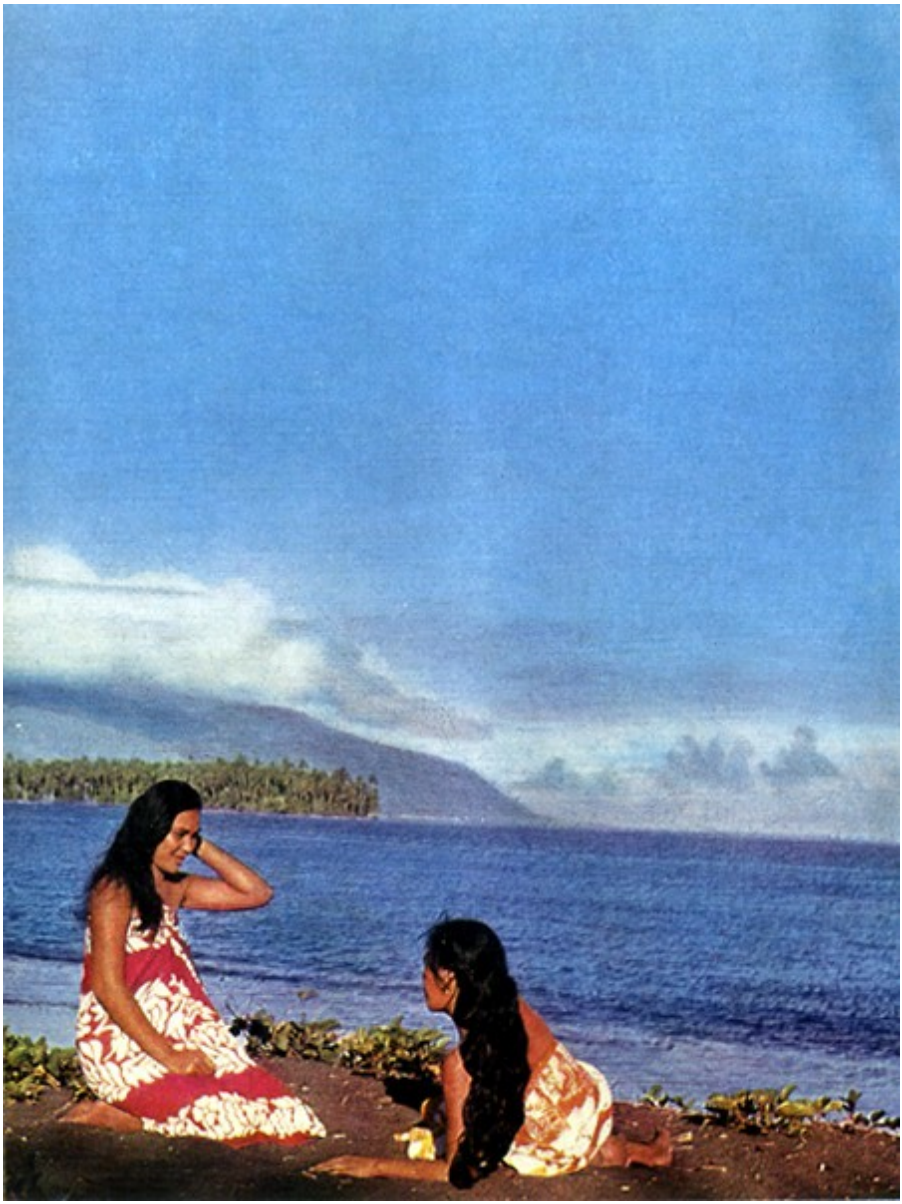


Матамоэ

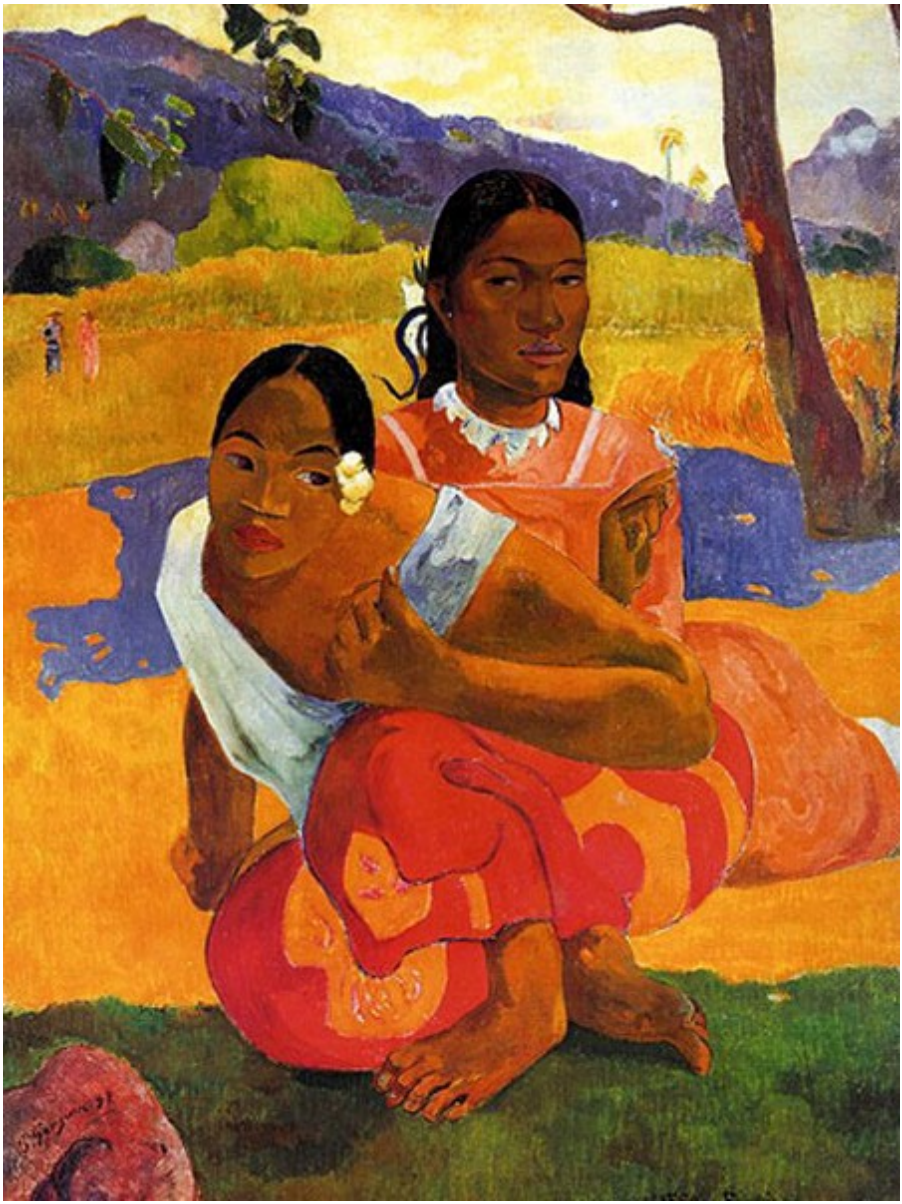


20. Новый дом Гогена в

Матаиеа виден за деревьями на этой картине. Хижина слева - кухня.

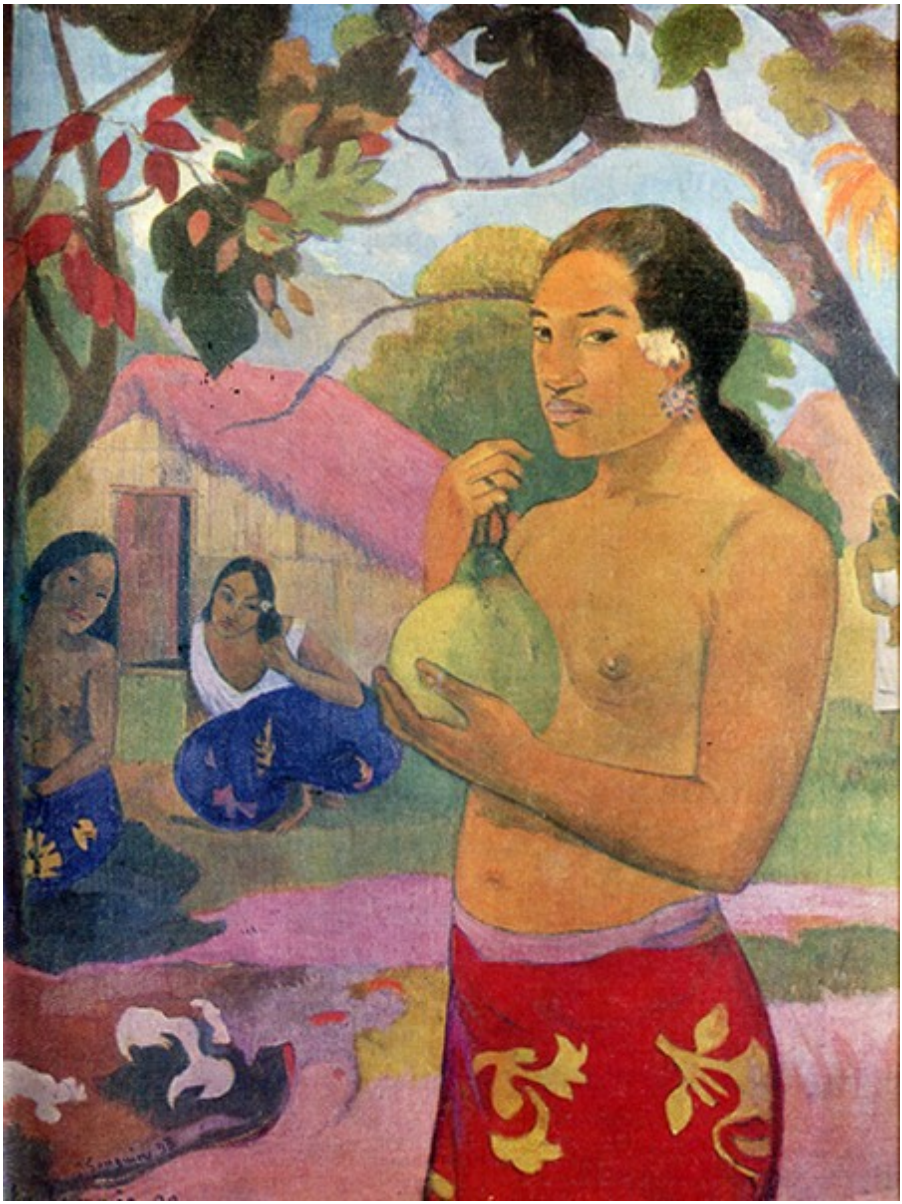


2. С тех пор как Таити был открыт в 1767 г., европейцы не устают восхвалять прекрасный остров и прекрасных таитянок. Что хвала справедлива, Гоген убедился, когда поселился в Матаиеа, где и сделан этот снимок с видом на Малый Таити.





Иа ора на Мариа

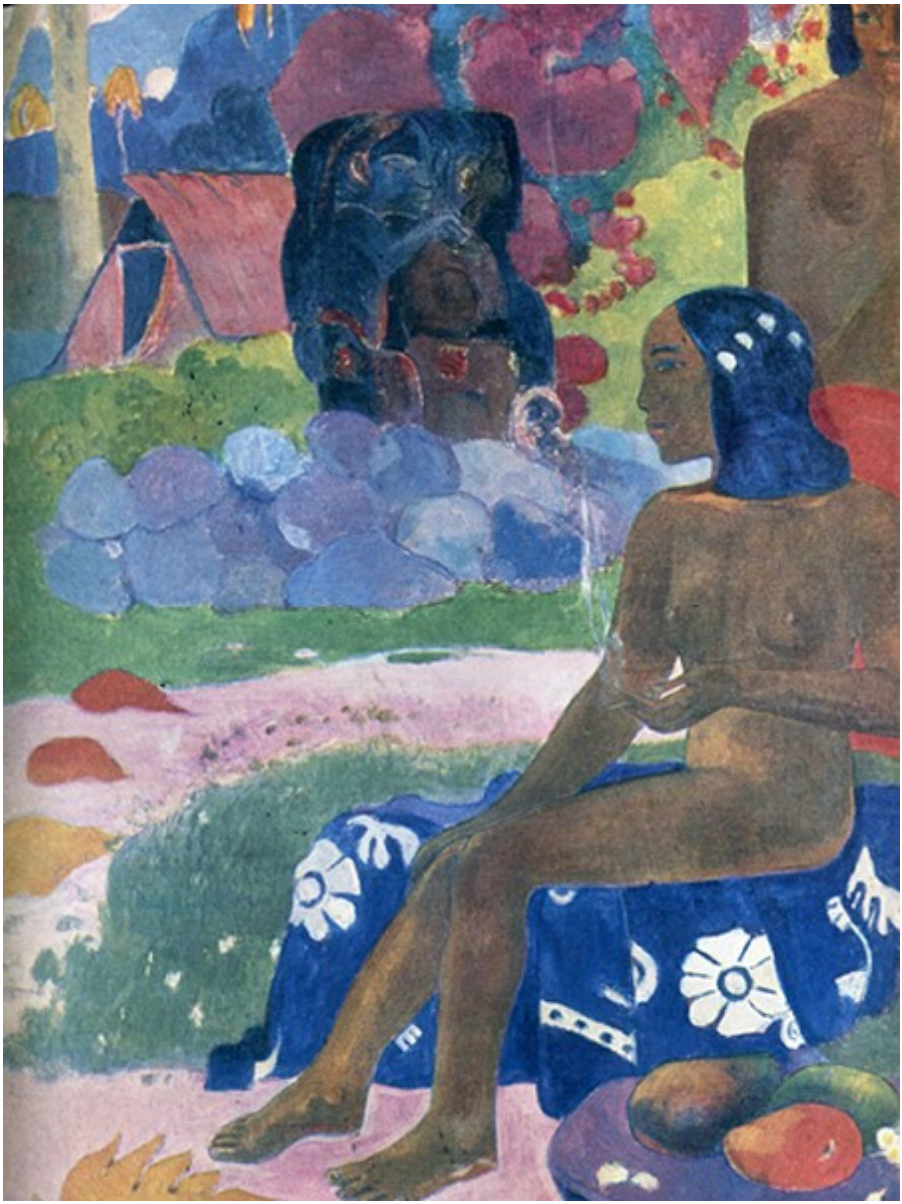


22. Эа хаэре иа оэ. Куда идешь? 1893 (Женщина, держащая плод. Эрмитаж, инв. № 9120). Таким вопросом таитяне обычно приветствуют встречных. У женщины в руках сосуд из тыквы, поэтому она, наверно, отвечает, что идет на речку за водой.



26. Эта карикатура на губернатора Лакаскада обыгрывает двойное значение слова magot - «обезьяна» и «сокровище».

Под сокровищем Гоген подразумевал состояние, будто бы нажитое губернатором за счет взяток.



14. Ваираумати теи оа. Ее зовут Ваираумати. 1892 (Ее зовут Вайраумати. ГМИИ, инв. № 3261). Наряду с реалистическими пейзажами и портретами Гоген часто писал мифологические сюжеты. Согласно древней таитянской легенде, Ваираумати - женщина, которую взял в жены бог Оро, когда сошел на землю, чтобы основать общество ариои. Сам бог Оро изображен в правом верхнем углу.



Те аа но ареоис



13.

Фатата те моуа. У горы. 1892 (Большое дерево. Эрмитаж, инв. № 8977). Реалистический пейзаж

Матаиеа на южном берегу Таити, где Гоген жил с конца 1891 до середины 1893 г. Население так

сократилось, что хижины стояли редко. И, как на этой картине, редко можно было увидеть больше

одного всадника или прохожего.



27. Новая версия Евы в

раю была написана Гогеном на стеклянной двери дома Анани в благодарность хозяину, который

ухаживал за ним во время болезни. Через двадцать пять лет ее купил Сомерсет Моэм.

ГЛАВА V. Женитьба Коке

Вопреки надеждам Гогена, работа шла очень туго. Теперь, когда он на какой-то срок

освободился от денежных забот, у него появилось больше времени не только для работы,

но, к сожалению, и для раздумий. И его совсем одолели мрачные мысли. К тому же он

опять очень остро переживал свое одиночество. Все попытки взять себя в руки и

сосредоточиться не помогали, и тогда он сделал самое умное, что мог придумать, -

отправился искать себе «жену». Сам Гоген в своей книге о жизни на Таити, которую

написал, вернувшись во Францию, изображает дело иначе, он уверяет, будто поехал

наконец в более примитивные уголки острова, лежащие за Матаиеа, чтобы искать там

новые мотивы, новые импульсы. Однако все его поведение явно показывает, что им

двигала его старая мечта - найти себе прелестную и преданную таитянскую Еву.

Начало экспедиции было довольно заурядным. В старом разбитом почтовом

дилижансе он доехал до конечной станции - Таравао, расположенной в пятнадцати

километрах восточнее Матаиеа, на перешейке между Большим и Малым Таити. Отсюда

две скверные дороги вели на меньший полуостров, а третья, еще более скверная, скорее

напоминавшая вьючную тропу, по скалам и лощинам восточного побережья большого

полуострова возвращалась в Папеэте. В Таравао жил китайский купец, который по

дорогой цене выдавал напрокат коляски и лошадей немногим горожанам, отважившимся

забраться в такую даль. К счастью, Гогену не пришлось опять раскошеливаться;

французский жандарм в Таравао был настолько любезен, что одолжил ему даром одну из

своих верховых лошадей.

И Гоген направился через пальмовую рощу на север, в сторону Фа'аоне. Эта область

считалась самой глухой и уединенной, и он, вероятно, рассчитывал, что здесь лучше

сохранились исконные нравы и быт. Однако разница, как он вскоре убедился, заключалась

лишь в том, что здесь было больше бамбуковых хижин и меньше европейцев, чем в

Затаила. Да еще, пожалуй, местные жители менее тщательно

скрывали свою наготу,

поскольку тут не было ни жандарма, ни миссионеров, которые следили бы за ними. С

подлинно таитянским радушием какой-то незнакомый человек пригласил путника к себе в

хижину - подкрепиться и отдохнуть. После девяти километров езды по крутым горам и

через бурные речки Гоген устал, должно быть, не меньше, чем его конь, и тотчас принял

приглашение. Несколько человек сидели или полулежали на сухой траве, устилавшей

земляной пол. Одна женщина пошла за плодами хлебного дерева, бананами и раками, а

другая с естественным любопытством спросила, что привело сюда гостя. Гоген коротка

ответил, что направляется в Хитиа'а (так называлась область, лежащая за Фа'аоне). Ну, а

зачем он туда едет? И тут вдруг у Гогена вырвалось:

- Чтобы найти себе женщину.

Услышав это неожиданное признание, хозяева ничуть не удивились. Единственное,

чего они не могли понять, - зачем же ехать так далеко! Кроме того, как патриоты своей

области, они явно были обижены тем, что знаменитым красавицам Фа'аоне чужеземец

предпочитает этих провинциалок из Хитиа'а. И последовало внезапное предложение:

- Возьми мою дочь, если хочешь.

Согласно таитянскому обычаю, родители решали, с кем сочетаться браком их детям, и

те, как правило, беспрекословно подчинялись - ведь брак не закреплялся никаким

гражданским или церковным актом, разводись, когда захочешь. В случае с Гогеном

удивляет только то, что мать предложила дочь совсем незнакомому человеку. Объяснить

это можно тем, что таитяне тогда, как и теперь, охотно отдавали своих дочерей замуж за

европейцев, справедливо считая их самой выгодной партией. Откуда матери было знать,

что Гоген вовсе не так богат и знатен, какими она считала всех французов на острове.

Предприимчивая мамаша была недурна собой, и не старая - лет сорок, не больше. Так

что не было никаких причин не верить ей, когда она в ответ на прямые вопросы Гогена

заверила его, что суженая красива, молода и здорова. Волнуясь, он велел привести невесту.

Мать вышла и через четверть часа возвратилась с девочкой, которая по таитянским

понятиям уже созрела для замужества - ей было около тринадцати лет. Звали ее

Теха'амана, как у всех чистокровных полинезиек, у нее был широкий, плоский нос, очень

полные губы, крупные руки и ноги. Даже на европейскую мерку она была красива:

удивительно нежная кожа, большие выразительные глаза, черные, как смоль, волосы по

пояс. И мягкая грация, какой в Европе не увидишь. Пятнадцатиминутная заминка

объяснялась вовсе не тем, что матери было трудно уломать девушку, а тем, что покорная

дочь сразу принялась укладывать вещи. Впрочем, все приданое уместилось в небольшом

узле, который она держала в левой руке.

Гоген был очарован ею и тут же посватался, проявив при этом необычную даже на

Таити расторопность и деловитость:

«Я поздоровался с ней. Улыбаясь, она села со мной рядом.

- Ты меня не боишься? - спросил я.

- Нет.

- Хочешь всегда жить в моей хижине?

- Да.

- Ты когда-нибудь болела?

- Нет. И все».

Но самое примечательное в этом сватовстве - Гоген уверяет, будто разговаривал по-

таитянски. Конечно, этот лингвистический подвиг можно объяснить тем, что речь шла о

трех полезных стандартных вопросах, которые он давно вызубрил наизусть. И ведь чему-

то он научился за девять месяцев жизни в Матаиеа. Наконец (о каком бы языке ни шла

речь), известно, что самому произнести несколько несложных фраз легче, чем понять

ответы туземца. Вот почему только естественно, что Гоген слегка ошибся: он понял, что

родители Теха'аманы происходят с островов Тонга, лежащих

в другом конце Тихого
океана, а они говорили о Раротонге - так полинезийцы называют архипелаг,
расположенный к западу от Таити и обозначенный на европейских картах как острова
Кука. И прежде чем попасть на Таити, они довольно долго жили на другом острове
архипелага Общества, а именно, на Хуахине, где и родилась Теха'амана**87**. Разница в языке
и культуре островов Кука и архипелага Общества настолько мала, что они быстро
освоились в Фа'аоне и ничем не выделялись среди своих соседей.

Хотя Гоген повидал только часть восточного побережья большого полуострова, а с
Малым Таити был вовсе незнаком, его исследовательский пыл на этом кончился - он уже
нашел искомое. К его великому недовольству, матери и родственникам Теха'аманы было
невдомек, что он предпочел бы совершить свадебное путешествие без свиты, и когда Гоген
кратчайшим путем направился домой, в Матаиеа, они беспеременно увязались следом.

Теха'амана, как и надлежало хорошо воспитанной жене-таитянке, шла пешком за лошадью
супруга. Уже через несколько километров весь отряд остановился перед чьей-то
бамбуковой хижиной. Гогена пригласили войти в дом, и Теха'амана представила ему
таитянскую чету, назвав их своими родителями. Гоген, понятно, удивился и хотел
выяснить, откуда вдруг еще родственники, но теща номер два сама принялась его
допрашивать, после чего вынесла очень умный и дельный приговор:

- Я хочу, чтобы Теха'амана вернулась к нам через восемь дней. И если окажется, что
ей с тобой плохо, она не будет жить у тебя.

Недовольный тем, как неудачно сложилось его свадебное путешествие, Гоген
обратился к первой женщине, которая без каких-либо условий отдала ему Теха'аману в
жены, и сердито заметил, что она его грубо обманула, назвавшись матерью девочки.

Однако та решительно и с чистой совестью отвергла его обвинение. Просто Гоген до тех

пор не знал, что у большинства таитян были, кроме настоящих, еще и приемные родители.

Это древний, типично полинезийский обычай, одна из целей которого - упрочить узы

дружбы с богатыми и знатными родами. Естественно, для недавних иммигрантов это было

особенно важно. Кстати, усыновление было необязательно: всех своих тетушек и дядюшек

дети называли «папа» и «мама», и отношения с ними основывались на тех же правах и

обязанностях.

Отряд родителей и прочих родственников не мог допустить, что новый зять окажется

настолько скупым и невоспитанным, что оставит их без свадебного подарка. Смеясь и

обмениваясь шутками, они проводили его до ближайшей лавки, причем расстояние -

восемь километров - их ничуть не смущало, они были люди тренированные и привычные

к дальним переходам.

Китайский лавочник в Таравао держал ресторанчик (кстати, в наши дни почти на том

же месте стоит ресторан его сына), и Гоген понял, что было бы в высшей степени

невежливо не ответите на оказанное ему гостеприимство и не пригласить свою новую

родню на роскошный свадебный обед. В итоге, когда он наконец сел с Теха'аманой в

дилижанс и покатил по рытвинам в Матаиеа, его бумажник совсем отощал.

«Последовала неделя, во время которой я был юн, как никогда, - признается Гоген. - Я

был влюблен и говорил ей об этом, и она улыбалась мне». Это открытое признание в

любви тем примечательнее, что Гоген не отличался сентиментальностью. Для него куда

типичнее другое, более позднее высказывание: «Чтобы принудить меня сказать «я тебя

люблю», надо взломать мне рот». И, однако, он, судя по всему, был искренен, заверяя, что

влюблен в Теха'аману. Это не так удивительно, как может показаться на первый взгляд,

если учесть, что она вполне отвечала его мечте о таитянской Еве. Поэтому Гоген с великой

неохотой и опаской отпустил Теха'аману, когда она, как и обещала своей рассудительной

матери номер два, через неделю поехала в Фа'аоне с докладом. Впрочем, Гоген тоже

придумал умный ход. Чтобы закрепить произведенное ранее доброе впечатление, он дал

Теха'амане немного денег и попросил купить в Таравао у китайца несколько бутылок рома

для ее многочисленных родителей. Но главную роль, несомненно, сыграл положительный

отзыв юной супруги, и через несколько дней с дилижанса, остановившегося под

огромными манговыми деревьями в нескольких стах метрах от хижины Гогена, сошла

Теха'амана.

Жизнь Гогена в корне изменилась. «Я снова начал работать, и мой дом стал обителью

счастья. По утрам, когда всходило солнце, мое жилье наполнялось ярким светом. Лицо

Теха'аманы сияло, словно золотое, озаряя все вокруг, и мы шли на речку и купались

вместе, просто и непринужденно, как в садах Эдема, *фенуа наве наве*. В ходе

повседневной жизни Теха' амана становилась все мягче и ласковее.

Таитянское *ноаноа* пропитало меня насквозь. Я не замечал, как текут часы и дни. Я больше

не различал добра и зла. Все было прекрасно, все было замечательно».

Бесспорно, Теха'амана была самой подходящей женщиной для Гогена. И не потому,

что она, по счастливой случайности, представляла собой какую-то особенную,

неповторимую личность, а потому, что в любом смысле была обычной, нормальной

полинезийкой. Подарков и денег не требовала, романтических чувств, комплиментов и

преклонения не домогалась. Простое деревенское воспитание научило ее, что у мужчины

и женщины разные интересы и разная работа. Она не вмешивалась в занятия Гогена и не

пыталась их понять, предоставляя ему без помех заниматься

живописью. То, что у него не

было строго определенных часов работы, Теха'аману не беспокоило - ей самой никто не

прививал методичности. Ее способность часами молча сидеть и грезить, когда не было

никакого дела, только радовала Гогена, который слишком хорошо помнил не в меру

разговорчивую Тити. Неизменно веселый, озорной нрав Теха'аманы очень благотворно

действовал на его душу. И с практической точки зрения она оказалась находкой: с первой

минуты Теха'амана, как настоящая хозяйка, принялась стряпать, стирать и мыть. Не

говоря уже о том, что она умела добыть пропитание: ловила рыбу и собирала плоды,

выменивала что-нибудь у соседей. Не последнюю роль играли ее физические прелести,

юное очарование и ничем не скованная чувственность. Показательны слова, которые Гоген

чаще всего употребляет, говоря о Теха'амане: *ноаноа* и *навенаве*. Первое означает

«благоухание» и содержит намек на *монои* - кокосовое масло с запахом лепестков

гардении, которым Теха'амана, как настоящие таитянки, регулярно натирала тело и

волосы. А слово *навенаве* по-таитянски - чувственное наслаждение, сладострастие. Гоген

был прав, иронически сравнивая полнокровную таитянку, которую встретил в реальном

мире, с чувствительной «дамой с камелиями», описанной Пьером Лоти. «Она ничуть не

похожа на миленькую Рараху, слушающую, как играет на гитаре миленький Пьер Лоти.

Она - Ева, которая пережила грехопадение, но все равно не стыдясь может ходить без

одежды, такая же чувственная и прекрасная, как в день творения».

В отличие от Жюльена Вио, который известен потомкам под именем Лоти, Гоген так

спешил забрать Теха'аману, что ее родители не успели, как того требует таитянский

обычай, дать ему по случаю женитьбы новое имя. Правда, Теха'амана (тоже сохранившая

свое старое имя) называла его не Пауро - таитянское

произношение имени Поль, - а, как и

все жители Матаиеа, Коке. Так таитяне выговаривают трудное французское слово «Гоген».

Кстати, никакое другое имя не подошло бы новой жене Гогена - или его вахине, как

говорят таитяне, - лучше того, которое она носила до сих пор. Оно было составлено из

определенного артикля те, каузативной частицы ха'а и существительного *мана*,

означающего «сила, мощь». Вместе получается «дающий силу»; это имя часто встречается

в религиозных и мифологических контекстах. Бесспорно, Теха'амана - Гоген это сам

признавал с благодарностью - даровала ему жизнерадостность и вдохновение. И, что не

менее важно и ценно, она помогла ему лучше узнать быт и нравы его таитянских соседей.

Свежий и более глубокий интерес к окружающему миру привел к тому, что Гоген опять,

как и в первые месяцы жизни в Матаиеа, писал только бесхитростные сцены из

повседневного быта. Из-под его кисти выходили блестящие картины, и по многим из них

ясно видно, как он переносил свою любовь с Теха'аманы на весь таитянский народ,

одинаково идеализируя их. Гордо и в то же время осторожно он писал: «Я вполне доволен

своими последними работами. Чувствую, что начинаю постигать полинезийский характер,

и могу заверить, что никто до меня не делал ничего похожего, и во Франции ничего

подобного не знают. Надеюсь, эта новизна будет моим преимуществом. Таити не лишен

очарования, и пусть женщины не красавицы в буквальном смысле слова, у них есть свое

обаяние, есть что-то бесконечно таинственное»**88**.

Самая прекрасная картина, созданная Гогеном в эти счастливые медовые месяцы,

изображает, естественно, Теха'аману, причем она его непосредственно вдохновила. Я

подразумеваю знаменитую «Манао тупапау» - единственное по-настоящему значительное

произведение Гогена, которое еще принадлежит частному лицу (а именно - одному из

членов династии американских фабрикантов автопокрышек Гудьир). Вот как сам Гоген

описывает историю этого полотна: «Мне пришлось поехать в Папеэте. Я обещал

вернуться вечером. На полпути дилижанс поломался, и дальше я добирался пешком.

Домой поспел только в час ночи. Как нарочно, в доме оставалось совсем мало светильного

масла, я как раз собрался купить еще. Лампа погасла, и, когда я вошел, в комнате царил

мрак. Я насторожился и был сам не свой от тревоги - неужели птичка улетела?»

Но, чиркнув спичкой, он тотчас увидел Теха'аману. Голая, оцепеневшая от страха, она

лежала ничком на кровати. Гоген, как мог, постарался ее успокоить и утешить, и настолько

в этом преуспел, что она отчитала его, как истая таитянка:

- Никогда больше не оставляй меня без света. И что ты там делал в городе? Конечно,

проводил время с женщинами, которые ходят на базар, чтобы петь и танцевать, а потом

отдаются офицерам, или морякам, или еще кому-нибудь!

На это Гоген ничего не ответил, а просто ласково ее обнял.

Впрочем, картиной он был доволен не столько из сентиментальных соображений,

сколько потому, что считал ее на редкость удавшейся. Об этом говорит разбор, который

вскоре появился в его записной книжке: «Юная туземная девушка лежит плашмя на

животе. Ее испуганное лицо видно только отчасти. Она покоится на ложе, закрытом синей

набедренной повязкой и хромово-желтой материей. На красно-фиолетовом фоне

разбросаны цветы, словно электрические искры, и возле кровати стоит странная фигура.

Какое-то сочетание линий привлекает меня, и я пишу эту сцену, причем у меня

задумана просто обнаженная фигура. Сейчас она не совсем прилична, а мне хочется

создать целомудренную вещь и воплотить психологию туземцев, их национальный

характер.

Набедренная повязка играет очень важную роль в жизни полинезийки, и я превращаю

ее в нижнюю простыню. Лубяная материя пусть остается желтой. Во-первых, этот цвет

неожидан для зрителя; во-вторых, он создает иллюзию, будто сцена освещена лампой, и не

нужно придумывать световые блики. Фон должен пугать, для этого лучше всего подходит

фиолетовый цвет. Музыкальная композиция картины завершена.

Что может быть на уме у молодой туземки, которая лежит на кровати в такой смелой

позе? Вот один ответ: она готовится к акту любви. Это толкование вполне отвечает ее

нраву, но мысль непристойная, она мне не нравится. Если считать, что она спит, значит,

акт уже состоялся, - опять-таки не совсем прилично. Остается только одно настроение -

она боится. Но какого рода страх ею владеет? Во всяком случае, не тот, который испытала

Сусанна, застигнутая врасплох старцами. В Южных морях не знают такого страха.

Нет, конечно, речь идет о страхе перед *tynanay* (дух покойника). Туземцы очень

боятся привидений и на ночь всегда оставляют зажженной лампу. В безлунную ночь они

не выйдут из дому без фонаря, да и с фонарем никто не отважится выйти в одиночку.

Напав на мысль о *tynanay*, я сосредоточиваюсь на ней, делаю ее главным мотивом.

Обнаженная фигура приобретает второстепенное значение.

Как туземная женщина представляет себе привидение? Она никогда не была в театре,

не читала романов. Поэтому, когда она пытается представить себе привидение, она думает

об умершем человеке, которого знала. Значит, мой призрак должен быть похож на

обыкновенную старушку, протянувшую руки как бы для того, чтобы схватить добычу.

Склонность к декоративному побуждает меня разбросать на фоне цветы. Цветы

тоже *tynanay*, то есть блуждающие огоньки; они показывают, что привидения

интересуются нами, людьми. Таково таитянское поверье.

Название «Манао тупапау» («Мысль, или Вера и привидение») можно толковать

двояко. Либо она думает о привидении, либо привидение думает о ней.

Подведу итог. Музыкальная композиция: волнистые линии, оранжево-синий аккорд, с

переходами в дополнительные цвета желтый и фиолетовый, и подсвеченный зеленоватыми

искрами. Литературная тема: душа живой женщины сообщается с душами мертвых.

Противоположности - день и ночь.

Я записал историю создания этой картины, памятуя о тех, кому непременно надо

знать - как и почему.

А вообще это просто обнаженная натура из Полинезии».

Говоря о суеверии таитян, об их искренней вере в привидения и духов, Гоген в целом

совершенно прав. И все-таки, пусть даже меня обвинят в мелочной придирчивости, я

должен по двум пунктам поспорить с ним. Во-первых, ни один таитянин не представит

себе *tynanay* в виде безобидной, наделенной вполне человеческими чертами старушки в

чепце. Они по горькому опыту знают, что у всех призраков мертвенно-бледная кожа,

огромные светящиеся глаза и длинные, острые клыки, торчащие из-под верхней губы. Во-

вторых, у названия «Манао тупапау» нет того двойного смысла, о котором пишет Гоген.

Строго говоря, это два корня без каких-либо соединительных частиц, придающих им

новое значение. Для таитян это сочетание так же бессмысленно, как для нас его

буквальный перевод: «Мысль-призрак». Правда, чуть ли не все таитянские названия

картин Гогена представляют собой упрощенные конструкции, притом с

орфографическими ошибками, но в большинстве случаев можно понять, что он

подразумевал. Если же многие переводы этих названий, утвердившиеся в Европе, ни на

что не похожи, то тут Гоген вовсе не виноват.

Как ни влюблен был Гоген в Теха'аману, это не повлияло на его чувства к Метте и на

планы возобновить с ней и детьми семейную жизнь. Именно потому, что эти две женщины

во всем были так не похожи друг на друга, Гоген искренне считал, что его отношения с

одной из них ничего не отнимают у другой. Решающую роль играло то, что любовь Гогена

к Теха'амане была, так сказать, «этнологической». Другими словами, она не могла бы

жить в другой стране, в другой культурной среде. Гоген и не помышлял о том, чтобы

навсегда остаться на Таити, ибо то, что было для него важнее всех личных чувств, а

именно его карьера Художника, требовало его возвращения в Европу. Поэтому связь, с

Теха'аманой в конечном счете представляла собой лишь приятный эпизод в его жизни.

Объяснить как следует все в письме было бы трудно, и Гоген очень разумно предпочел не

сообщать Метте о существовании Теха'аманы. Что до самой Теха'аманы, то ей и вовсе

было бы смешно его ревновать. И все-таки, когда она спросила, что это за блондинка с

короткими волосами изображена на фотографии, висящей на стене, Гоген из осторожности

ответил, что это его покойная супруга.

Видно, неспроста Гоген записал на языке оригинала популярную таитянскую песню

«Овири» («Дикарь»), слова которой несомненно отражают раздвоение чувств, царившее в

его душе**89**.

Соло

В эту ночь, роковую звездную ночь,
Мое сердце принадлежит двум женщинам,
И обе тяжело вздыхают.
Мое сердце поет с флейтой в лад.

Хор

Что он задумал?
Играть буйную танцевальную музыку?
Что он задумал?
В голове его буйные мысли...

Соло

Мое сердце принадлежит двум женщинам,
И обе теперь замолкли.
Мое сердце поет с флейтой в лад,
Звучащей то близко, то совсем далеко.
Я думаю о ясных лунных ночах,

Когда лучи скользят сквозь листву,
И обе они здесь, в моем сердце.
Мое сердце поет с флейтой в лад,
Звучащей то близко, то совсем далеко.
Я уходил далеко в океан
И поверял свою тайну изумленному морю,
Оно ревет вокруг острова,
Но не дает мне ответа.
Теперь они далеко-далеко, эти две женщины,
Мое сердце поет с флейтой в лад.
Хор (повторяет припев).

Кстати, как раз в это время благодаря счастливым обстоятельствам Метте и Поль

Гоген стали ближе друг к другу и приблизились к своей общей цели. Главная заслуга в

этом принадлежала двум датским художникам - Теодору Филипсену и Юхану Роде. По их

почину Гогена пригласили участвовать в большой выставке современного искусства в

Копенгагене, намеченной на весну 1893 года, причем для него и Ван Гога отводился целый

зал**90**. Если он выедет с Таити до конца года, то попадет в Копенгаген как раз вовремя, чтобы следить за размещением своих картин. По сравнению с Парижем Копенгаген,

конечно, глухое захолустье, и все же Гогену было лестно взять реванш на родине жены и в

присутствии ее родни за все унижения, перенесенные восемь лет назад. Независимо от

того, что скажет критика, быть представленным так широко в такой крупной выставке -

немалая честь и бесспорная победа. К тому же из последнего письма Метте вытекало, что

в Дании не только Роде и Филипсен начинают ценить его живопись. Так, ей удалось

получить полторы тысячи крон за несколько старых бретонских картин, которые она в

начале года захватила из Парижа. И хотя она не послала ему денег, считая, что они ей

нужнее, чем ему, Гоген ликовал: «Наконец-то мы начинаем пожинать плоды. Видишь, еще

есть надежда. Может быть, ты помнишь, что я тебе говорил (один покупатель ведет за

собой другого). С любой точки зрения я доволен тем, чего ты достигла с моими

полотнами. Во-первых, это облегчило твое бремя, и тебе обеспечен летний отдых. Во-

вторых, это придало тебе уверенности. Проклятая живопись! Сколько раз ты ее

проклинала - не как искусство, а как профессию»**91**.

Истинное отношение Гогена к своему таитянскому «браку» ясно видно из того, что он

без малейших угрызений совести уже через три месяца после знакомства с Теха'аманой

был готов бросить ее, чтобы до отъезда на родину побывать на Маркизских островах и

достойно завершить свое путешествие в Южные моря полотнами, выполненными там, где

туземцы в самом деле жили по старинке. А к Метте он обращался очень ласково: «Я изо

всех сил стараюсь раздобыть тысячу франков. Если это получится, поеду на маленький

маркизский остров Доминика, где живет всего три европейца и островитяне не так

испорчены европейской цивилизацией. Здесь жизнь обходится дорого, я подрываю свое

здоровье тем, что недоедаю. На Маркизских островах с едой будет легче, там бык стоит

три франка или усилий, потраченных на охоту. И я буду работать. Ты спрашиваешь, когда я

приеду? Я мечтаю увидеть всех вас и отдохнуть немного, но надо быть рассудительным.

Нельзя подходить к такому путешествию легкомысленно, это не экскурсия. Я должен

организовать его основательно, чтобы потом не пришлось ехать снова. После этого моей

бродячей жизни настанет конец. Прояви ко мне еще немного доверия, дорогая Метте, это

нужно нам всем».

Но тысяча франков были большие деньги, а в начале сентября 1892 года, когда Гоген

писал эти строки, он опять сидел без гроша. В это же время у него кончились холсты.

Однако на этот раз он не был склонен падать духом. В сундуке у него хранилось больше

пятидесяти картин, с Таити он, можно сказать, покончил. «Я смотрю, обдумываю и

немного отдыхаю, что мне совсем не вредно, - писал он де Монфреду - Деятельным людям

вроде меня полезно иногда бездельничать»**92**.

Впрочем, как всегда, вынужденный отдых вскоре начал действовать ему на нервы. К

счастью, у него оставались его резцы, а в горных ущельях в изобилии

росли *таману*, *тоу* и *миро* - высокие деревья с темной и полосатой или розовой

древесиной. Так же мастерски, уверенно, как он писал маслом и акварелью, делал

гравюры и литографии, лепил из глины и обрабатывал мрамор, Гоген превращал одну

деревянную заготовку за другой в устрашающих таитянских идолов. Во всяком случае, так

их обычно именуют. Сам Гоген предпочитал трудно переводимое название bibelots

sauvages, и это гораздо вернее, так как речь шла о чистой выдумке, никак не связанной с

исконным таитянским искусством.

Он вырезал также чрезвычайно реалистичную маску Теха'-аманы**93**. А на обороте

повторил свою излюбленную тему, изобразив нагую Еву в той же позе, что на картине и

витраже. И это только естественно, ведь благодаря Теха'амане осуществилась его мечта.

Как ни странно, Гогену удалось продать некоторые свои деревянные скульптуры в

Папеэте. Этот неожиданный успех вовсе не означает, что в городе вдруг открыли, какой

замечательный художник гостит на острове. Если скупщики, отвергавшие картины Гогена,

теперь взяли у него несколько статуэток, то, скорее всего, лишь потому, что относили эти

изделия к пресловутому разряду «сувениров». А сувениры,

будь то новые или старые,

настоящие или поддельные, всегда пользовались спросом. Не трудно понять и то, почему

Гоген не смог продать больше. Его творения были слишком тонки, чтобы нравиться

подавляющему большинству охотников за сувенирами, неизменно предпочитающих самые

безобразные подделки.

Занявшись резьбой по дереву, Гоген работал уже не так напряженно, и у него

появилось больше времени помогать Теха'амане добывать пищу. Это было очень кстати,

так как в октябре начинается глубоководный лов рыбы - традиционно мужское занятие.

Рассказ Гогена о первой рыболовецкой экспедиции, в которой он участвовал, изобилует

меткими наблюдениями, и изложены они очень ярко; недаром это написано художником.

Да и в других отношениях очерк весьма интересен.

«Уже около двух недель, как прибавилось мух, которых до тех пор почти не было

видно, и они начали сильно докучать. Маори только радовались, ведь это признак того, что

скоро к берегу подойдут бониты и тунцы. И они начали проверять прочность своих сетей

и крючков. Женщины и дети помогали тянуть сети, а вернее, длинные гирлянды

пальмовых листьев, вдоль берега и через кораллы, которые выстилают дно между берегом

и рифом. Так они ловят мелкую рыбешку, которую очень любят тунцы.

И вот однажды мужчины спустили на воду двойную лодку с длинным удилищем на

носу, которое можно быстро поднять двумя веревками, привязанными на корме. Это

приспособление позволяет сразу вытащить рыбу, как только клюнет. Через проход в рифе

мы вышли далеко в море. Нас проводила взглядом черепаха. Добрались до очень

глубокого места, его называют тунцовой ямой, потому что здесь, недосягаемые для акул,

ночью спят тунцы. Туча морских птиц высматривала тунцов, и стоило какой-нибудь рыбе

подняться к поверхности, как они бросались на нее и

взмывали кверху с куском мяса в
клюве. Нас окружала настоящая кровавая баня...
Кормчий велел одному из людей забросить крючок. Время шло - никакого клева.
Назначили другого человека. На этот раз клюнула отличная рыба, удилище изогнулось.
Четыре сильные руки подтянули веревку, которой крепилось удилище, и тунец стал
приближаться к поверхности. В этот миг на добычу бросилась акула. Несколько быстрых
движений челюстями, и нам от тунца осталась одна голова. Лов начинался неудачно.
Пришла моя очередь сделать попытку, и вскоре мы вытащили крупного тунца.
Нескольких сильных ударов палкой по голове было достаточно, чтобы блестящее,
отливающее радугой туловище забилось в предсмертных судорогах. Снова забросили -
опять успех. Никакого сомнения: этому французу сопутствует удача. Они закричали, что я
молодец. Я с гордостью слушал похвалу и не возражал им.
Лов длился до вечера, и солнце уже окрасило небо в багровый цвет, когда у нас
кончился запас наживки. Мы приготовились возвращаться. Десять отличных тунцов
сделали нашу лодку довольно тяжелой. Пока остальные собирали снасть, я спросил
одного юношу, почему все так смеялись и перешептывались, когда из моря тянули моих
двух тунцов. Он не хотел отвечать, но, зная, что маори всегда уступит, если нажать, я
настаивал. Тогда он сказал мне, что когда крючок зацепляет рыбу за нижнюю челюсть, это
значит, что ловцу, пока он ходил в море, изменила его вахина. Я недоверчиво улыбнулся.
Мы вернулись. В тропиках ночь наступает быстро. Двадцать две сильные руки
дружно окунали в воду свои весла, подчиняясь ритму, который задавали крики.
Ночесветки мерцали в кильватере, будто снег, у меня было такое чувство, словно мы
участвовали в буйной гонке, и единственные зрители - загадочные обитатели глубин и
косяки любопытной рыбы, которая шла за нами, время от

времени выскакивая из воды.

Через два часа мы подошли к проходу в рифе, где особенно сильный прибой. Здесь

опасно из-за подводного порога, и надо идти прямо на прибой. Туземцы искусно водят

лодку, и все же я не без страха следил за маневром. Все обошлось хорошо. Берег впереди

освещался движущимися огнями, там горели огромные факелы из сухих пальмовых

листьев. В свете этого пламени, которое озаряло и берег и море, ждали наши семьи. Кто

сидел неподвижно, кто - главным образом дети - бегал, прыгал и неутомимо визжал.

Мощный заключительный бросок - и лодка с ходу выскочила на пляж.

Добычу разложили на песке. Кормчий разделил ее поровну по числу участников лова,

не делая различий между мужчинами, женщинами и детьми, между теми, кто выходил в

море, и теми, кто ловил рыбешек для наживки. Получилось тридцать семь частей.

Моя вахина немедля веяла топор, наколола дров и разожгла костер. Тем временем я

привел себя в порядок и оделся для защиты от ночного холодка. Моя рыба изжарилась. А

она съела свою сырой. После тысячи вопросов о том, как прошел лов, настала пора идти

домой и ложиться спать. Я горел нетерпением задать ей один вопрос. Стоит ли? Наконец

сказал:

- Ты хорошо себя вела?

- Да.

- А у тебя сегодня был хороший любовник?

- Не было у меня никакого любовника.

- Ты лжешь. Рыба выдала тебя.

На ее лице появилось выражение, какого я еще никогда не видел. Словно она

молилась... Наконец она покорно подошла ко мне и со слезами на глазах сказала:

- Побей меня, побей сильно.

Но ее покорное лицо и чудесное тело напомнили мне безупречную статую, и я

почувствовал, что меня поразит вечное проклятие, если я подниму руку на такой шедевр

творения. Она была для меня прелестным золотым цветком, исполненным благоухающего

таитянского *ноаноа*, я боготворил ее как художник и как мужчина.

- Побей! Не то ты долго будешь сердиться на меня, и гнев сделает тебя больным.

Вместо этого я ее обнял.

Тропическую ночь сменило сияющее утро. Теща принесла нам свежих кокосовых

орехов. Она лукаво посмотрела на Те-ха'аману. Теща знала тайну. Она ехидно сказала:

- Ты вчера ходил ловить рыбу. Все было хорошо?

Я ответил:

- Надеюсь скоро опять пойти на лов».

И тунец и Гоген сказали правду. Во-первых, среди таитян глубоко укоренилось

сохранившееся до наших дней суеверие, которое зародилось еще в давние времена: перед

выходом на лов рыбы и во время лова от всех мужчин и женщин требовалось строгое

воздержание**94**. Во-вторых, все в Матаиеа знали, что у Теха'аманы много любовников, и она

встречалась с ними в пальмовой роще днем, когда Гоген думал, что она добывает пищу

или болтает с подругами**95**. И еще одна деталь в рассказе Гогена говорит о том, что

медовому месяцу пришел конец. Я подразумеваю присутствие в хижине его тещи. Если не

двух тещ: на Таити родители жены охотно вселяются в дом богатого зятя.

Словом, Гоген уже убедился, что брак с настоящей таитянкой - не одно сплошное

удовольствие. Тем не менее он воздал должное Теха'амане, отметив, что она очень

спокойно и кротко восприняла наступившую вскоре беременность. Да и зачем ей было

огорчаться так, как огорчалась, скажем, бедняжка Жюльетта в Париже? Гоген ничуть не

кривил душой и не занимался циничным самообманом, когда писал, что «здесь ребенку

всегда рады, и часто родственники заранее выговаривают его себе. Больше того, они

соревнуются за право быть приемными родителями, так как на Таити ребенок - самый

лучший подарок. Вот почему я не беспокоюсь за будущее этого ребенка»**96**. 185.htm .03

Законный или незаконный - здесь роли не играет; бедные таитяне настолько отстали в

своем развитии, что не понимают разницы. С другой стороны, если молодая

любительница развлечений решит, что беременность слишком долго помешает ей

участвовать в веселых играх сверстников, она может предпочесть аборт, и все - кроме

миссионеров и жандармов - будут считать это ее личным делом. Видимо, Теха'амана

избрала второе, потому что она так и не родила.

В начале ноября Гоген, как он и рассчитывал, получил ответ на свое заявление о

бесплатном проезде домой, которое направил в Академию художеств четыре с половиной

месяца назад. Но ответ был предварительный, потому что директор академии, верный

установленной процедуре, написал губернатору колонии, а тот, в свою очередь, как только

пришла почтовая шхуна, письменно пригласил Гогена прибыть в правительственную

контору в Папеэте. Одновременно произошло чудо, которого Гоген ждал шестнадцать

долгих месяцев. Он получил из Парижа немного денег за проданную картину. Но отправил

деньги не Морис и не кто-либо из двух торговцев картинами, представлявших Гогена, а

Даниель де Монфред. С помощью Аристида Майоля он уговорил богатого английского

коллекционера Арчибальда Эспола взять за триста франков картину бретонского цикла. На

эти деньги можно было совершить краткую экскурсию на Маркизские острова. Однако,

поразмыслив, Гоген решил отказаться от этого плана и, не откладывая, возвращаться во

Францию тем же путем, каким прибыл на Таити. Судно должно было выйти из Папеэте в

январе 1893 года.

Изменить свои планы его вынудило прежде всего плохое здоровье. «Я вдруг очень

сильно состарился», - с тревогой писал он своему другу Даниелю. Да и сердце опять

забарахлило. Хорошо еще, что сильное сердцебиение не влекло за собой кровоизлияния,

как было годом раньше. Сам Гоген винил во всем «безвкусную и скверную» туземную

пищу, которую он ел с тех пор, как Теха'амана взялась вести хозяйство. Он был не первым

и не последним французом, слепо верящим, что французская кухня не только

гастрономически, но и терапевтически превосходит все остальные, и страшно страдал на

Таити без бифштекса и жареного картофеля. Правда, ни он, ни кто-либо еще не мог

удовлетворительно объяснить, почему же таитяне, когда европейцы открыли остров, были

такими крепкими и здоровыми и обладали безупречными зубами, хотя ели

преимущественно корнеплоды, фрукты, овощи и рыбу, а стоило им перейти на

цивилизованную пищу, как они начали болеть и терять зубы. Вспомним также, что Гоген

целый год поневоле потреблял очень мало водки, вина, табака и кофе, да к тому же много

времени проводил на воздухе. Казалось бы, здоровье его должно было улучшиться, а не

ухудшиться. И если дело обстояло как раз наоборот, причина может быть только одна: ни

горчичники, ни банки, которыми его лечили в Папеэте год назад, не смогли избавить его от

поселившихся в крови бацилл.

Уверовав в свой диагноз, Гоген, вместо того чтобы на прибывшие так кстати деньги

посетить Маркизские острова, закупил побольше консервов и прочей цивилизованной

пищи; не менее важным был рулон мешковины из кокосового волокна лучшего качества

для картин, которые он давно задумал. До отъезда во Францию оставалось еще два месяца,

и он всецело сосредоточился на живописи и к губернатору отправился только в начале

декабря. А тот, вместо того чтобы незамедлительно вручить ему бесплатный билет и с

кислой улыбкой пожелать счастливого пути, принялся что-то долго и нудно объяснять.

Мало-помалу до бедняги Гогена дошло, что он заблуждался.

Министерство колоний в

самом деле, как и было ему сообщено месяц назад, просило губернатора устроить Гогену

бесплатный проезд. Но, заявил Лакаскад, просьба - не распоряжение. Поэтому все

зависело от наличия средств. Он основательно изучил вопрос и, к сожалению, убедился,

что колония никак не может изыскать средства, чтобы оплатить дорогу мсье Гогену.

Гоген не знал, что руководителем Академии художеств в Париже уже давно назначен

человек, относящийся к его живописи еще холоднее, чем прежний директор. Не желая без

толку расходовать государственные ассигнования, он решил снять с себя ответственность

за беспокойного подопечного и переслал ходатайство Гогена в министерство колоний. Там

поступили точно так же. Другими словами, ходатайство отправили на Таити**97**. Вообще-то

губернатор при желании вполне мог наскрести столь незначительную сумму. Но Лакаскад

был отнюдь не благожелателен к Гогену, ведь тот после их стычки зло высмеял

губернатора в карикатурах, получивших широкую известность в Папеэте (илл. 26).

Пришлось Гогену переломить себя, подавить свой бессильный гнев и кротко просить

губернатора, чтобы тот послал ходатайство в обратный путь по бюрократическим каналам:

авось, второй раз директор Академии художеств смилуется.

Гоген мог утешиться лишь тем, что большинство французских поселенцев не меньше

его ненавидели губернатора Лакаскада и охотно слушали излияния негодующего

живописца. Такой поворот в общественном мнении был вызван изданным несколько

месяцев назад декретом, по которому все импортные товары облагались пошлиной.

Справедливо ли, нет ли, поселенцы считали это выдумкой самого Лакаскада. Он

мотивировал эту меру тем, что на Таити нет ни подоходного, ни имущественного налога, а

между тем расходы на администрацию, здравоохранение, полицию, портовые сооружения

и прочее достигают более полумиллиона франков в год и покрываются из бюджета

метрополии. Поселенцы возмущенно отвечали, что они уже вносят по двадцать четыре

франка в год на ремонт дорог да почти столько в виде разных гербовых сборов, - значит,

можно было обойтись без новой пошлины, лучше бы министерство сократило расходы на

колонию другим способом: отправило бы обратно во Францию всех ненужных

чиновников. Почему бы не начать с самого Лакаскада? Приводимая ниже передовая одной

из газет Папеэте позволяет судить, каким нападкам подвергался губернатор:

«Когда бог в библейские времена задумал покарать свой избранный народ, он

обрушил на него несчастья, которые мы обычно называем десятью египетскими казнями.

Уж не ту ли самую цель преследовало министерство колоний, посылая на нашу голову

мсье Лакаскада и его alter ego, мсье Орса, которые на днях столь явно проявили свою

бездеятельность и сделали попросту скандальные заявления?

Поскольку родина, очевидно, решила покарать нас, оставляя на своих постах

чиновников, которые всем опостылели, возникает вопрос - в чем мы провинились?

Наше терпение истощается, мы достаточно настрадались. Очень остроумно заметил

один из наших друзей: пальмовый жук, гусеницы, тараканы, осы, крысы, мыши,

наводнения, цунами, ураганы и циклоны - эти бедствия посещают нас не каждый год,

тогда как *дурное управление* - беда повседневная, которая грозит разорить колонию и в

конечном счете совсем уморить нас несчастных»**98**.

Наверно, Гогену доставляли истинное наслаждение эти желчные нападки на

Лакаскада, но ведь в конечном счете из-за них губернатор решительно отказывался ему

помочь. Осажденный со всех сторон врагами, Лакаскад не смел давать новые поводы для

критики. А оплатить дорогу субъекту, которого поселенцы считали никудышным мазилой,

- разве это не пример расточительного обращения с общественными средствами?

Из трехсот франков, полученных Гогеном месяц назад, у него оставалось полтораста.

На такие деньги прокормиться и то проблема, ведь ему еще ждать на Таити четыре-пять

месяцев. И уж совсем плохо будет, если на повторное ходатайство придет отказ. В

отчаянии Гоген написал тревожное письмо Полю Серюзье. заклиная того проследить,

чтобы за него замолвили словечко в Академии художеств. Будь Шарль Морис потолковее,

Гоген, конечно, предпочел бы помощь сего опытного посредника. Но Морис доказал, что

на него нельзя положиться: его первое за полтора года письмо было наполнено жалобами

на долгое молчание Гогена! Понимая, что и Серюзье вряд ли по плечу такая задача, Гоген

одновременно написал Шуффене-керу, прося взаймы нужную сумму, чтобы в крайнем

случае самому купить билет, и обязуясь вернуть долг с двадцатипроцентной рентой. И

наконец, он послал письмо своим представителям Жоаяну и Портье, запросив более

полный отчет о том, что продано за истекший год; письмо нерадивого и забывчивого

Мориса его не удовлетворило. Вдруг окажется, что у них есть для него немного денег?

Самым печальным следствием вынужденной задержки на Таити было то, что теперь

он никак не мог поспеть вовремя на столь нужную для него выставку в Копенгагене.

Конечно, можно послать картины почтой, но это обойдется дорого, и не известно, в каком

состоянии они прибудут. Верный друг лейтенант Жено выручил Гогена, убедив офицера

по имени Одойе, который отслужил свой срок в колонии и теперь возвращался во

Францию, взять с собой несколько полотен**99**. Конечно, Гоген был вынужден сильно

ограничить свой выбор, зато мы благодаря этому знаем, какие из законченных им

пятидесяти картин он сам считал наиболее удавшимися и достойными. Вот эти восемь

полотен (в скобках указан нынешний владелец):

Парау Парау (Дж. Уитни, Нью-Йорк).

Эаха ое феии (Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Москва).

Манао тупапау (Картинная галерея Олбрайт, Буффало, США).

Парахи те марае (Р. Мейер де Шонсе, Девон, США).

Те фаатурума (Музей искусств, Ворчестер, США. см. выше).

Те раау рахи (Институт искусств, Чикаго).

И раро те овири (Институт искусств, Миннеаполис. см. ниже).

Те фаре маорие (М. Ронигер, Швейцария).

Какие из них Гоген ставил выше, какие ниже, видно из цен, которые он назначил. Нет

ничего удивительного в том, что «Манао тупапау» он оценил вдвое дороже остальных

полотен (две тысячи франков). Дальше следовали «Эаха ое феии» (восемьсот франков) и

«Парахи те марае» (семьсот франков). За каждую из остальных он запросил всего лишь

шестьсот франков.

Как и в начале 1892 года, когда он тоже страдал от несправедливости окружающего

общества, Гоген в эту трудную пору томительного ожидания обратился к прошлому. Он

написал новый цикл картин на мотивы древней таитянской религии и мифологии.

Источниками вдохновения для него по-прежнему оставались Бови и Муренхут. Впрочем,

книгу последнего он, наверно, уже вернул владельцу и, скорее всего, довольствовался

выписками наиболее интересных мест, которые собрал в одной тетради и озаглавил

„Ancien culte mahorie” (Гоген по-разному писал слово «маори», но здесь оно искажено

особенно сильно). Из таитянской мифологии на этот раз его больше всего привлекла

легенда о богине луны Хине. В полинезийском пантеоне это единственное женское

божество, поэтому ей пришлось стать матерью чуть ли не всех остальных богов. А так как

полинезийцы не видят существенной разницы между богами и людьми, она числилась

также праматерью человечества. Зато жители разных архипелагов никак не могли

договориться, кого считать верховным богом и праотцем.

Таитяне единственные изо всех

возложили эту важную роль на Та'ароа. Из всех повествований Муренхута о таитянских

божествах краткий рассказ о Хине едва ли не самый путаный и неполный. Главную часть

рассказа составляет отрывок из апокрифической легенды, как богиня луны Хина тщетно

пытается уговорить своего сына Фату даровать людям вечную жизнь**100**.

Но Гогена эти недостатки не очень беспокоили, ведь он искал лишь изобразительный

символ для земного рая, каким ему рисовался доевропейский Таити. Ни у Муренхута, ни у

Бови, ни в каких-либо других книгах не было портретов Хины по той простой причине,

что таитяне - в отличие, скажем, от греков - никогда не делали реалистичных,

индивидуализированных изображений своих богов. Поэтому Гоген должен был всецело

положиться на свое собственное великолепное воображение, создавая серию картин, на

которых таитяне среди дышащего миром аркадского ландшафта пели, играли на флейтах и

танцевали вокруг могучей каменной статуи Хины. Возможно, толчком послужили

несколько строк об огромных изваяниях острова Пасхи, выписанные им из книги

Муренхута. Впрочем, если уж искать прообраз исполинского истукана, которого мы видим

на картинах «Хина маруру», «Матамуа» и других, мы должны перенестись в другое

полушарие, в Египет. Гогенова Хина больше всего напоминает фараона на троне или

индуистского Шиву.

Как смело и уверенно Гоген заимствовал, преображал и сплавлял воедино самые

различные элементы, особенно ясно видно по другой картине этой поры, тоже с

мифологическим мотивом, - малоизвестной «Папе мое» (хранится в коллекции Бюрле в

Цюрихе). Сам Гоген переводит это название как «Таинственный источник» - вероятно,

намекая на известный таитянский и полинезийский миф о магическом источнике (точнее:

потоке света) бога Тане, который, в частности, дает новую жизнь Хине, так что она, то

есть луна, возрождается каждый месяц. На картине таитянский юноша (или девушка?) в

окружении чарующей природы утоляет жажду из водопада (илл. 30). Сценка овеяна

таинственным ореолом, который и впрямь оправдывает название. Но в этом случае легко

доказать, что Гоген в точности воспроизвел фотографию (илл. 29). снятую поселившимся

в Папеэте эльзасцем Шарлем Шпицем. Кстати, Шпиц был очень искусный фотограф, он

даже получил медаль за пейзажи, украшавшие таитянский отдел Всемирной выставки

1889 года в Париже**101**.

Даже в самом реалистическом произведении Гогена этой поры, прощальном портрете

Теха'аманы, датированном 1893 годом (илл. 28), есть много мифологических и

этнологических черточек. В награду за то, что она так часто и так терпеливо позировала

ему в самых неожиданных положениях и нарядах, на этот раз ей было разрешено

позировать так, как это нравится большинству таитянок: в своем лучшем выходном

платье, сидя, прямая спина, каменный взгляд. Зато на фоне Гоген изобразил не только

оригинальный орнамент - знаки пасхальской письменности (их он, наверно, видел в музее

католической миссии в Папеэте, где экспонировалось много образцов), но и

фантастические головы собственного изобретения и стилизованную в индийском духе

фигуру женщины. Пожалуй, единственный таитянский предмет - веер, который

Теха'амана держит в руке и который, очевидно, выражает благодарность Гогена, ибо в

старину такой веер был первым атрибутом и символом настоящей красавицы. Таитянское

название картины - «Мерахи метуа но Теха'амана» (его легко можно прочесть в нижнем

левом углу) - породило больше разнотолков и неверных толкований, чем большинство

других гогеновских названий, а это не пустяк! Изо всех

переводов самый близкий к истине

- «У Теха’аманы много предков», но и он ничего не объясняет. Можно уверенно сказать,

что правильный перевод: «У Теха’аманы много родителей». На первый взгляд он тоже

может показаться нелепым, однако, если вспомнить, как Гогену пришлось завоевывать

благосклонность двух тещ, когда он нашел Теха’аману, название обретает и смысл и юмор.

Разумеется, крайне соблазнительно с помощью этого полотна (все, знавшие

Теха’аману, утверждают, что портрет очень похож) попытаться определить, для каких еще

картин она позировала. Но результат будет неутешительным и ненадежным. И это вполне

естественно: ведь Гоген редко стремился к фотографической точности портрета;

исключение составляют только что названная картина и деревянная маска Теха’аманы,

которые во всем совпадают друг с другом. Сколько трудностей сулит игра в «угадайку»,

видно из такого факта: если подсчитать, на каких картинах различные авторы и

искусствоведы «узнавали» вахину Гогена, окажется, что в это число входят все женские

портреты, написанные им во время первой поездки на Таити.

Плоды земли и рыбная ловля помогли Гогену растянуть полтораста франков на два с

лишним месяца и завершить свой труд. К февралю 1893 года, когда кончилась купленная

им мешковина, он создал общим числом «шестьдесят шесть более или менее удавшихся

картин и несколько сверхдикарских деревянных скульптур», справедливо считая, что этого

«вполне достаточно для одного человека». Возвращение из мира образов в мир

действительности на этот раз было особенно болезненным. Из Парижа пришел отчет,

который он запрашивал, и выяснилось, что Жоаян еще в мае 1891 года, когда Гоген только

плыл на Таити, продал несколько его картин и что Морис от имени Гогена немедля забрал

всю выручку - 853 франка 25 сантимов. Очевидно, он их попросту прокутил.

Гоген справедливо назвал Мориса подлым лжецом и вором и в письме Даниелю

поклялся, что, вернувшись в Париж, не пощадит негодяя. Одновременно с отчетом он

получил печальное письмо от Метте. Хотя она сумела продать еще одну картину, ей все

виделось в черных красках. Свой ответ Гоген начал словами, которые вряд ли могли ее

ободрить: «А что тогда мне говорить?! Вот уже девять лет я живу, не видя семьи, без дома,

часто без еды. Последние два месяца приходилось как-то выкручиваться, чтобы не тратить

денег на еду. День за днем *маиоре* - безвкусные плоды, напоминающие хлеб, - и стакан

воды составляют весь мой стол. Не могу даже позволить себе выпить чашку чаю, сахар

слишком дорог. Я стоически выношу это, хотя здоровье подрывается, и зрение, которое

мне так необходимо, заметно слабеет. Если бы ты прислала деньги, вырученные за

последнюю картину, ты спасла бы мне жизнь»**102**. Впрочем, тут же он старался загладить

все грехи, в том числе явную ложь о своих якобы ужасающих страданиях, соглашаясь

принести жертву, которая несомненно должна была порадовать Метте. Вот как он излагал

свой неожиданный новый план:

«То, что я задумал, осуществить не просто, но возможно. В парижских школах есть

инспекторы по рисованию. Работы у них очень мало, а платят им хорошо, 10 тысяч в год.

Регане, тоже получивший официальную миссию, теперь - инспектор. Итак, я прошу

парижских друзей помочь мне получить такую должность. Пюви де Шаванн, член

Института (который назначает инспекторов), благожелателен ко мне. Возможно, тебе

напишут и попросят тебя зайти к сыну Пастера, он в хороших отношениях с Бонна.

Поддержка двух членов Института должна обеспечить тебе успех. Я не питаю иллюзий, но

надо попробовать, и я надеюсь, что ты сделаешь все зависящее от тебя. И, может быть,

тогда, моя дорогая Метте, мы снова будем вместе, ты, я и

дети, и наша старость будет

обеспечена. Конец неопределенности».

Вряд ли мы ошибемся, предположив, что Метте эти планы показались далеко не

такими обнадеживающими и реальными, какими они представлялись ее мужу. Он хоть и

утверждал обратное, по-прежнему слишком легко предавался иллюзиям.

Чтобы отвлечься от мрачных мыслей и скоротать месяц, оставшийся до отъезда, Гоген

стал заносить в тетрадь свои размышления, идеи и воспоминания. Сам он метко назвал

эти записки «случайными набросками, непоследовательными, как сны, пестрыми, как

жизнь». Много места, естественно, отводилось искусству. Вот его совет, который вернее

было бы назвать описанием собственного метода Гогена: «Не стремитесь доводить свое

творение до совершенства. Первое впечатление хрупко, итог лишь пострадает, если вы

станете упорно шлифовать частности. Вы только остудите бурлящую, кроваво-красную

лаву, превратите ее в мертвый камень. Без колебания выбрасывайте прочь такой камень,

хотя бы он казался рубином».

В других набросках он изложил свои взгляды на любовь и взаимоотношения полов.

Вот два типичных афоризма, явно воплотивших пережитое им на Таити:

«Женщины добиваются свободы. У них есть на это право. Но не мужчина мешает им

достичь этого. В тот день, когда они перестанут помещать свою добродетель ниже пупа,

они станут свободными. И, возможно, более здоровыми».

«В Европе мужчина и женщина спят вместе, потому что любят друг друга. В Южных

морях любят потому, что спали друг с другом. Кто прав?».

Еще более показательны для его собственного положения и характера следующие

рассуждения:

«Не плохой ли это расчет - всем жертвовать ради детей? Не ведет ли это к тому, что

нация жертвует тем, чего могли бы достичь наиболее одаренные и деятельные члены

общества? Человек приносит себя в жертву детям, они, став взрослыми, жертвуют собой

для своих детей. И так далее. В итоге все жертвуют собой. И помешательству не видно

конца».

«Кто всегда доверчив, страдает лишь, когда его доверие не оправдывается. Кто всегда

недоверчив, страдает постоянно из-за своего недоверия. Это же относится к

пессимистам».

Как бывший биржевой маклер и землекоп, Гоген, естественно, заинтересовался

крахом французской Панамской компании, о котором газеты Папеэте в марте 1893 года

писали очень подробно. Он даже изложил на бумаге свои несколько анархистские взгляды

на вопросы политики и экономики.

«Кстати о Панаме - какое несчастье! Сколько людей разорено и т. д.

Я не разделяю этого взгляда и считаю, что если бы скандал не случился, пришлось бы

устроить что-то в этом роде. Говорят, акционеры заслуживают сострадания. Конечно. Ну, а

бедные люди, которые тщетно ищут работы, разве они не заслуживают сострадания?

Большинство акционеров - прижимистые, чтобы не сказать - скаредные субъекты, или

же это представители обширной категории спекулянтов, которых меньше всего заботит

судьба тех, кто подвергает опасности свою жизнь, покидая родной дом и отправляясь в

дальние края, чтобы трудиться в нездоровом климате.

Министры, депутаты и финансисты - все они набили карманы нечестно нажитыми

деньгами. Но в то же время они пускали эти деньги в оборот, обеспечивая работу другим

людям. Можно ли быть уверенным, что деньги, вложенные акционерами, заработаны

честно?

Что ни говори, колеса вертелись, было сделано много заказов, выплачено много

вознаграждений, и там, за океаном, действительно начали строить канал. Все это славные

достижения. Что же до морали...

Чтобы мораль была в почете, лучше всего ликвидировать биржу и все спекуляции. Но

биржа и спекуляции - столпы, на которых зиждется наша современная финансовая

система. Так зачем же осуждать какого-то идиота, который истратил украденные деньги на

орденскую ленточку?»

«Мои политические взгляды? У меня их нет. Но ведь есть всеобщее избирательное

право, значит, у меня должны быть какие-то взгляды.

Я республиканец, потому что стою за социальный мир. Большинство жителей

Франции, без сомнения, республиканцы. Итак, я республиканец. Вообще, так мало людей

дорожат возвышенным и великим, что нам нужно демократическое правление.

Да здравствует демократия! Нет ничего лучше ее...

Но я ценю возвышенное, прекрасное, утонченное, мне по душе старинный девиз

«Noblesse oblige». Мне нравятся учтивость и даже куртуазность Луи XIV.

Выходит, я (инстинктивно, сам не зная почему) аристократ - поскольку я художник.

Искусство существует для меньшинства, значит, оно должно быть аристократичным.

Между прочим, аристократы - единственные, кто опекал искусство, под их эгидой были

созданы великие произведения. Что ими руководило - безотчетный ли порыв, долг или

тщеславие - роли не играет. Короли и папы обращались с художником почти как с равным.

Демократы, банкиры, министры и критики изображают опекунов, но никого не

опекают. Напротив, они торгуются, словно покупатели на рыбном рынке. А вы еще хотите,

чтобы художник был республиканцем!

Вот и все мои политические взгляды. Я считаю, что каждый член общества вправе

жить и рассчитывать на жизненный уровень, отвечающий его труду. Художник не может

прокормиться. Значит, общество организовано скверно, даже преступно.

Кто-нибудь возразит, что от произведений художника нет пользы. Рабочий, фабрикант

- любой, кто делает для общества что-то, имеющее денежную ценность, обогащает нацию.

Я пойду еще дальше и скажу, что только рабочий обогащает нацию. То ценное, что он

создал, остается и после его смерти. Чего никак нельзя сказать о меняле. Скажем, сто

франков обращаются в разную валюту. Усилиями менялы деньги переходят из рук в руки,

потом оседают в его кармане. Нация по-прежнему имеет сто франков, ни сантима больше.

Художник же сродни рабочему. Если он создал картину, которая стоит десять франков,

нация стала на десять франков богаче. А его называют бесполезным существом!

Бог мой, что за калькуляция!»

Эти исповеди Гогена не совсем верно назвали «Тетрадь для Алины», потому что на

первой странице он начертал посвящение дочери, гласящее: «Эти размышления - зеркало

моего «я». Она тоже дикарка, она поймет меня... Но будет ли ей толк от моих мыслей? Я

знаю, она любит и почитает своего отца... Как бы то ни было, у Алины, слава богу, есть

голова и сердце, достаточно возвышенные, чтобы ее не испугала и не испортила встреча с

демоническим мозгом, которым меня наделила природа». И все-таки вряд ли Гоген

собирался посылать дочери эту тетрадь, которую трудно назвать подходящим или вообще

понятным чтением для пятнадцатилетней девочки, получившей традиционное воспитание.

Неожиданное посвящение нужно, скорее, считать еще одним трогательным знаком того,

как сильно Гоген тосковал по семье.

Первая почтовая шхуна, с которой можно было ожидать ответа на повторное

ходатайство, пришла 5 марта, но она не привезла никаких известий. Зато он неожиданно

получил новый перевод на триста франков от Даниеля де Монфреда в уплату за картину

бретонского цикла, проданную все тому же английскому коллекционеру. Постоянное

крушение надежд притупляет восприятие человека, об этом говорит сдержанный ответ

Гогена: «Твои триста франков пришли очень кстати в такую минуту, когда я сижу без денег

и не могу ничего заработать».

Уже 21 марта, завершив плавание из Сан-Франциско в необычайно короткий срок -

двадцать один день, в гавани Папеэте бросила якорь следующая почтовая шхуна. Но и на

этот раз не было ответа ни от Академии художеств, ни от министерства колоний. Зато, как

и в начале месяца, скудная почта Гогена принесла ему приятный сюрприз: Метте прислала

целых семьсот франков из денег, которые в последнее время выручила за картины**103**. Одна

мысль омрачала радость Гогена: приди эти деньги чуть раньше, он совершил бы поездку

на Маркизские острова, которая - как он уверял Метте и Даниеля - была бы «чрезвычайно

полезной» и привела бы к созданию еще более удачных и интересных работ.

Вскоре власти объявили, что 1 мая в Нумеа выходит военный транспорт «Дюранс».

Это очень хорошо сочеталось со вторым, куда более разумным планом, владевшим

мыслями Гогена, - возможно скорее вернуться во Францию. Даже если со следующей

почтой придет отказ на его ходатайство, у него есть тысяча франков, на дорогу хватит.

Билет третьего класса с полагающейся ему скидкой стоил меньше половины этой суммы.

Снова Гоген, по его же меткому выражению, очутившись на краю бездны, был спасен в

последнюю секунду.

Но когда «Дюранс» 1 мая отчалил от пристани, Гогена не было среди пассажиров.

Объяснить это можно только тем, что он, все еще не получив ответа от Академии

художеств, рассудку вопреки, продолжал надеяться на бесплатный билет. Невольно

удивишься, как это он вдруг без всяких оснований изменил свои планы. Тем более что суда

в Нумеа ходили редко, а ждать еще два-три месяца - истратишь столько же, сколько

сэкономишь на билете (при условии, что ходатайство будет удовлетворено, в чем он не мог

быть уверен). Но если обратиться к местной прессе и мореходному регистру, выясняется,

что очень кстати уже через месяц с небольшим в Нумеа выходил еще один военный

корабль**104**. Теперь поступок Гогена представляется более понятным и менее рискованным.

Речь шла о крейсере «Дюшаффо», который должен был зайти на Таити по пути из Сан-

Франциско в Нумеа. Гоген не сомневался, что, как это делали все военные суда,

«Дюшаффо» возьмет гражданских пассажиров, ведь другого сообщения между

французскими владениями в Тихом океане не было.

Чтобы быть поближе к почтамту и колониальной администрации, Гоген снял в том же

районе, где жили его друзья лейтенант Жено, Дролле и Сюха, домик, который с небольшой

натяжкой можно было назвать меблированным, и переехал вместе с Теха'аманой в

Папеэте. Мысль сдавать меблированные дома совсем недавно пришла в голову одной

предприимчивой особе, мадам Шербонье. История появления мадам Шербонье на острове

не совсем обычна. В шестидесятых годах, когда она была еще очень молода, парижская

полиция нравов арестовала ее на улице, пользовавшейся дурной славой. Вместе с другими

своими незадачливыми сестрами она была сослана для «перевоспитания» в

исправительную колонию в Новой Каледонии; там была каторга и постоянно не хватало

женщин. По пути в колонию она смекнула, что гораздо лучше «перевоспитаться» где-

нибудь в другом месте, и ухитрилась остаться на Таити. Перемена обстановки в сочетании

с присущей мадам Шербонье энергией и предприимчивостью произвела замечательный

эффект, и вскоре она уже стала владелицей ценного участка земли в Папеэте. Здесь она

выстроила пять двухкомнатных домиков с верандой, которые и сдавала преимущественно

правительственным чиновникам и офицерам, то есть людям с твердым доходом. Мало кто

знал о ее прошлом, и во времена Гогена она была известна

как весьма почтенная вдова,

всегда одетая в длинное черное платье с высоким белым воротником. Но психология ее,

видно, мало изменилась, потому что Гоген, к своему негодованию, однажды застал мадам

Шербонье, когда она через стеклянную дверь заглядывала в его спальню. Вооружившись

кистями, он живо замазал стекла, изобразив таитянок, животных и цветы; по чести говоря,

практическая ценность этого витража превосходит художественную**105**.

Гоген рассчитал правильно. Майская почтовая шхуна опередила крейсер и доставила

наконец предписание министерства колоний губернатору отправить домой

«нуждающегося живописца» за счет государства. Этот ответ задержался потому, что

нелюбезный директор Академии и на сей раз снял с себя ответственность, переслав, для

разнообразия, ходатайство в министерство внутренних дел, где был специальный отдел

репатриации. Почему-то министерство иностранных дел тоже привлекли к решению этого

пустякового вопроса. Словом, если учесть министерство просвещения, которому была

подчинена Академия, и министерство колоний, четыре министерства должны были

письменно извещать друг друга, что предпринято и что не предпринято. И надо же было

случиться так, что, когда наконец эта огромная бюрократическая машина выдала

результат, бумага всего на несколько дней опоздала на шхуну, вышедшую из Сан-

Франциско 1 мая; для получателя это обернулось лишним месяцев томительного

ожидания.

В отличие от Академии художеств министерство внутренних дел не брало на себя

никаких обязательств перед Гогеном и не поручало ему официальных миссий. Поэтому

бесплатный проезд обеспечивался ему на тех же условиях, что и другим нуждающимся

гражданам, - в самом дешевом классе**106**. Но что понимать под самым дешевым классом на

военном корабле, каким был «Дюшаффо»? Вопрос щекотливый, а парижские

министерства не подсказали, как его решить. Служака Лакаскад пришел к такому выводу:

Гогена поместить в кубрике с матросами, в лучшем случае, с боцманами (как-никак, у него

была официальная миссия). Гоген возразил, что на «Вире» его разместили с офицерами, и

назвал толкование Лакаскада низкой местью.

Возможно, так оно и было. На это можно лишь сказать, что несчастный Лакаскад к

этому времени сам был основательно наказан актом мести, обращенным против него

самого. Майская шхуна привезла лаконичное письмо из министерства колоний о том, что

он переводится на остров Майотт в Индийском океане. Это было заметное понижение,

если учесть, что Майотт несравненно меньше Французской Полинезии. Печальный конец

долгого и славного правления Лакаскада на Таити был всецело результатом ожесточенной

кампании против него, которую развернули поселенцы и их влиятельные друзья в Париже

после того, как он ожесточил их новыми пошлинами. Отлично это понимая, Лакаскад,

естественно, не захотел оставаться среди злорадствующих врагов, пока прибудет его

преемник. И он сел на первое же судно, которое зашло в Папеэте. Это был английский

пассажирский пароход «Ричмонд», совершавший регулярные рейсы между Таити и Новой

Зеландией. Большинство поселенцев оказались настолько бессердечными, что 4 июня, в

день отъезда Лакаскада, пришли на пристань и проводили его свистом, воем и бранью**107**.

Но действительно большую и почетную победу над своим заклятым врагом Гоген

одержал, когда 14 июня поднялся на борт «Дюшаффо». Командир корабля не только лично

встретил и учтиво приветствовал его, но отвел ему отдельную каюту, а также место в

офицерской столовой**108**. В толпе провожающих на берегу преобладали местные

жительницы, которые отменно повеселились две недели

вместе с матросами и офицерами

крейсера, теперь же, как этого требовал таитянский этикет, плакали навзрыд и бросали в

воду белые венки. Но одна таитянка пришла только ради Коке: на большом камне, болтая в

воде босыми ногами и глядя сквозь слезы на корабль, сидела Теха'амана. В пестрой толпе

туземцев бело-черными пятнами выделялись пять-шесть европейцев, которые тоже

участвовали в проводах Гогена. Нужно ли объяснять, что это были лейтенант Жено и

представители семейств Дролле и Сюха. По доброму таитянскому обычаю, они стояли на

пристани и махали, пока «Дюшаффо» не протиснулся сквозь узкий проход в рифе.

Благодаря новым мощным моторам «Дюшаффо», в отличие от старика «Вира», не

нужно было описывать никаких дуг в поисках попутного ветра. К тому же в этом

направлении мореплавателям всегда помогал пассат, и уже через неделю Гоген прибыл в

Нумеа. Впрочем, его бы лучше устроило, если бы этот переход продолжался так же долго,

как плавание на «Вире». Потому что в Нумеа Гогену пришлось три недели ждать судна,

идущего во Францию, живя в гостинице и питаясь в ресторане. Немалый удар для

«нуждающегося», как отметил саркастически сам Гоген... Когда же наконец прибыл

большой пассажирский пароход «Арман Бехик», принадлежащий компании «Мессажери

Маритим», оказалось, что общая каюта третьего класса, где отвели место Гогену, битком

набита солдатами, а так называемая прогулочная палуба занята овцами и коровами. И уж

совсем невыносимым для Гогена стало «классовое неравенство», когда он среди

привилегированных пассажиров роскошного первого класса увидел своего старого

мучителя, губернатора Лакаскада, который в Новой Зеландии сумел сразу пересесть на



другое судно и поспел в Сидней как раз вовремя, чтобы попасть на «Арман Бехик». Хотя

Гогену это было в общем-то не по карману, он поспешил уплатить разницу и перешел во

второй класс.

После всех непредвиденных расходов у него к 30 августа, когда он прибыл в Марсель,

оставалось всего четыре франка из шестисот пятидесяти, с которыми он выезжал из

Папеэте**109**. Однако Гоген был бодро настроен и уверенно

смотрел в будущее. Он хорошо

поработал и не сомневался, что написанные им шестьдесят шесть картин помогут ему достичь

того, чего он так упорно и самоотверженно добивался: заслуженного признания и дохода,

который позволил бы ему наконец воссоединиться с семьей.

28. Тринадцатилетняя

вахина Гогена - Теха'амана (в его книге «Ноа Ноа» она названа Техурой), с которой он прожил год в

Матаиеа и Папеэте.



32.

Знаменитая «Манао тупапау».



15.

Аха оэ феии. Почему ты ревнуешь? 1892 (А, ты ревнуешь? ГМИИ, инв. № 3269). Одна из самых

красивых и смелых картин Гогена, это относится и к цвету, и к форме. Первое слово названия

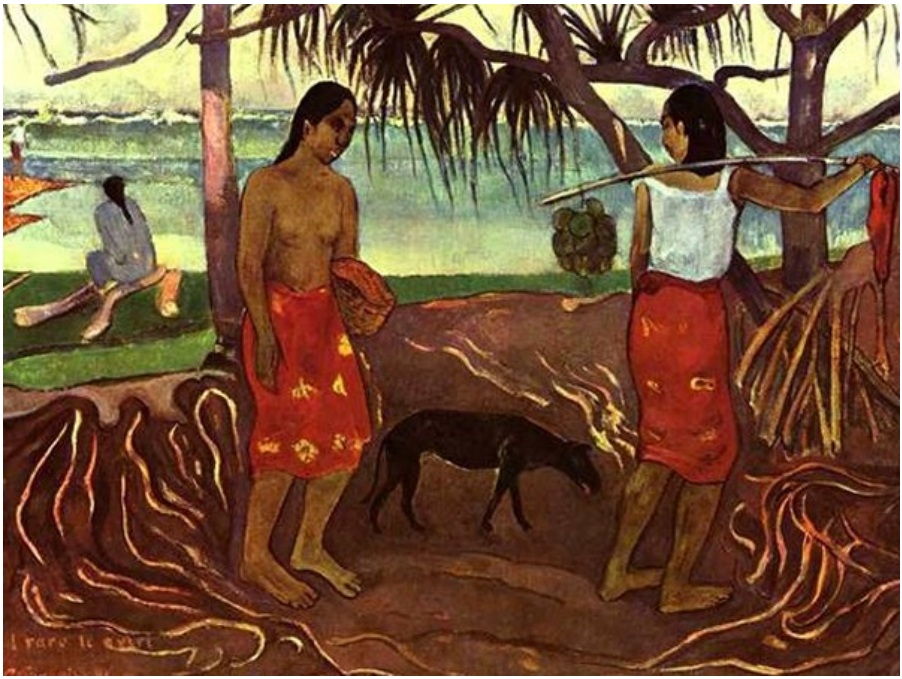
вернее было бы написать «эаха», но у Гогена был плохой слух на языки. Давая своим картинам

таитянские названия, он часто ошибался. Как обычно, художник добавляет несколько

декоративных завитушек, здесь - в левом верхнем углу.



Капризы (Te faaturuma)





И

Раро Те Овири (На берегу океана). 1891 г.

Сл

ева - 29. Фотографии часто служили источником вдохновения для Гогена. Этот снимок сделал

Шарль Шпиц, тогда единственный в Папеэте фотограф-профессионал. Справа - 30. Поза пьющего

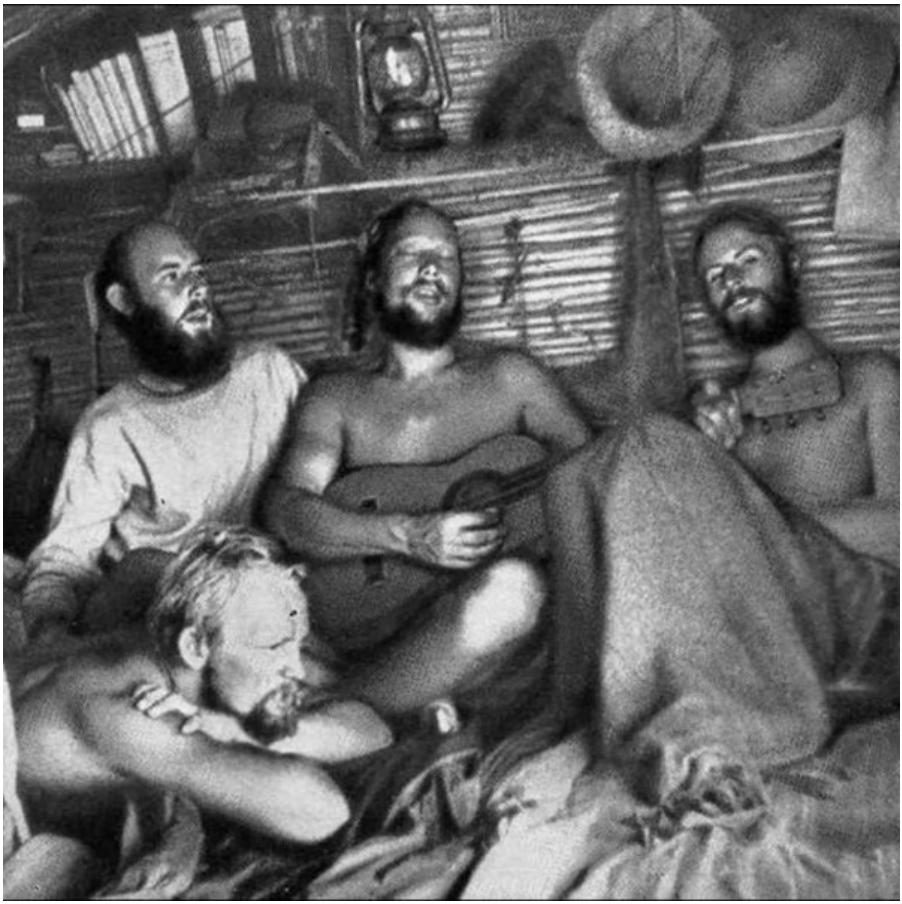
мальчика ему так понравилась, что он написал картину «Папе моэ» - «Таинственный источник».



37. Около кухни готовится

ужин. Такие будничные сценки из туземной жизни Гоген с удовольствием писал до самого конца

наряду с мифологическими мотивами и натюрмортами.



Авт

ор книги Гоген в Полинезии, Бенгт Даниэльссон (сидит первый слева) - во время легендарного

плавания на Кон-Тики с Тором Хейердалом, 1947 год. Говорят, Бенгт считал это плавание лучшим

отпуском в своей жизни

ГЛАВА VI. Поворотный пункт

Гоген будто предвидел, что на пути домой у него будут всякие дополнительные

расходы, потому что еще до отъезда с Таити он написал Метте и Даниелю и попросил их

прислать ему в Марсель немного денег. Но когда на борт «Армана Бехика» в Марселе

поднялся представитель пароходства, у него не оказалось для Гогена ни писем, ни

денежных переводов. Железнодорожный билет до Парижа стоил около двадцати франков -

в пять раз больше того, чем располагал Гоген. Оставаться на пароходе нельзя. Выход один:

поселиться в дешевой гостинице и ждать, пока его не выкупят.

Он особенно рассчитывал на Мориса Жоаяна, директора картинной галереи Буссо и

Валадон, ведь тот был прямо заинтересован в том, чтобы выставка новых картин с Таити

состоялась и прошла успешно. И Гоген послал Жоаяну коротенькую телеграмму, поневоле

коротенькую, так как приходилось экономить на каждом слове. А затем его осенила

блестящая мысль справиться на Марсельском почтамте, нет ли там письма до

востребования. Письмо было. Даниель сообщал, что Серюзье дал взаймы двести

пятьдесят франков, получить их можно по такому-то адресу... в Париже. Он истратил

последние гроши на вторую телеграмму, после чего, наверно, пошел бродить по городу и

особенно внимательно разглядывал витрины продовольственных магазинов, пока не

настало время возвращаться в гостиницу и ложиться спать на пустой желудок в своем

скромном номере.

К счастью, двести пятьдесят франков пришли уже на следующий день, и поздно

вечером он прибыл в Париж. Была пора отпусков, к тому же пятница, все его друзья

отдыхали за городом, и никто не пришел на вокзал. Но гораздо хуже то, что некуда деться

со своими чемоданами, холстами и скульптурами. Была не была - он сел на пролетку,

доехал до мастерской Даниеля, и после некоторого препирательства консьерж впустил его.

Прежде всего он, конечно, отправился в галерею Буссо и Валадон к своему главному

коммерческому посреднику. Но если Гоген по пути туда в уме повторял гневные слова,

кото рые обрушит на нерадивого Жоаяна, то зря старался. Жоаян ушел из галереи еще

полгода назад, не поладив с владельцами. А так как картины Гогена не пользовались

спросом и никто другой не захотел с ними связываться, их отправили Даниелю. Что до

второго торговца картинами, Портье, то он давно отказался

он невыгодной комиссии, о

чем Гоген, по-видимому, узнал еще до отплытия с Таити.

Как ни расстроил Гогена неожиданный разрыв отношений с галереей Буссо и

Валадон, это в чем-то было даже ему на руку - теперь он мог договариваться о выставке с

какой-нибудь более крупной и известной галереей. И хотя осенью 1890 года ему отказали

по этому адресу, он снова пошел на улицу Лафит к знаменитому торговцу картинами

Полю Дюран-Рюэлю - тому самому, который после долгой и упорной борьбы сумел

добиться признания импрессионистов. На этот раз ему повезло, потому что Дюран-Рюэль-

отец уехал по делам в Америку, а заменившие его два сына оказались более сговорчивыми.

Особенно после того, как один из главных поставщиков галереи, Эдгар Дега, горячо

рекомендовал им Гогена**110**. Правда, сговорчивость сговорчивостью, а покрыть все расходы

они не взялись. Надо было как-то самому доставать тысячу франков на рамы, объявления,

афиши, программу, пригласительные билеты и так далее. А так как выставка могла

состояться не раньше ноября, почти столько же требовалось, чтобы прожить два месяца.

Но и то, чего достиг Гоген, настолько его воодушевило, что, вернувшись от Дюран-

Рюэлей, он снял себе комнату на улице де ла Гран-Шомьер, 8, рядом с Академией

Колароссси, где жил до отъезда на Таити, и заплатил за три месяца вперед, одолжив денег у

своей старой благодетельницы, хозяйки ресторана «У Шарлотты», мадам Карон.

Согласившись кормить его в долг, она же помогла ему решить другую важную проблему.

Гоген остановил свой выбор на доме номер 8 потому, что один из завсегдатаев ресторана

мадам Карон, чешский художник Альфонс Муха, предложил ему пользоваться своей

мастерской, которая находилась там же**111**.

Гоген очень надеялся, что во время Копенгагенской выставки Метте продала

достаточно картин и выручка покроет все его расходы. Но она

как назло до сих пор не

ответила ему на письмо, которое он послал еще из Марселя неделю назад. Он написал

снова, и только отправил это письмо, как от Метте пришла телеграмма с неожиданным

известием, что умер его единственный родственник во Франции, семидесятипятилетний

дядя, живший в Орлеане.

Он тотчас собрался в Орлеан, но сперва сочинил короткое письмо Метте, которое

начиналось сердитыми словами: «Я решительно ничего не понимаю. У тебя есть мой

адрес, ведь ты прислала мне телеграмму на новую квартиру, но написать письмо ты не

удосужилась». Еще более резко звучал последний абзац: «Господи, как трудно что-либо

предпринимать, когда все, на кого ты полагаешься, и прежде всего твоя собственная жена,

бросают тебя на произвол судьбы. Скажи честно, в чем дело? Я должен знать, как мне себя

вести. Почему Эмиль и ты не приехали в Париж навестить меня? Вы бы не умерли от

этого. Ладно, хватит болтать. Пиши длинные письма, чтобы мне все было ясно, и ответь на

вопросы, которые я задавал в предыдущих письмах»**112**.

Вернувшись с похорон в Париж, Гоген нашел дома письмо недельной давности,

которое показывало, что он напрасно упрекал Метте в нерадивости. Она ответила ему

сразу, но на адрес Шуффенекера, так как другого не знала. Оттуда письмо переслали

сперва в Дьепп, где отдыхали Шуффенекеры, потом в имение Монфредов на Пиренеях, и

только после этого оно нашло адресата.

Запоздалые новости оказались печальными. Правда, Копенгагенская выставка

привлекла много посетителей и картины Гогена и Ван Гога вызвали больший интерес, чем

все остальные вместе взятые**113**. Но покупали их плохо, и то, что Метте удалось продать, принесло лишь несколько сот крон, которые она тут же израсходовала, ведь надо было

кормить и одевать детей. «Придется тебе самому выходить из положения», - решительно

заключала она. К счастью, после дядюшки остались и акции и

наличные, и Гоген

рассчитывал, что на его долю придется тысяч десять, если не больше. Он ничуть не

скрывал своей радости, что дядюшка «догадался умереть» так кстати. Одно огорчительно:

его сестра Мария - второй наследник - жила в Колумбии, и орлеанский нотариус,

назначенный душеприказчиком, отказывался ему что-либо выплачивать, пока она не

пришлет своего согласия, а на это требовалось несколько месяцев.

Стремясь увидеть Метте, он предложил ей следующее: «В ноябре я собираюсь дать

бой, который решит все мое будущее. Я предпринял разведку, и первые признаки

позволяют надеяться на успех. Поэтому мне нельзя терять ни минуты, и ты сама, конечно,

понимаешь, что я не могу покидать Париж до выставки, то есть до конца ноября. А у тебя

есть свободное время, так почему бы тебе не приехать в Париж с маленьким Полем? Ты

сможешь отдохнуть, и я буду счастлив снова тебя обнять. Мы обо всем переговорим, а это

необходимо (в письмах не объяснишь всего). У меня есть неплохо обставленная

мастерская, так что не будет ни хлопот, ни расходов, а твой приезд был бы полезен со всех

точек зрения. Если ты можешь занять денег на дорогу, я верну их тебе самое позднее через

два месяца. В нашем доме живут две датчанки, которых ты знаешь, кого-нибудь из детей

вполне можно разместить у них. Вместе мы сделали бы несколько нужных визитов,

словом, этот маленький расход окупится. Только не засыпай меня возражениями и

соображениями, собирайся в путь и ПРИЕЗЖАЙ поскорее».

Хотя Гоген с трогательным пылом заклинал жену хоть раз в жизни повиноваться

чувствам, а не разуму, Метте, как и прежде, была бессильна переломить свою природу (да

и кому это под силу?). Ее трезвому уму предложение Поля представлялось

легкомысленной попыткой преждевременно отпраздновать победу. До выставки у Дюран-

Рюэля, которая, как он уверял, увенчается его полным признанием, осталось каких-нибудь

два месяца. Восемь лет они ждали друг друга, значит, легко подождут еще несколько

недель. К тому же денег на поездку в Париж у Метте не было. Так уж получилось, что

Гогена осенило не вовремя: его старший сын Эмиль только что кончил среднюю школу, и

теперь мать всячески старалась изыскать денег, чтобы он мог учиться дальше. И разве

можно положиться на слово Поля, что он вернет «долг», если ей сверх ожидания удастся

добыть денег на дорогу? Судя по всему, он такой же мот, как раньше. Разве она, хотя сама

нуждалась, не прислала ему на Таити семьсот франков перед самым его отъездом оттуда?

А он приезжает без гроша и первым делом просит еще денег; теперь вот опять хочет

вовлечь ее в никчемные расходы. В довершение всего он даже не извинился за свое

оскорбительное письмо, в котором совершенно несправедливо обвинял ее в нерадивости.

Объяснять Полю, что он ведет себя отвратительно, Метте считала бесполезным. Зато

она дала волю своему негодованию в длинном письме Шуффу, который на себе испытал

несправедливость Гогена. «Он совсем безнадежен. Он неспособен думать о чем-либо,

кроме себя и своего благополучия, и упоен-но любуется собственным величием. Ему нет

дела до того, что его дети получают свой хлеб насущный от друзей его жены, он даже не

любит, когда ему об этом напоминают, прикидывается, будто не знает этого. Да-да, на этот

раз я возмущаюсь. Тебе, вероятно, известно, что произошло? Через неделю после его

приезда умер наш орлеанский дядюшка, очень кстати для Поля, который получает в

наследство пятнадцать тысяч франков.. . Мы с тобой знаем, что он отправился в свою

экскурсию на Таити, захватив всю выручку от продажи картин. Но я промолчала. На этот

раз он ни словом не обмолвился о том, чтобы разделить со мной эти 15 тысяч, на что я и

позволила себе ему указать. Теперь еще он требует, чтобы я раздобыла денег на поездку в

Париж! Мне важнее, чем когда-либо, быть здесь, я не вправе бросить пятерых больших

детей, которые могут надеяться только на меня. Если он хочет нас видеть, ему известно,

где нас найти. Я не такая дура, чтобы без толку слоняться по белу свету!»

Гоген не стал больше уговаривать свою «черствую» и «расчетливую» жену приезжать

в Париж. Вместо этого он, весьма разумно, сосредоточил свои усилия на подготовке

выставки у Дюран-Рюэля; будет успех - решится и семейный вопрос. Получить наследство

сейчас он не мог, так что надо было срочно найти где-то несколько тысяч. И хотя новый

директор Академии художеств, Ружон, своим отказом оплатить ему проезд на родину ясно

показал свое недоброжелательство, Гоген все-таки решил пойти к нему и напомнить про

обещание, которое получил два года назад от его предшественника: что Академия купит у

Гогена, картину. Ружону явно опостылел этот Гоген со всеми его претензиями, и он, твердо

решив раз и навсегда отделаться от назойливого просителя, с грубой откровенностью

сказал:

- Я не могу поддерживать ваше искусство, потому что нахожу его отвратительным и

непонятным. Если я, как директор Академии художеств, стану поддерживать такое

революционизирующее течение, это будет скандалом, и все инспекторы тоже так считают.

Когда Гоген с плохо скрываемой яростью возразил, что он и не требует, чтобы

руководство Академии понимало его полотна, только бы оно выполнило свое обещание,

Ружон иронически улыбнулся и положил конец дискуссии вопросом:

- У вас есть письменное обязательство?

Такого обязательства у Гогена не было, и он ушел, с чем пришел, став лишь одним

горьким разочарованием богаче.

По словам самого Гогена, ему в конечном счете удалось

занять около двух тысяч

франков у друзей, возвратившихся в Париж после летних отпусков. Они могли спокойно

ссужать его, ведь он вот-вот должен был получить свое наследство.

Как важно хорошо разрекламировать выставку, Гоген наглядно убедился два года

назад, когда Морис настолько подогрел интерес к его аукциону, что доход составил почти

10 тысяч франков. Но кто поможет ему с рекламой на этот раз? Единственный, кто мог бы

заменить Шарля Мориса, - критик Альбер Орье, сотрудник «Меркюр де Франс» и автор

двух больших восторженных статей о великом Гогене, - умер от тифа. И когда «жалкий вор

и лжец» Морис как раз в эти дни написал Гогену покаянное письмо, умоляя назначить

встречу, «чтобы положить конец возникшей мучительной ситуации», тот ответил ему

очень миролюбиво. Возможно, он ждал, что Морис готов искупить свою вину и вернуть

деньги, которые задолжал. Если так, то заблуждение Гогена длилось недолго, потому что

Морис был едва ли не еще более нищим, чем прежде. После своего постыдного провала на

поприще драматургии весной 1891 года он кое-как перебивался очерками и заметками для

бульварных газет, и за два года, что они не виделись с Гогеном, ему не раз пришлось

испытать и холод и голод. Тем не менее Морис сейчас был счастлив как никогда. Он

влюбился в одну из своих многочисленных поклонниц, вдовствующую графиню, которая

была на несколько лет старше его и у которой была десятилетняя дочь. О том, что чувство

было искренним и взаимным, лучше всего говорила готовность графини разделить с ним

его бедность. Блеск и нищета Мориса одинаково тронули Гогена, и он тотчас забыл о

своей твердой решимости во что бы то ни стало востребовать весь долг до последнего

сантима. К тому же было очевидно, что единственный способ для Мориса покрыть свой

долг - хорошенько потрудиться на журналистской ниве, как

во время успешной кампании

два года назад.

Еще одним другом, вернее, подругой, с которой Гоген более или менее добровольно

возобновил сношения, прерванные из-за отъезда на Таити, была Жюльетта. Эта простушка

боялась, что Поль может отнять у нее двухлетнюю дочь, если она переедет к нему, а

Жюльетта любила свою Жермену так, как только мать может любить. Гоген был рад

избежать тягостных забот и детского крика, и ему вовсе не хотелось конфликта с Метте.

Поэтому он не стал развеивать заблуждение Жюльетты. Но он при каждом возможном

случае подбрасывал ей денег, и она была этим вполне довольна.

Казалось бы, у него хватает всяких дел, но Гоген затеял еще писать книгу о своем

путешествии на Таити. Странно, что он, при всей своей занятости, взялся за столь

серьезную задачу; объяснить это можно лишь тем, что Гоген, как и все новички, не

представлял себе сложности литературного труда. Главным стимулом была, вероятно,

надежда быстро заработать немного денег. Ведь «Женитьба Лоти» сразу стала

бестселлером и постоянно переиздавалась. А Гоген гораздо больше, чем Пьер Лоти,

прожил на Таити и пережил вещи несравненно более интересные, так неужели его повесть

не найдет такого же сбыта?

Он скоро убедился в том, о чем ему следовало бы догадаться с самого начала:

невозможно в одно и то же время писать книгу и готовить большую персональную

выставку. Особенно много труда и времени ушло на то, чтобы вставить картины в рамы,

ведь все холсты были разного размера. Пусть разница порой не превышала нескольких

сантиметров, все равно серийного производства рам нельзя было наладить. В итоге Гоген

едва поспел сделать все к вернисажу, хотя перенес его с 4-го на 9 ноября**114**. Как и в первый

раз, Морис провел основательную подготовку. Большинство

крупных газет

заблаговременно напечатали обстоятельные заметки или подробные статьи о предстоящем

событии. В промежутках между визитами в редакции и совещаниями в кафе Шарль еще

ухитрился написать отличное предисловие к каталогу. Наконец, он не только разослал

приглашения всем влиятельным критикам и богатым коллекционерам, но и со многими из

них лично договорился, что они придут. Результат вполне отвечал ожиданиям. Задолго до

двух часов - на это время был назначен вернисаж - к галерее Дю-ран-Рюэля на улице

Лафит начали съезжаться кареты.

Гоген произвел очень строгий отбор, он выставил только сорок одно из шестидесяти

шести полотен и две из десятка «дикарских» деревянных скульптур, которые привез с

Таити**115**. Чтобы подчеркнуть, с одной стороны, связь с ранним творчеством, с другой -

пройденный за два года путь, он добавил три картины бретонского цикла. Почти все

картины, которые экспонировались в те дни у Дюран-Рюэля, теперь висят на почетных

местах в виднейших музеях мира, и ни одна из изданных за последнее время книг по

истории современного искусства не обходится без репродукций гогеновских шедевров.

Такие вещи, как «Иа ора на Мариа» (ее Гоген поместил в каталоге под номером один),

«Манао тупапау», «И раро те овири», «Нафеа фаа ипоипо», «Вахине но те тиаре» и «Теаа

но ареоис», знают и любят не только специалисты, но и миллионы рядовых ценителей

искусства. Сам Гоген ставил свои полотна так же высоко, как это сделали последующие

поколения. Он не сомневался, что сорок одна таитянская картина, эти невиданные

сочетания ярких цветов откроют наконец глаза современникам на его величие. Его

уверенность в себе и своем близком торжестве лучше всего выразилась в иронической

фразе, которой он заключал написанное накануне выставки письмо Метте: «Вот теперь я

узнаю, было ли с моей стороны безумием ехать на Таити».

Уже в начале третьего он получил ответ. Куда ни погляди - равнодушные,

презрительные, недоумевающие лица. Все ясно: провал. Но послушаем Шарля Мориса,

который во время вернисажа не отходил от него: «Провалились все грандиозные планы

Гогена. Но больнее всего по его самолюбию, наверно, ударило неизбежное сознание, что

он допустил ряд просчетов. Разве не мечтал он о роли пророка? Разве не уехал в далекие

края, когда посредственность отказалась признать его гений, надеясь по возвращении

предстать во весь рост, во всем своем величии? Пусть мое бегство - поражение, говорил он

себе, но возвращение будет победой. А вместо этого возвращение только жестоко

усугубило его поражение.

Легко представить себе, как его сердце в эту минуту сжалось в тревоге. Но, пользуясь

метафорой, которую он сам простодушно любил и часто повторял, - Гоген терпеливо, как

индеец, с улыбкой на губах вынес все страдания. Перед лицом единодушного неодобрения

всех присутствующих он все равно ни секунды не сомневался в своей правоте. Стоять на

своем - вот убеждение, за которое он цеплялся. Вопиющая недооценка со стороны

современников не играет никакой роли, будущие поколения оправдают его!

Как только он понял, что люди, не давшие себе труда изучить и обсудить его

произведения, вынесли ему приговор, он изобразил полнейшее безразличие. Он улыбался,

не показывая виду, чего ему это стоит, спокойно спрашивал своих друзей, какого они

мнения, и без малейшей горечи, трезво, непринужденно обсуждал их ответы.

Провожая в конце злополучного дня до дверей мсье Дега, он упорно молчал, хотя тот

хвалил его. Но в ту самую минуту, когда знаменитый старый мастер уже хотел прощаться,

Гоген снял со стены экспонат, резную трость своей работы, и подал ему со словами:

- Мсье Дега, вы забыли вашу трость**116**.

Среди тех, кто не соглашался с высокой оценкой Дега, был старый друг и учитель

Гогена, Камилл Писсарро, который писал о выставке:

«Я встретил Гогена. Он изложил мне свои взгляды на искусство и заверил, что

молодые найдут спасение, испив из далеких и диких источников. Я сказал ему, что это

искусство не в его духе. Что он цивилизованный человек и его обязанность - показывать

нам гармоничные вещи. Мы разошлись, оставаясь каждый при своем мнении. Гоген

несомненно талантлив, но как же трудно ему найти свой путь! Он постоянно

браконьерствует в чужих угодьях; теперь он грабит дикарей Океании»**117**.

Газеты были не многим приветливее**118**. И на этот раз единственная безоговорочная

похвала исходила от популярного и эрудированного критика Октава Мирбо, который в

«Эко де Пари» подчеркивал преемственность в творчестве Гогена: «То, чего он искал в

Бретани, найдено им наконец на Таити: упрощение формы и красок, декоративное

равновесие и гармония». Еще более интересны для нас, всецело согласных с приведенным

суждением, те абзацы, в которых Мирбо, пользуясь сведениями из первых рук, описывает

жизнь Гогена на Таити: «Гоген не задерживается в городах. Сразу по прибытии он находит

себе домик в горах, подальше от поселений и европейского образа жизни. Он живет среди

туземцев, на туземный лад. Ест их пищу, одевается, как они, придерживается их обычаев,

участвует в их играх, забавах и ритуалах. Вечерами присоединяется к их собраниям.

Слушает рассказы стариков, упивается поэтичнейшими легендами, поет в хоре туземцев...

Эти повести, эта музыка возрождают прошлое изумительной страны праздности, грации,

гармонии, силы, простодушия, величия, пороков и любви. Оживают мифы, восстают

чудовищные божества с окровавленными губами, которые убивают женщин и пожирают

детей, и образы эти вызывают тот же ужас, что в древние времена... Гоген так тесно

сжился с маори, что их прошлое стало для него своим. Оставалось лишь истолковать его в

своем творчестве. Вот они, его произведения, излучающие своеобразную красоту, о

существовании которой Пьер Лоти не подозревал». Были и другие одобрительные статьи,

но они появились во второстепенных, а то и вовсе малоизвестных газетах и журналах,

выходящих маленькими тиражами. А подавляющее большинство крупных газет

поместило заметки, полные ехидства. Вот несколько выдержек: «Я не могу представить

себе большего ребячества, чем этот возврат к причудливому искусству туземцев, у

которых он заимствовал все слабые стороны, не обладая ни их простодушием, ни

стремлением сделать все, на что они способны». Другой искусствовед называл

выставленные картины «измышлениями больного мозга, надругательством над

Искусством и Природой», а третий коротко и ядовито констатировал: «Подробно писать об

этой выставке - придавать чрезмерное значение фарсу». Четвертый заявил: «Нас нисколько

не трогает это толкование таитянских легенд, эта «Аве Мария», которая есть не что иное,

как картина в стиле Бастьена-Лепажа, не вдохновившая таитянских Гуно на сочинение

музыки... Теперь будем ждать, когда приедет в Париж таитянский художник и выставит

свои картины у Дюран-Рюэля или еще где-нибудь, живя в Ботаническом саду. Словом, мы

ждем подлинного маори».

Как и следовало ожидать, самый горячий отклик выставка встретила у фельетонистов,

которые долго потешались над желтым морем, лиловыми деревьями и розовыми лугами

Гогена. Большим успехом пользовалась невыдуманная, к сожалению, история про одну

английскую леди, которая на вернисаже была настолько шокирована красной собакой,

присутствующей на картинах, посвященных Хине, что у нее

вырвался испуганный вопль.

Полагая, что его соотечественники не столь пугливы, один фельетонист-острослов

советовал своим читателям: «Если хотите позабавить своих детей, пошлите их на

выставку Гогена. Там среди аттракционов есть цветное изображение обезьяноподобной

четверорукой самки, распростертой на зеленом бильярдном столе». Он подразумевал

«Отахи» - великолепный портрет обнаженной Теха'аманы.

Естественно, выставка и в финансовом отношении с треском провалилась. В первый

день Дега купил картину серии «Хина». Другую приобрел один русский. После долгих

колебаний один французский коллекционер взял в рассрочку «Иа ора на Мариа».

Неизвестный молодой торговец картинами по имени Воллар, недавно открывший галерею

на той же улице, где и Дюран-Рюэль, купил картину попроще, на которой полностью

одетая таитянка сидит в кресле-качалке. Из сорока четырех полотен было продано только

одиннадцать. И когда Гоген оплатил все расходы и вернул долги, у него осталось ровно

столько денег, сколько было нужно, чтобы перебиться до получения наследства.

О том, чтобы возобновить семейную жизнь с Метте и детьми, не могло быть и речи.

Ведь она поставила условие - он должен иметь постоянный доход и содержать семью. От

стыда и отчаяния Гоген долго не решался написать ей о катастрофе. После того как она в

конце концов написала сама, нетерпеливо спрашивая, когда же Поль приедет в Копенгаген,

он неосмотрительно попытался внушить ей, будто выставка прошла «с большим успехом»,

газеты писали о ней «дельно и одобрительно», и многие считают его «величайшим изо

всех современных художников». Правда, он вынужден был признать, что в финансовом

отношении выставка «не принесла ожидаемых результатов». Поэтому Гоген мог только

предложить, чтобы они встретились летом 1895 года, когда у детей будут каникулы.

Причем он хотел снять домик на побережье в Норвегии, очевидно, желая избежать

неприятных вопросов, которые могли прийти на ум родственникам Метте.

Конечно, попытка обмануть Метте была обречена на неудачу. Во-первых, она сама по

французским газетам следила за тем, что происходит в Париже; во-вторых, у нее было во

Франции много друзей, которые не замедлили послать ей вырезки. Особенно

красноречивой была исполненная горечи статья Мориса в декабрьском номере «Меркюр

де Франс». Вот ее начало: «Словно по чьему-то умыслу два значительных художественных

события произошли одновременно: в день, когда на парижской сцене была дана премьера

спектакля «Враг народа» по пьесе Ибсена, состоялся вернисаж выставки картин и

скульптур, которые привез с Таити Поль Гоген.

В театре и в картинной галерее шел один и тот же спектакль. С драматизмом и с

невиданной ранее простотой Ибсен показывает нам человека, который в новой для нас,

французов, среде страдает за правду. Гоген в одно и то же время автор и главное

действующее лицо такой же трагедии. Страна, народ и среда, которые он избрал, чтобы

выразить свои творческие истины, чтобы свободно и великолепно воплотить свои

прекрасные видения, тоже неизвестны здесь на Западе. Правда, его средства, пожалуй, еще

проще, чем используемые драматургом, а вольности, которые он себе позволяет,

несомненно идут дальше и носят более яркий отпечаток его личности.

Но так ли трудно понять Гогена и его смелые упрощения? Ведь от нас требуется

только, чтобы мы, оценивая творчество художника и поэта, признали за ним право творить

свободно, забывать образцы и шаблоны, созданные прежними великими мастерами, не

говоря уже о несносных условностях, насаждаемых не столь значительными

художниками. Но этого никто не хочет делать. Я

подразумеваю тут не столько

общественность - ее, несмотря на все предвзятые мнения, можно формировать и

направлять, - сколько так называемых экспертов, художников, критиков, некоторых

журналистов и газетчиков. Каких только нелепых суждений, открытых или прикрытых,

мы не наслышались в последние дни в галерее на улице Лафит. Не говоря уже о том, что

всякие писаки преподносят в виднейших ежедневных газетах!»

Дальше Морис говорил:

«Гоген с грустью вспоминает счастливые дни в заморском краю, когда он с

благородным жаром вдохновенного поэта работал над этими полотнами, вдалеке от

нашего выродившегося общества с его кликами и интригами. Возможно, он опять уедет

туда. Если так, это мы его изгнали. Он уже говорит:

- Я не хочу больше видеть европейцев».

Разобрав и истолковав несколько важнейших картин выставки, Морис в заключение

цитирует знаменитое кредо Вагнера, которое давно усвоил Гоген: «Я верю в святость духа

и в истинность искусства единого и неделимого. Верю, что это искусство от бога и

присутствует в сердцах всех людей, озаренное светом небесным. Верю, что кто однажды

отведал возвышенных плодов этого великого искусства, тот навсегда будет ему предан и

не сможет его отрицать. Верю, что с его помощью мы все можем достичь блаженства.

Верю в день Страшного суда, когда всех, кто здесь на земле барышничал этим чистым,

высоким искусством, кто осквернял и унижал его ради наживы, постигнет страшная кара.

Верю, что преданные слуги истинного искусства пожнут хвалу и, в ореоле небесного

сияния, благовоний и нежной музыки, навеки будут пребывать в божественном источнике

всякой гармонии».

По словам Мориса, друзья Гогена всячески уговаривали его не поддаваться

естественному порыву, не уезжать тотчас обратно в Южные

моря. Одним из главных

доводов было, что его совсем забудут, он упустит все надежды на успех, если опять

покинет Париж. Видимо, их слова на него подействовали, потому что, не дожидаясь конца

выставки, он обратил всю энергию на новую попытку окольным путем завоевать

благосклонность публики. Гоген быстро сообразил - и, наверно не ошибся, - что

посетителей выставки больше всего озадачили и оттолкнули не смелые краски и

необычная манера, а чужие, непонятные мотивы. Беда в том, что, в отличие от сцен из

греческой мифологии, которыми восхищались и восторгались во всех официальных

художественных салонах, его таитянские боги и богини не вызывали у зрителя никаких

отголосков, никаких ассоциаций. Значит, нужен популярный очерк о таитянской культуре

и мифологии. Воодушевленный своей догадкой, Гоген решил поскорее закончить книгу о

Таити, причем написать ее так, чтобы она одновременно служила как бы комментарием и

истолкованием его картин. И неплохо бы иллюстрировать книгу репродукциями своих

полотен.

Тем временем и Морис пришел к тому же выводу, только он считал, что сумеет

объяснить творчество Гогена лучше, чем сам Гоген. И Морис предложил писать книгу

вместе, главу - один, главу - другой. Задача Гогена - попросту рассказать о своей жизни на

Таити, Мориса - описать и истолковать его картины. Кроме того, Морис любезно вызвался

отшлифовать язык Гогена в его главах. Он уже убедительно доказал, что в самом деле

понимает и искренне восхищается творчеством Гогена. В свою очередь Гоген не менее

горячо восхищался витиеватым, напыщенным стилем своего друга и уразумел, что

написать книгу труднее, чем он думал. Словом, напрасно некоторые его биографы

удивляются, с какой радостью и поспешностью он принял предложение Мориса. Правда,

его могло бы насторожить то, что Морис замыслил часть своего материала изложить в

стихах!

Теперь Гоген волей-неволей должен был остаться на зиму в Париже, и он переселился

в более просторную квартиру. Кстати, она принадлежала тому же владельцу, что и дом на

де ля Гран-Шомьер, и, наверно, обходилась не на много дороже, чем клетушка, которую

Гоген занимал до сих пор. Новая квартира Гогена находилась за Монпарнасским

кладбищем, на улице Версенжеторикс - две комнаты в ветхом, напоминающем сарай

двухэтажном деревянном доме, приобретенном владельцем за бесценок осенью 1889 года,

когда сносили павильоны Всемирной выставки. Опять-таки из бережливости хозяин велел

сделать только одну лестницу, а чтобы жильцы второго этажа могли попасть в свои одно- и

двухкомнатые квартиры, он опоясал весь фасад узким балконом. Комнаты Гогена

находились в дальнем конце балкона, и он всякий раз должен был проходить мимо окон

соседей**119**.

Он купил скверную подержанную кровать и поставил ее в меньшей комнате, где была

кафельная печь. Большую комнату обставил столь же дряхлыми стульями и просиженным

диваном. Столом служил сундук. Даниель одолжил ему ковры - закрыть неприглядный

голый пол. Скудную обстановку дополняли невесть где и зачем раздобытые пианино и

большой фотоаппарат на треноге. Что до украшения стен, то тут трудность была другого

рода: как разместить все картины. Чтобы они смотрелись лучше, Гоген выкрасил стены в

желтый цвет, и между своими непроданными полотнами тут и там повесил для

разнообразия таитянские копья, австралийские бумеранги и репродукции своих любимых

вещей Кранаха, Гольбейна, Боттичелли, Пюви де Шаванна, Мане и Дега. К счастью, у него

еще были сохраненные то ли Шуффом, то ли Даниелем оригиналы тех художников,

которых он ставил превыше всего, - Ван Гога, Сезанна и Одилона Редона. Две картины с

подсолнухами, фиолетовый ландшафт и автопортрет Ван Гога он поместил над кроватью**120**.

Естественно, вид больших белых квадратов среди этой красочной мозаики раздражал его,

и он расписал все стекла в окнах и в двери таитянскими мотивами.

У дома были такие тонкие и звукопроницаемые стены что было крайне важно иметь

кротких и снисходительных соседей. В этом Гогену повезло. Больше того, кое-кто из них,

и особенно жившая под ним молодая чета Вильям и Ида Молар, сразу прониклись к нему

симпатией. Они позаботились о том, чтобы Гоген не скучал, и познакомили его со своими

веселыми друзьями. Вильям. Молар очень увлекался музыкой, все свободное время

сочинял великолепные симфонии, минус которых заключался в том, что их невозможно

было исполнять. Искусство не кормило Молара (как и его соседа наверху), поэтому он (в

отличие от соседа) поневоле оставался верен своей бюрократической карьере. А она не

была ни блестящей, ни особенно доходной, ибо после многих лет службы он все еще

оставался лишь мелким чиновником министерства земледелия. Сын норвежки, он

свободно говорил на языке своей матери. Его жена Ида, урожденная Эриксон, была

скульптором, шведкой по национальности, как это видно по фамилии. В молодости она

училась в Академии художеств в Стокгольме, так что бюсты и статуэтки, которые она

делала, были все в высшей степени академичными и шаблонными. Зато биография ее

была далеко не шаблонной. Близкая к их семье Герда Чельберг, которая, учась в Париже,

часто бывала в доме 6 по улице Версенжеторикс, рассказывает в своих мемуарах: «Иде

была присуждена... государственная стипендия, но получить эту стипендию ей помешали

не совсем обычные обстоятельства. Семнадцатого февраля 1881 года У нее родился

внебрачный ребенок от солиста оперы Фрица Арльберга. Дитя получило имя Юдифь, и

гордая и счастливая мать завернула свое сокровище в платок и пошла к тогдашнему

директору академии, графу Георгу фон Русену, чтобы поблагодарить за стипендию и дать

ему полюбоваться малюткой. После чего, представьте себе, возмущенная ее

безнравственностью академия отменила стипендию. «Если бы она хоть не показывала мне

ребенка!» - жаловался потом граф Русен моему знакомому. Тогда госпожа Боньер дала Иде

денег в размере стипендии... На эти средства Ида Эриксон и отправилась в Париж, где

вышла замуж и осталась на всю жизнь»**121**.

Доктор Чельберг пишет об Иде Молар, что это была «маленькая, очень кокетливая

дама, кудрявая блондинка, одетая в кружева и рюши». А вот типичная для характера Иды

зарисовка ее повседневной жизни на улице Версенжеторикс: «Молары сняли квартиру,

когда дом еще строился, и с разрешения владельца у них не поставили внутренних стен,

хотя планировка предусматривала три комнаты и кухню плюс поднятые над полом два

небольших алькова для кроватей. В итоге Ида могла, стряпая на плите, одновременно

беседовать с гостями, которые шли в этот гостеприимный дом целый день, но больше

всего в вечера, отведенные для приемов». Особенно тепло и заботливо Ида Эриксон-

Молар относилась к беспризорным детям, потерявшимся собакам и художникам-

неудачникам. Другими словами, Гоген вполне мог рассчитывать на ее помощь и

материнскую заботу.

Ее дочь Юдифь, которой еще не исполнилось тринадцати лет, по-своему тоже

привязалась к Гогену. Как это часто бывает в таких случаях, она идеализировала своего

настоящего отца и сравнивала приемного с этим идеалом. Что бы тот ни говорил и ни

делал, ей все не нравилось. Столь безоговорочное осуждение отчима, естественно, влияло

на ее чувства к матери, которую Юдифь всевозможными выходками «наказывала» за

«измену». А свою любовь и нежность она, как это опять-таки часто бывает, дарила

учителям. Художник с таким романтичным и авантюрным прошлым, как Гоген,

естественно, был в высшей мере достоин ее внимания и чувств (тем более что Юдифь уже

решила стать художницей), и она с первых дней боготворила его. Ему же она чем-то

напоминала и замещала его любимую дочь Алину, и преданность Юдифи глубоко трогала

его. Впрочем, если верить неопубликованным воспоминаниям Юдифи, которые она

записала уже в преклонном возрасте, Гоген питал к ней не только отеческие, но и другие

чувства, подозрительно напоминающие те, что он совсем недавно испытывал к другой

тринадцатилетней девушке - Теха'амане на Таити. Например, в одном месте она пишет:

«Мне не надо было смотреться в зеркало (кстати, это было мне запрещено), чтобы знать,

что у меня кудрявые светлые волосы. Я знала также, что к округлостям детского тела

прибавились другие... Нисколько не удивляясь, я позволяла красивым мягким рукам

Гогена касаться этих новых форм, и он ласкал их, словно кувшин или деревянную

скульптуру»**122**.

Еще лучше представляешь себе как несколько двусмысленное взаимное влечение

между Гогеном и Юдифью, так и его отношения со всей семьей Моларов вообще, когда

читаешь следующее место из воспоминаний Юдифи.

« - Сходи за Вильямом, - сказала мама.

Вильям позировал для «Портрета музыканта». По-моему, Гоген задумал портрет

блаженного. Мама не любила, когда Вильям засиживался после сеанса. Она боялась, что

он будет ей неверен в мыслях, разговаривая с Гогеном о негритянках.

Я пошла наверх. Смеркалось. Вильям сидел у пианино, лихо и фальшиво выбивая на

клавишах попурри на темы опер Вагнера и перемежая его

каким-то аккордом, который

повторял несколько раз. И приговаривал:

- Вот ведь красота!

Словно Зиглинда сцепилась с Тристаном на Венусберге, превращенном в

сумасшедший дом.

Я бесшумно подошла к Гогену. Он вкрадчиво обнял меня и положил ладонь лодочкой

на мою наливающуюся грудь, чуть слышно говоря своим хриплым голосом:

- А это мое...

В самом деле, ему принадлежало все: моя нежность, моя еще не пробудившаяся

чувственность, вся моя душа. Я привстала на цыпочках, ища губами его щеку, но нашла

губы. Вместе со своими губами я отдавала ему всю мою душу, только бы он захотел ее

принять».

К великому огорчению экзальтированной бедняжки, Гоген совсем выпал из роли

сентиментального героя, каким она хотела его видеть. Возвысив голос, он весьма

прозаично сказал:

« - Пошли, Молар, выпьем?

Но Молар был глух, он продолжал избивать пианино. Только бы продлить эту минуту.

Только бы Тристан продолжал свой дьявольский танец. По мне - пусть весь мир гибнет. Я

бы жизнь отдала за одну минуту. . Но они ушли. Я провожала их взглядом с балкона. Какая

странная пара, полная противоположность Дон-Кихоту и Санчо Пансе - щуплый Молар с

покатыми плечами шагал за Гогеном, за Моларом трусил его пес. Молар косолапил в

остроносых башмаках, мопс хромал на трех ногах. А Гоген шел с изяществом и мягкостью

танцора, словно плыл, ни на миг не теряя равновесия. Убранное в поясе пальто

развевалось, будто плавники вуалехвоста. Как всегда, он не застегнулся. Из-под пальто

выглядывала куртка с высоким воротником, поверх которого он небрежно повязал шарф.

На голове - простая фетровая шляпа набекрень. К надетой на запястья кожаной петле

прикреплена резная трость из железного дерева.

Они пошли пить свой абсент.

А девочка, которая чувствовала себя очень маленькой, спустилась вниз, чтобы

выслушать брань за то, что Вильям ушел с жильцом пить».

У супругов Молар Гоген встречал музыкантов, поэтов и художников, французов и

скандинавов, и они, приходя в дом 6, частенько поднимались к нему на второй этаж, чтобы

посидеть и поболтать. После двух лет уединения на Таити Гоген явно был рад обществу.

Вскоре, следуя высокому примеру парижского света, он стал каждую неделю устраивать

приемы по четвергам. Как ни странно, все угощение сводилось к чаю печенью,

подаваемому Юдифью. (У этого угощения было важное преимущество - дешевизна.)

Развлекались тоже просто и невинно. Нескончаемые споры, соло на гитаре и пианино,

пение дуэтом, живые шарады под руководством затейника этой компании, испанского

скульптора Франсиско Дуррио, почти карлика, прозванного Пако или Пакито. Иногда сам

Гоген читал вслух очередные, только что завершенные страницы рукописи о Таити. Один

раз он был особенно в ударе и нарядился полинезийским вождем-людоедом**123**. Его старые

друзья - Шуфф, Даниель де Монфред, Серюзье и Морис, все люди женатые, степенные, -

чувствовали себя не совсем ловко в этой легкомысленной компании и приходили далеко не

каждый четверг. (Де Хаан давно вернулся в родную Голландию, чтобы лечить свой

туберкулез, но лечение ему не помогло, и он медленно умирал.) Из давних друзей или, во

всяком случае, знакомых постоянно бывал у Гогена приверженец Мориса, молодой поэт-

символист Жюльен Леклерк. Он издал сборник стихов „Strophes d'Amant", подвергся

страшному разносу и теперь увлекался главным образом френологией и хиромантией**124**.

Частым гостем была и Жюльетта; она, хотя по-прежнему отказывалась поселиться у

Гогена, считала, что он принадлежит ей, и подчас проявляла

нелепую ревность.

Когда слух о веселых сборищах в мастерской на улице Версенжеторикс, значительно

приукрашенный, дошел до Копенгагена, у Метте родилось страшное подозрение. Вскоре

оно перешло в уверенность. Поль получил наследство и теперь пускает его на ветер. Его

воображаемое преступление было в ее глазах тем подлее, что он давным-давно клятвенно

обещал ей обратить на детей все деньги, которые останутся после дядюшки. И Метте

немедля написала гневное письмо, напоминая Полю о его клятве. Гоген, который все еще

сидел по уши в долгах и лишь с трудом продлил свой кредит в ресторане «У Шарлотты»,

был глубоко обижен необоснованными подозрениями и недоверием Метте. Он тотчас

послал ей перечень всех своих расходов, итого 2490 франков, и присовокупил едкий

комментарий: «Поразительно, я должен отчитываться перед тобой, убеждать тебя, что я не

могу жить на улице, не могу, вернувшись больной из тропиков, ходить раздетый и

зябнуть». Одновременно он потребовал, чтобы Метте *«без обмана»* сообщила ему

« *точные* сведения», сколько картин она продала и что за них получила. Слова *«без*

обмана» были вызваны тем, что он, в свою очередь, от услужливых друзей узнал, будто

Метте во время Копенгагенской выставки на самом деле продала две картины по тысяче

крон, то есть, выручила раз в десять больше, чем написала ему. Но Метте не стала

объясняться, а перешла в контрнаступление. Мол, как у Поля хватает смелости обвинять

ее в обмане, когда сам он сообщил только о своих расходах, ничего не сказав о доходах от

выставки у Дюран-Рюэля, хотя известно, что он продал много картин.

Только личная встреча и разговор начистоту мог устранить взаимные подозрения и

недоразумения. Но Метте по-прежнему не хотела и не могла покинуть Копенгаген. Гоген

был далек от завершения своей книги, и ему, даже если бы он попытался, было бы очень

трудно занять денег на поездку к Метте. Они продолжали слать друг другу все более злые

и едкие письма, и вялые оправдания все чаще уступали место яростным нападкам и

обвинениям. Эта бессмысленная нервная переписка, которая медленно отравляла душу

обоих, кончилась совсем скверно. В январе 1894 года Гоген оборвал ее такими строками:

«Тяжелая, болезнь на Таити едва не стоила мне жизни. Лишения и страдания серьезно

отразились на моем сердце, и лишь с большим трудом удалось остановить кровотечение.

По словам врачей, рецидив равносилен смерти, поэтому я обязан быть осторожным. И

если ты и впредь собираешься слать мне такие письма, какие я получаю с тех пор, как

вернулся, лучше вовсе не пиши»**125**.

Когда Гоген в начале февраля получил долгожданное наследство, целых тринадцать

тысяч франков, он крепко отомстил Метте, переведя ей всего полторы тысячи. И вряд ли

ее утешило его обещание прислать еще, как только будет

нужда, ведь было очевидно, что

он не сделает этого, пока она не покается. Со своими парижскими друзьями Гоген был

куда щедрее. Так, собравшись через несколько дней в «роскошное путешествие» в

Брюссель, на выставку современного искусства, где экспонировалось несколько его вещей,

он взял с собой Жюлье-на Леклерка и оплатил ему все расходы. А еще более старому и

верному другу, Даниелю, он написал: «Нотариус наконец передал деньги в мои

целомудренные руки, что и довожу до твоего сведения, чтобы ты без колебаний обращался

ко мне за монетой»**126**.

Благодаря непривычно толстому бумажнику Гоген, вернувшись из Брюсселя, смог

приобрести то, в чем сильнее всего нуждался: постоянную подругу, чтобы было с кем

коротать время, пока он заканчивал книгу и ждал, когда остынет Метте. Новый торговец

картинами Воллар, уже доказавший свое отличное чутье - он один из всех торговцев

картинами купил полотно Гогена во время выставки у Дюран-Рюэля, - теперь еще больше

утвердился в своем мнении, что ставка на Гогена рано или поздно оправдается. А тут

вышло так, что они встретились, и он попытался завоевать расположение художника. В

своих мемуарах Воллар с самодовольной откровенностью рассказывает, как это было:

«Оперная певица, госпожа Нина Пак, была очень близким другом богатого банкира,

который вел дела с купцами с (Ост-Индских) островов. Как-то раз певица обронила при

одном из этих купцов: «Хотелось бы мне получить негритяночку». А через несколько

месяцев к мадам Нине Пак пришел жандарм, который привел молодую метиску,

наполовину индийку, наполовину малайку. Девушка бродила совсем одна по улицам, и на

шее у нее висела табличка с надписью: «Мадам Нине Пак, улица де ля Рошфуко, Париж.

Посылка с Явы». Девушку назвали Анной. Вскоре она повздорила с госпожой и была

уволена. Тогда Анна пришла ко мне (она знала меня, так как я бывал у ее хозяйки) и

попросила помочь ей найти другое место. Мне подумалось, что из нее вряд ли получится

хорошая домашняя работница, она лучше годится в модели. Я сказал об этом Гогену, и он

ответил:

- Пришлите ее, я посмотрю, на что она годится»[127].

Наверно, вымышленная версия о происхождении Анны вызвала у Гогена немало

приятных воспоминаний о Всемирной выставке 1889 года, когда он часто посещал

«яванскую деревню». Еще больше его привлекало то, что ей было всего тринадцать лет,

совсем как Теха'амане, то и дело упоминаемой в ностальгической повести о путешествии

на Таити, над которой он усердно работал. Но на этом всякое сходство кончалось. Мало

того, что ленивая Анна не любила стряпать и Гогену приходилось есть с ней в ресторане,

она была чрезвычайно болтлива, любопытна и назойлива. Тем не менее Гоген остался ею

вполне доволен, поселил ее у себя, приодел и старался удовлетворять ее капризы, даже

купил ей обезьянку, чтобы не скучала.

Жюльетта узнала обо всем этом не совсем приятным для себя образом: придя в

мастерскую, она застала там уже освоившуюся соперницу. Очевидно, Анна тоже не была

готова к такой встрече, потому что в первый миг она, в виде исключения, от

неожиданности потеряла дар речи. Жюльетта решила, что эта «негритянка» не понимает

по-французски, и в красочных оборотах изложила свое отнюдь не лестное мнение о ней.

Анна подождала, когда Жюльетта остановится перевести дух, и с холодной вежливостью

на безупречном французском языке спросила:

- Мадам кончила?

После чего Жюльетта еще больше разъярилась и громко посетовала, что не взяла с

собой свое привычное оружие - ножницы. Впрочем, израсходовав запас бранных слов, она

тихо и мирно исчезла навсегда из мастерской и из жизни

Гогена.

Юдифь, видимо, новая соперница устраивала больше, чем старая. У Анны было во

всяком случае одно преимущество перед Жюльеттой, она охотно играла с юной соседкой,

по-детски увлекаясь игрой. Но и то Юдифь не была совсем свободна от ревности, и

ревность эта сохранилась до преклонных лет, когда она описывала, как вместе с Гогеном и

его братией в марте 1894 года ходила на весенние выставки на Марсовом поле: «Как

путешественник, отправляясь к дикарям, везет с собой множество побрякушек, так и Гоген

привез домой разные вещицы, сделанные сиротами - учениками католических школ (на

Таити). Показывая их нам, он с хохотом говорил: «Вы не представляете себе, что можно

выменять за эти штучки...» В частности, у него были удивительно изящные, плетеные из

листьев заготовки для шляп. Анна и я получили такие заготовки. Один шляпник сделал

Анне шляпу по фасону, который впоследствии так прославил Морис Шевалье. Мне

модистка сделала девичью шляпку с чудным изумрудно-зеленым бантом. .. На вернисаже

мы были одеты по-разному. Хотя Анне, как и мне, было всего тринадцать, она вырядилась

взрослой дамой, я же была в коротком платьице. Мы условились встретиться у входа в

Дворец изящных искусств, так как билеты были на двоих. Причудливая компания,

окружавшая Гогена, состояла из длинных и тощих «гвардейцев» - Мориса, Ле-клерка,

Рансона, Руанара и Монфреда, и из коротышек - моей мамы, меня, четы Мофра, Пако и

Анны, все ростом около полутора метров.

Пройдя турникет, каждый из нас последовал за своей сверкающей путеводной

звездой. Иными словами, кто-то искал полезных знакомых, кто-то стремился обратить на

себя внимание, другие целеустремленно разыскивали последний шедевр Родена Бенара

или Гогена. У Анны был такой вид, словно она решила покорить весь свет. Она гордо

выпрямилась, подняла голову и выпятила свой острый маленький подбородок над

жестким расшитым воротником. Соломенная шляпа, подпертая огромным пучком иссиня-

черных волос, наклонилась под углом в сорок пять градусов к ее носу, плоскому, как у

шимпанзенка. На ней была клетчатая шелковая блузка в обтяжку, с пышными рукавами, и

длинная юбка со шлейфом, который она придерживала облаченной в шелковую перчатку

рукой».

Поглощенный светской жизнью и непривычной, а потому очень трудоемкой

литературной работой, Гоген в зиму 1893/94 года, естественно, написал очень мало

картин. Из них по меньшей мере три с таитянским мотивом; остальные были

автопортреты и портреты друзей. Таитянские вещи почти не уступали созданным на

острове, и это еще раз подтверждает верность его утверждения, что для него лучший

метод - писать «по памяти», а не «с натуры».

Два автопортрета, каждый по-своему, говорят о близких отношениях Гогена с

Моларами. Один из них сделан на обороте картины, где Вильям Молар, как не без

основания заметила Юдифь, напоминает «блаженного дурачка». Второй - контурный

портрет на гипсовой доске. Единственный раз в жизни Гоген использовал гипс, причем

мысль об этом пришла ему в голову, когда он позировал Иде Молар, чья художественная

продукция состояла преимущественно из реалистичных гипсовых бюстов и рельефов.

Понятно, он пользовался двумя зеркалами, чтобы видеть себя в профиль. Гоген дал этому

великолепному портрету таитянское название «Овири» («Дикарь»); так называлась песня,

записанная им в Матаиеа**128**.

Не менее интересен и важен портрет обнаженной Анны во весь рост, с обезьянкой у

ног. Поза Анны напоминает ту, в которой изображена тоже обнаженная красавица-ариои

Ваираума-ту - на одной из мифологических картин Гогена.

Нет ничего неожиданного в

том, что Гоген сблизил и противопоставил (он, наверно, часто делал это мысленно) Анну и

Юдифь, снабдив картину не совсем пристойным названием на ломаном таитянском языке.

Вот оно: «Аита парари те тамари вахине Юдифь»**129**, что переводится: «Девочка Юдифь

еще не проколота». К счастью, Молары не понимали по-таитянски.

Но всего замечательнее предназначенная для книги серия из десяти гравюр на дереве,

которую ему помог напечатать гравер Флоке, живший в том же квартале**130**. Шесть из них

повторяют картины, экспонировавшиеся у Дюран-Рюэля; три представляют собой

вольные толкования таитянского мифа о сотворении мира; последняя и самая красивая -

«Те фа-РУРУ» - изображает просто влюбленную пару без каких-либо мифологических

ассоциаций. Так что иллюстрации лишь отчасти отвечали своему назначению -

популяризировать картины Гогена. Кроме того, у них был серьезный технический порок:

размер 35 X 20 см был слишком велик для книжной иллюстрации. Но эти недостатки

гравюр с лихвой возмещались их художественной ценностью. Один из лучших знатоков

прямо говорит:

«Это его самые замечательные эстампы, и во всей истории графического искусства

нет ничего подобного. Можно сказать, что они в одно и то же время означали ренессанс и

революцию в области ксилогравюры. Ксилография была почти забыта. ... Гоген подошел к

ней по-новому, сделал ее совершенным средством выражения своего особого восприятия

пространства, не стремящегося передать глубину и воздух. Получилось что-то

напоминающее барельеф. Законченные доски, независимо от оттисков, обладают

самостоятельным скульптурным эффектом. До обработки они ничем не отличались от

обычного материала для гравюр - сложенные вместе куски твердой древесины,

распиленной поперек волокон. Метод Гогена заключался в том, что он вырезал штихелем

линии композиции, а не удалял древесину, чтобы линии были выпуклыми для печати.

Другие участки он выдолбил на разную глубину. . Эти композиции стоят вровень с

высшими достижениями Гогена: они насыщены тем же таинственным созерцанием, тем

немым фаталистическим страхом, той летучей грустью, которая отличает его как

художника и навсегда поднимает его над порочностью его жизни». **131**

К сожалению, нельзя с таким же восторгом отозваться о тексте, который Гоген с

помощью Мориса в конце концов написал. Обычно бедняге Морису приписывают всю

вину за несомненные пробелы и преувеличения в этом разделе. Но лет десять назад

неожиданно была обнаружена рукопись Гогена, так что можно по справедливости

определить меру ответственности каждого. Если сравнить рукопись и

«отредактированный» текст, ясно видно, что Морис только лишь, как его просил Гоген,

подчистил язык и кое-что добавил**132**. Верно, в окончательном варианте стиль чересчур

манерный и витиеватый, чтобы понравиться современному читателю. Но прежде чем

выносить приговор, вспомним, что сам Гоген чрезвычайно восхищался напыщенным

языком своего сотрудника и одобрил все «поправки» и «улучшения».

И ведь главные недостатки книги - не в языке, а в содержании. Что друзья

перекрестили Теха'аману в Техуру - видимо, посчитав ее настоящее имя слишком

длинным и трудным для французского читателя, - в конце концов не так важно. (Хотя,

если уж на то пошло, имя, под которым всем известна вахина Гогена, вдвойне неверно, по-

настоящему надо писать Теура или Те'ура, то есть без «х».) Куда хуже то, что Гоген-

писатель немногим ближе к реальности, чем Гоген-художник. Когда читаешь его книгу,

остается впечатление, будто жизнь на Таити в девяностых годах по-прежнему была крайне

примитивной и идиллической. Он делает исключение только для Папеэте, изображая

тамошних европейцев дураками и подлецами (и всех отвратительнее, естественно,

губернатор Лакаскад). Зато туземцы, жители дебрей «в сердце острова», - неиспорченные

дети природы, почти такие же добрые и благородные, как у Руссо. О своих неприятностях

и денежных заботах Гоген не говорит ни слова. Напротив, он всерьез утверждает, будто

сам жил так же замечательно просто, как туземцы, больше того - и «духовно» быстро стал

«подлинным дикарем, настоящим маори», едва бежал из рассадника цивилизации Папеэте

и поселился в Матаиеа.

Скорее всего, Гоген извратил истину бессознательно; у него можно найти много

заявлений, ясно показывающих, что он сам твердо верил в безудержно идеализированную

картину, которую создал.

Правда, в одном важном случае можно доказать, что Гоген намеренно пошел на

обман: когда он утверждал, будто свои сведения о таитянской религии и мифологии

получил от Теха'аманы - Техуры. «Она знает наизусть всех богов маорийского Олимпа», -

уверял он и трогательно описывал, как она преподала ему «полный курс таитянской

теологии» в лунные ночи, когда они лежали рядышком и сквозь щели в бамбуковой стене

любовались звездным небом. Между тем легко убедиться, что вся эта часть его книги -

небрежная компиляция отрывков, которые он выписал у Муренхута**133**. Мне кажется, из

главы четвертой видно, сколь нелепы слова Гогена, будто тринадцатилетняя девочка в

девяностых годах знала религиозные догмы и ритуалы, которые в прошлом вообще

держались в тайне от женщин.

Здесь стоит напомнить, что раскритикованный Пьер Лоти, у которого *на двадцать*

лет раньше Гогена была сходная любовная история на Таити,

честно и открыто признавал,

что его Рараху «ничего не знала о боге Та'ароа и многочисленных богинях в его свите; она

вообще никогда не слыхала о героях таитянской мифологии»**134** .

Гоген давно придумал название для своей наполовину законченной книги (Морис

только-только начал свою часть) - «Ноа-ноа». Это таитянское слово означает

«благоухающий, надушенный». Дальше подразумевается существительное «фенуа» -

«страна, остров»; так что самым верным и удачным переводом будет «Благоуханный

остров». Слов нет, на Таити вдоволь восхитительно пахнущих цветов и женщин, и все же

до конца выбор Гогена можно понять только, если по его примеру заглянуть в

классический очерк Муренхута и прочесть, как таитяне в старину представляли себе рай:

«В их лучезарной небесной обители «Рохуту ноаноа» (благоухающее Рохуту) человека

ждут наслаждения, превосходящие все, что сулили елисейские поля греков, или

мусульманский рай, или вообще любая сладостная обитель, изобретенная кем-либо из

основателей известных религий. Там солнце светит необычайно ярко, неизменно чистый

воздух всегда напоен ароматами, никто не старится и не знает ни болезней, ни страданий,

ни горя, цветы остаются свежими, плоды - зрелыми, там всегда изобилие изысканной

пищи. Песни, танцы, пиры чередуются непрерывно, и можно самым приятным образом

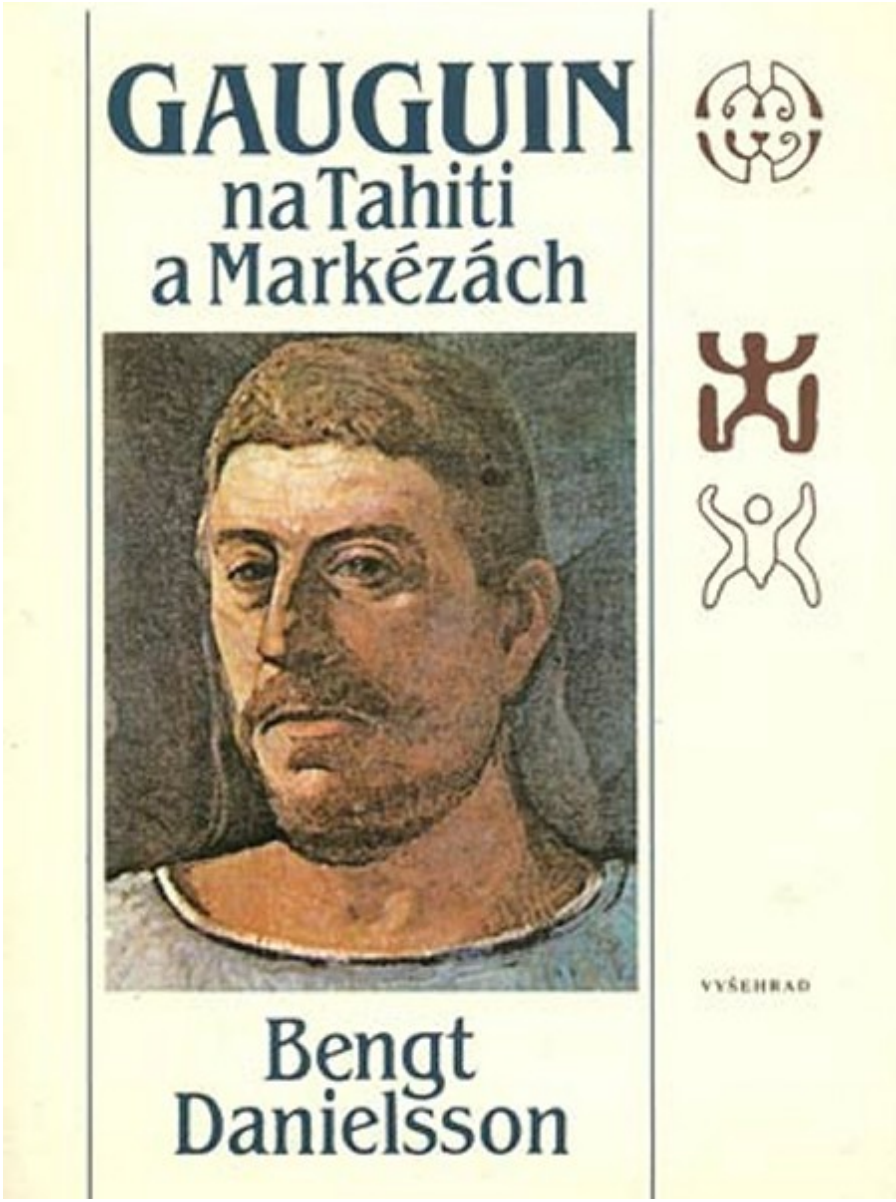
развлекаться в обществе вечно юных, вечно прекрасных женщин»**135**.

Название «Ноа Ноа» подходило даже лучше, чем думал сам Гоген. После всех бедствий и

испытаний, которые он перенес, вернувшись во Францию, дни на Таити представлялись ему в

светлом ореоле, и он верил, что жизнь там чуть не так же сладостна и совершенна, как в

лучезарном раю Рохуту ноаноа.



Обложка одного из изданий книги Бенгта Даниэллсона «Гоген на Таити». На ней - знаменитый автопортрет Гогена



33.

На многих ксилогравюрах и картинах можно увидеть изображения могучих идолов, но они

выдуманы Гогеном, на Таити ничего похожего не было.



62.

Три таитянки на желтом фоне. 1899 (Три таитянские женщины на желтом фоне, Эрмитаж, инв. №

7708). У Гогена на разных картинах можно увидеть одни и те же лица. Эти фигуры есть и на «Фаа

Ихеихе».



34.

Гоген в своей мастерской на улице Версинжеторикс в начале 1894 г. Слева стоят Вильям Молар и

«яванка» Анна.

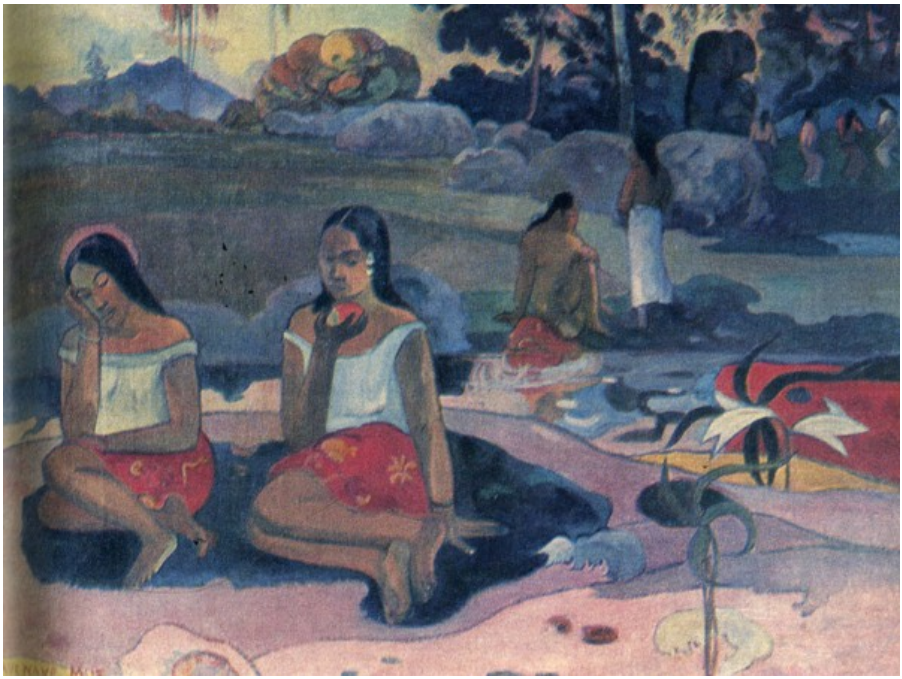


35. Когда Гоген вернулся на

Таити, Анна успешно продолжала работать моделью в Париже. В частности, она позировала для

Альфонса Мухи, который и сделал этот снимок примерно в 1898 г. Фотография любезно

предоставлена Иржи Мухой, живущим в Праге.



24.

Наве наве моэ. Сладкая дремота. 1894 (Чудесный источник. Эрмитаж, инв. № 6510). Эту типичную

таитянскую вещь Гоген написал во Франции после первой поездки на Таити. Лишнее

свидетельство того, как мало он зависел от внешних импульсов и как он черпал вдохновение в

мысленных образах.

ГЛАВА VII. На ложном пути

Иллюстрации были готовы, главы для книги написаны, и теперь ничто не удерживало

Гогена в Париже. Благодаря наследству он, в виде исключения, мог делать что захочется.

Казалось бы, самое подходящее время отправиться в Копенгаген и поговорить начистоту с

Метте. Поступи он так, они, наверно, помирились бы. К сожалению, Гоген никак не мог

заставить себя сделать первый шаг. Или просто решил отложить свое покаянное

путешествие до лета, когда у детей будут каникулы и он сможет увезти всю семью на

какой-нибудь красивый тихий курорт подальше от Копенгагена и чопорных родственников

Метте. Мы не знаем, что он думал в глубине души. Во всяком случае, когда Гоген в начале

мая 1894 года, напоследок еще раз призвав Мориса поскорее закончить свои лирические и

критические главы для «Ноа Ноа», покинул Париж, поезд увез его не на север, а в Бретань.

Заодно он совершил еще одну глупость, взяв с собой Анну, которая в свою очередь взяла с

собой обезьянку.

Гоген рассчитывал, что Мари Анри, его старая хозяйка в Лё Пульдю, и на этот раз

примет его с распростертыми объятиями. Но оказалось, что она продала свою гостиницу,

вышла замуж и переехала в другую деревню. И когда Гоген зашел к ней, чтобы вспомнить

былое, а кстати взять картины и скульптуры, которые оставил, поспешно покидая Лё

Пульдю в ноябре 1890 года, Мари наотрез отказалась вернуть их. Ее супруг смекнул, что

эти вещи если не сейчас, то в будущем станут ценными**136**. Возмущенный такой подлостью

Гоген пригрозил обратиться в суд, а так как она продолжала упираться, исполнил свою

угрозу.

Во всей округе из его старых друзей остался только Шарль Филижер. Он по-

прежнему писал мадонн и хроматические кубистские композиции, но стал настоящим

затворником и днем вообще не выходил из дому. И, к сожалению, в грязной холостяцкой

комнатушке, которую он снимал на уединенном хуторе, не было места для нежданных

гостей. Погостив немного у снимавшего дачу в Лё Пульдю польского художника Сливин-

ского, знакомого по ресторану мадам Шарлотты, Гоген отправился дальше в Понт-Авен.

Мадам Глоанек, которая расширила и модернизировала свой пансионат, приняла его куда

радушнее и с присущей ей услужливостью постаралась сделать все, чтобы ему, Анне и

обезьяне было хорошо. Большинство ее постояльцев, как и прежде, были художники с

моделями или женами, или без оных. Вскоре Гоген опять был окружен живописцами,

которые жадно и благоговейно слушали его речи, меж тем как увенчанные лаврами

«академики» с завистью косились на него и всячески прохаживались по его адресу.

Самыми внимательными слушателями Гогена были Мортимер Менпес и

тридцатичетырехлетний ирландец Родерик О'Конор, а также молодой и одаренный

французский художник Арман Сегэн. Вот что сообщает о себе сам Менпес: «Живописец,

гравер, острослов и стрелок, родился в Австралии, в среде, далекой от искусства.

Образование: номинально - средняя классическая школа в Аделаиде, действительно -

школа жизни, по собственной системе. Его карьера живописца началась, когда ему

исполнился год, продолжает писать до сих пор. На его счету больше персональных

выставок в Лондоне, чем у любого из ныне здравствующих художников; в том числе

выставки «Красивые женщины» и «Красивые дети»**137**.

Дочь Менпеса делится впечатлениями о жизни в пансионате мадам Ле Глоанек в те

годы: «Художники отпускали волосы и бороду. День за днем они носили одни и те же

испачканные красками старые вельветовые куртки, мятые широкополые шляпы, широкие

фланелевые рубахи и грубые деревянные сабо, выстланные соломой... В столовой...

косматые мужчины сидели по обе стороны длинного стола, накладывая себе пищу из

общей миски и макая огромные ломти хлеба в соус на своих тарелках... Три года, что он

(Мортимер Менпес) пребывал на этом духовном поле битвы, не прекращалась борьба

убеждений. Каждый был фанатически предан тому или иному модернистскому течению...

«Примитивисты» любили веселье. Их знаком отличия были трости с резьбой,

выполненные маори с Новой Зеландии. Трости вдохновляли их»**138**.

Родерик О'Конор, как и Менпес, родился в 1860 году. Вот вкратце его биография:

недоучившись в Англии, в 1881 году приехал в Антверпен, где занимался два года, после

чего попал в Париж. В 1889 и 1890 годах участвовал в

выставках «Салона независимых»,

причем во второй раз экспонировал целых десять произведений. В начале девяностых

годов каждое лето проводил в Понт-Авене. Одаренный художник, он, однако, плохо владел

выразительными средствами и сам это понимал. О'Конор был широко образован, начитан

в французской и английской литературе, хорошо знал латинскую древность. Он был

рьяный собиратель книг, с разбором скупал современную французскую живопись, а также

японские и индийские скульптуры. Он музицировал, но, кажется, его игра на скрипке мало

кого приводила в восторг. У О'Конора было достаточно денег, чтобы он мог пренебречь

невниманием со стороны торговцев картинами. Любимец женщин, он часто менял

любовниц, но всегда жил один и не позволял любви влиять на отношения с друзьями**139**.

Нетрудно понять, почему Гогену пришелся по душе ирландец и почему О'Конор в

свою очередь быстро стал таким же верным другом Гогена, как Сегэн, о котором мы

только и знаем, что он был не по годам развит, одарен, впечатлителен - и беден**140**. Нужно ли

подчеркивать, что они удивительно напоминали двух прежних любимых учеников Гогена -

Мейера де Хаана и Эмиля Бернара. Словом, внешне его жизнь в Понт-Авене мало чем

отличалась от той, которую он вел в Бретани в свои предыдущие приезды. На деле же все

было иначе, ведь позади было столько провалов, а впереди - столько проблем. Он писал

мало и неудачно, большую часть времени бесцельно бродил по полям и дорогам.

Двадцать пятого мая Гоген вместе с Сегэном, О'Конором и Жордэном, тоже

художником, отправился за пятнадцать километров в маленький рыбацкий поселок

Конкарно; с ними были и дамы. Но здешние жители, в отличие от поднаторевших в

вопросах культуры понтавенцев, еще не привыкли к зрелищу причудливо выряженных

художников и моделей. И вскоре за четырьмя парами уже

тянулся хвост ехидных
мальчишек. Да и моряки не удержались от громких язвительных замечаний, когда
компания шла мимо одного из многочисленных кабачков на набережной. Жордэн
предложил пойти другим путем. Гоген показал на узкий переулочек и презрительно
сказал:
- Ступай туда, если боишься.
Этого было достаточно, Жордэн умолк.
А мальчишки становились все нахальнее. Видимо, Анна их раздразнила, показав язык,
потому что на компанию Гогена вдруг посыпались камни. Сегэн поймал одного озорника и
надрал ему уши. На беду в кабаке поблизости сидел отец шалопая. Обуреваемый
родительскими чувствами, он выскочил на улицу и ударил Сегэна. Гоген не мешкая
бросился на помощь товарищу и точным ударом поверг буяна на землю. Но
собутыльникам пострадавшего тоже было знакомо чувство товарищества, и они
вмешались в игру. Сегэн не обладал ни силой, ни боксерским талантом Гогена; он так
перетрусил, что прямо в одежде прыгнул с пристани в воду. Зато Гоген, О'Конор и Жордэн
бросились в яростное контрнаступление и, наверно, победили бы, не получи противник
подкрепление из трактиров. Враг не пощадил и кричавшую благим матом Анну, хотя
остальные женщины храбро пытались ее защитить. Тут Гоген споткнулся и упал. На него
обрушились пинки, а он почему-то не оборонялся и даже не сделал попытки встать. В
конце концов атакующие поняли, что зашли слишком далеко, и поспешили скрыться в
переулках.
Когда подоспели жандармы, Гоген лежал все в том же положении на земле. Он был в
полном сознании и сам рассказал, что с ним. У него был открытый перелом правой ноги
как раз над лодыжкой. О'Конору и Жордэну тоже крепко досталось. Подруге Сегэна
повредили ребро. Остальные дамы благодаря прочным

корсетам из китового уса

отделались испугом.

Раздобыв двуколку, опечаленная и окровавленная компания повезла своего,

поверженного вождя обратно в Понт-Авен. Вызвали врача, до он мог только наложить

тугую повязку на сломанную ногу и прописать на несколько месяцев полный покой.

Однако ноющая боль не давала Гогену уснуть, и он был вынужден вскоре снова

обратиться к врачу, чтобы тот сделал ему укол морфия. Больше двух месяцев он чуть не

ежедневно заглушал боли морфием и алкоголем, чтобы хоть на часок-другой забыться.

Несмотря на риск потревожить рану, пренебрегая тяготами пути, Гоген 23 августа

отправился за тридцать километров в Кенпер, где местный суд вынес приговор забиякам,

из которых полиции почему-то удалось схватить только двоих - лоцмана Собана и рыбака

Монфора. Из сохранившегося протокола видно, что их обвиняли в «намеренном избиении

мсье Поля Гогена, каковое избиение повлекло за собой телесные повреждения и

нетрудоспособность на срок более двадцати дней». Гоген требовал десять тысяч франков в

возмещение ущерба. К его великому негодованию, суд уменьшил эту сумму до шестисот

франков - даже не рассчитаться с врачом и адвокатом. Собан получил всего восемь суток

тюрьмы, «поскольку не доказано неопровержимо, что Собан ответствен за тяжелый

перелом ноги мсье Гогена». Монфера начисто оправдали**141**.

Гоген справедливо назвал приговор «смехотворно мягким». Несколько дней спустя он

в письме Вильяму Молару объяснил снисходительность судей тем, что «эти негодяи из

Конкарно - избиратели, а напавший на меня тип дружит с республиканскими властями». У

него был только один способ отомстить, и он с жаром просил Молара передать Жюльену

Леклерку (который в эти дни бесплатно занимал квартиру Гогена на улице

Версенжеторикс и несомненно был перед ним в долгу), чтобы

он убедил «Эко де Пари»

или еще какую-нибудь видную газету напечатать «резкую статью о Кенперском суде».

В том же письме Гоген сообщал Молару, что окончательно принял решение, которое

его друзья предвидели и которого так опасались. «В декабре я вернусь (в Париж), чтобы

продать свое имущество, либо сразу, либо по частям. Собрав нужный капитал, я снова

отправлюсь в Южные моря, на этот раз с двумя друзьями, Сегэном и одним ирландцем.

Возражать мне нет смысла. Ничто не помешает мне уехать, и я останусь там навсегда.

Жизнь в Европе - какой идиотизм!»**142**. О его отчаянии и трогательных иллюзиях еще ярче

говорят слова, в которых он изложил эту новость Даниелю де Монфреду: «Если все будет

в порядке, я уеду в феврале (1895 года). И тогда я смогу закончить свои дни свободным

человеком, мирно, без тревоги за будущее, и не надо больше воевать с болванами... Писать

не буду, разве что для своего удовольствия. У меня будет деревянный резной дом»**143**.

На этот раз надежды Гогена обрести подлинный рай на земле в какой-то мере были

оправданны, ведь он задумал ехать на Самоа, где островитяне все еще жили по старинке.

Ему с самого начала надо было отправиться туда, а не на Таити**144**.

Но Метте он ни словом не обмолвился о своем важном решении, которое разом

меняло все их будущее. Из этого яснее всего видно, сколько горечи и озлобления он

накопил против нее. Горечь объяснялась прежде всего тем, что за все время его долгого и

мучительного выздоровления она ни разу ему не написала, хотя превосходно знала о

случившемся. Конечно, в ее защиту можно сказать, что, прекращая переписку, она всего

лишь выполняла его же приказ. К тому же Метте проведала о похождениях Поля с Анной,

и это возмутило ее не меньше, чем отсутствие обещанных денег. Все-таки после

несчастного случая в Конкарно настал ее черед сделать

первый шаг к примирению.

Несколько ласковых и ободряющих слов, конечно, смягчили бы Поля. Увы, она, как всегда,

не могла поступиться своей гордостью: так погибла последняя надежда наладить их брак.

Гоген не мог тотчас уехать из Понт-Авена по двум причинам, - во-первых, он еще был

слишком слаб и немощен, во-вторых, ему нужно было дождаться конца другого процесса -

против Мари Анри. Но Анне вовсе не улыбалось торчать еще несколько месяцев в этой

скучной деревне, ей вообще давно опостылела однообразная жизнь и роль сиделки. А

Гогену осточертели ее капризы и кислые мины, поэтому он не раздумывая пошел ей

навстречу, когда она попросила денег на билет до Парижа; он был даже рад столь легко и

дешево отделаться от нее.

Четырнадцатого ноября Кенперский суд вынес приговор по второму делу и опять

проявил возмутительную пристрастность в пользу местных избирателей. Иск Гогена был

отвергнут, ему вменили в обязанность оплатить судебные расходы противной стороны.

Основание - уезжая в ноябре 1890 года из Лё Пульдю, Гоген не взял никакой расписки с

Мари Анри, а значит, его больше не интересовали произведения, которые он оставил**145**.

Злой и угрюмый, он первым поездом отправился в Париж. Вряд ли ему стало легче, когда

он, войдя в мастерскую на улице Версенжеторикс, увидел, что Анна забрала все ценное,

кроме картин и других произведений искусства. И еще одна неприятность: Морис не

закончил своих глав для «Ноа Ноа» и не мог ответить, когда они будут написаны.

Торопясь уехать, Гоген решил продать все свои картины с торгов, как он это успешно

проделал перед первой поездкой на Таити. Морис еще раз взялся за трудную задачу -

убедить своих друзей и коллег в газетных редакциях устроить Полю бесплатную рекламу,

а сам Гоген принялся искать какое-нибудь известное и влиятельное лицо, которое

поделилось бы с ним своим весом и славой, написав предисловие к его каталогу. Среди

многочисленных друзей Иды и Вильяма Молар он нашел подходящего человека - Августа

Стриндберга.

Стриндберг приехал в Париж в августе 1894 года, а уже в середине декабря, после

премьеры «Отца» (которую Гоген видел), его имя было у всех на устах. Еще сильнее

«голубоглазый варвар» пленил парижан, когда распространилась молва, что он делает

золото, а «Ревю Бланш» поместил написанный им большой очерк «Зоология женщины», в

котором Стриндберг, прилежно цитируя ученые труды, с плохо скрываемым ехидством

доказывал, что женщина безнадежно уступает в умственном развитии мужчине. Хотя

Стриндберг, придя в первый раз к Моларам (он знал Иду по Стокгольму), сторонился всех

и просил хозяев объяснить присутствующим, что он не знает ни слова по-французски, он

очень скоро поднялся с Гогеном наверх и обрел там дар речи.

Высшей точки слава Стриндберга достигла после того, как в середине января 1895

года он напечатал еще более яростный выпад против женщин - «Самооправдание

глупца»**146**. Как раз в это время Гоген искал автора для предисловия к своему каталогу.

Торги были назначены на 18 февраля. Почти весь январь Август Стриндберг лечился в

одном из французских госпиталей от кожного заболевания, но тридцать первого числа он

вышел из больницы, и в тот же день Гоген пригласил его к себе в мастерскую, где, улучив

миг, попросил помочь. На следующий день Стриндберг написал ему длинное письмо,

которое начиналось совсем неутешительно:

«Мой дорогой Гоген!

Вы настаиваете на том, чтобы я написал предисловие к вашему каталогу, в память о

наших встречах зимой 1894/95 года здесь, за Институтом, недалеко от Пантеона и совсем

близко от Монпарнасского кладбища.

Я охотно вручил бы вам такой подарок, чтобы вы увезли

память о нем в Южные моря,

куда вы отправляетесь искать среду, гармонирующую с вашей могучей фигурой, но

чувствую, что с самого начала попал в ложное положение, и потому сразу отвечаю на вашу

просьбу: «Не могу» - или, еще грубее: «Не хочу».

И Стриндберг столь же откровенно объясняет отказ.

«Я не в состоянии понять и одобрить ваше творчество. (Мне ничего не говорит ваше

творчество, которое теперь стало насквозь таитянским.) Но я знаю, что это признание вас

не удивит и не обидит, потому что ненависть других вас как будто только закаляет, и вашей

свободолюбивой натуре по душе людская неприязнь. Вероятно, вы правы, ибо с той

минуты, как вас начнут ценить, начнут вами восхищаться, следовать вашему примеру,

группировать и классифицировать вас, с этой самой минуты ваше творчество снабдят

ярлыком, который для молодых через пять лет станет синонимом устаревшего

направления, и они изо всех сил будут стараться изобразить его совсем старомодным.

Я сам серьезно пытался вас квалифицировать, определить ваше место в цепи, понять

ваше развитие, - но все мои усилия были тщетными».

Кратко рассказав о своих неудачных попытках объяснить импрессионизм читателям

шведских газет, Стриндберг продолжает:

«В разгар агонии натурализма было, однако, имя, которое все называли с

восхищением: Пюви де Шаванн. Одинокий, непохожий на других, он писал с

убежденностью верующего, но в то же время считался с пристрастием современной ему

публики к намекам. (Тогда еще не знали термина «символизм», которым так неудачно

обозначают древний феномен - аллегорию.)

К нему, к Пюви де Шаванну, обратились мои мысли вчера, когда я под нежные звуки

мандолины и гитары рассматривал полные солнца картины на стенах вашей мастерской, и

воспоминание о них всю ночь преследовало меня во сне. Я видел деревья, которых ни

один ботаник не найдет в природе, животных, превосходящих все, что мог вообразить

Кювье, людей, которых вы один могли создать. Я видел море, которое словно вышло из

вулкана, небо, в котором ни один бог не может обитать. «Мсье, - говорил я в моем сне, - вы

сотворили новую землю и новое небо, но мне неуютно в созданном вами мире, там

слишком солнечно для меня, обожающего сумерки. Да еще в вашем раю живет Ева, не

отвечающая моему идеалу. Да-да, у меня тоже есть идеал женщины, а то и два!»

Сегодня утром я пошел в Люксембургский музей, чтобы посмотреть вещи Шаванна, к

которым постоянно возвращались мои мысли. С большой симпатией смотрел я на

«Бедного рыбака», чей взгляд так пытливо ищет улов, призванный обеспечить ему любовь

и нежность его собирающей цветы жены и беспечного ребенка. Это прекрасно! Но тут же

меня возмутил терновый венец рыбака. Ибо я ненавижу Христа и терновые венцы! Мсье,

я ненавижу их, слышите? Я отвергаю этого жалкого бога, который покорно сносит удары.

Тогда уж лучше Вицлипуцли, пожирающий человеческие сердца при дневном свете. Но

Гоген создан не из ребра Шаванна, или Мане, или Бастьен-Лепажа.

Кто же он? Он - дикарь Гоген, ненавидящий ограничения цивилизации, своего рода

Титан, который завидует Творцу, а потом на досуге творит свое собственное маленькое

мироздание. Он - ребенок, ломающий свои игрушки, чтобы сделать из них другие, он

еретик, который бросает вызов и предпочитает видеть; нёбо красным, а не голубым, как

все остальные.

Честное слово, Похоже, что теперь, расписавшись, я в какой-то мере начинаю

понимать творчество Гогена!

Одного современного писателя упрекали за то, что он не изображает реальных людей,

а просто-напросто выдумывает своих героев. Просто-напросто!

Счастливого пути, мастер! Но возвращайтесь и обратитесь ко мне снова. Может быть,

к тому времени я научусь лучше понимать ваше творчество, и это позволит мне написать

дельное предисловие к новому каталогу в новом Отеле Друо. Ибо мне тоже все сильнее

хочется стать дикарем и сотворить новый мир.

Париж. Первое февраля 1895. *Август Стриндберг*».

Это было не совсем то, чего ожидал Гоген. Но вообще-то ответ Стриндберга был

интересным и занимательным, его похвала несомненна. И Гбген поместил письмо

целиком в каталоге, вместе со своим ответом**147**. Затем он поспешил заблаговременно

разослать каталог редакциям. Как и следовало ожидать, большинство ведущих газет и

журналов тотчас воспроизвело необычное предисловие.

К сожалению, одного рекламного трюка было мало, чтобы люди, которые всего

полтора года назад смеялись и отворачивались от его непонятных варварских полотен,

вдруг стали драться на торгах из-за тех же картин. Книга с толкованиями и комментариями

все еще не вышла. Повторное бегство пресыщенного цивилизацией художника в Южные

моря уже не было такой романтичной сенсацией, как в первый раз. И вообще зимой

1894/95 года парижанам было не до выставок и прочих культурных мероприятий. Во-

первых, анархисты, недавно убившие президента Сиди-Карно, терроризировали

французскую столицу так же беспощадно, как в наши дни - оасовцы. Во-вторых,

продолжал развиваться панамский скандал, и правительства сменялись так же часто, как

перед приходом к власти де Голля. А главное, всю нацию, как во времена Петэна,

всколыхнул и расколол на два лагеря приговор по делу Дрейфуса, вынесенный 19 декабря

1894 года. Где уж тут надеяться, что аукцион картин Гогена привлечет внимание и станет

крупным событием. И в самом деле, 18 февраля 1895 года в аукционном зале собралось

очень мало людей, и торг шел вяло. Гоген сделал

безрассудную попытку взвинтить

страсти, включившись в аукцион через подставных лиц. Но этот маневр кончился полным

крахом, потому что в большинстве случаев никто с ними не состязался, и вырос только

комиссионный сбор, который Гогену пришлось уплатить аукционерам. Из сорока семи

картин настоящие покупатели взяли только девять, причем две достались его самому

верному поклоннику - Дега.

Как обычно, Метте из газет и писем отлично знала, чем занят ее супруг.

Единственное, о чем ее не осведомили, - что четыре пятых формально проданных картин

приобрел он сам. А так как она из наследства все еще ничего не получила сверх первых

полутора тысяч франков, то не смогла удержаться и в довольно резком письме напомнила

ему, что у него есть жена и дети. Результат, конечно, был прямо противоположным тому,

которого она ожидала. Вместо того чтобы признать ее просьбу вполне естественной, Гоген

не замедлил придраться к тому, что Метте нарушила свое долгое молчание лишь из-за

денег. В приступе гнева он грубо ответил:

«Давай потолкуем. Нельзя не признать, что человек, переживший то, что пережил я

после моего возвращения, поневоле с грустью будет думать о жизни, семье и всем прочем.

1. Ты пишешь: обходись своими силами.

2. Дети - ничего не пишут.

3. Мне ломают ногу, мое здоровье подрывается, а от семьи - ни слова.

4. Зима была невыносимо долгой, и я, живя в одиночестве, тщетно пытался

одолеть *хронический* бронхит. Я буквально не могу жить без солнца.

При таких обстоятельствах и учитывая врагов, которых я нажил своей живописью, я

должен быть очень осторожен, чтобы не погибнуть окончательно. Я *не хочу* впасть в

крайнюю нищету в возрасте 47 лет, а мне это грозит. Если я буду повергнут на землю, на

свете не найдется *никого*, кто помог бы мне снова встать на

ноги. В твоих словах

«обходись своими силами» заложена глубокая мудрость. Я так и буду делать».

Все-таки совесть немного мучила Гогена, это видно из того, что в прощальном,

исполненном горечи письме он сказал неправду Метте о доходах от аукциона. По его

словам, он в итоге потерял четыреста шестьдесят четыре франка восемьдесят сантимов.

Но сохранившиеся документы показывают, что он *выручил* тысячу четыреста тридцать

франков два сантима**148**.

А так как у него, вероятно, еще оставалась немалая часть, если не половина, его

наследства, он мог сразу после аукциона отправиться в Полинезию. И чем быстрее, тем

лучше, потому что каждый лишний день в Париже съедал его маленький капитал, который

был ему так нужен на Самоа. Несмотря на это, проходили месяцы, а Гоген и не думал

собираться в путь.

Причина его странного поведения (которая выпала из поля зрения большинства

биографов, потому что Морис ошибочно сообщает, будто Гоген отплыл «ранней весной

1895 года») в том, что перед самым аукционом он снова заболел. У него пошла сыпь по

всему телу, и все, включая самого Гогена, признали, что она сифилитическая**149**. Способы

лечения были тогда не очень действенные, и прошло несколько месяцев, прежде чем он

заказал билет. И, должно быть, именно тревога за свое здоровье побудила его отказаться от

плана поехать на дикие острова Самоа, вместо этого он предпочел вернуться на Таити, где

был европейский госпиталь. Тот факт, что О'Конор и Сегэн то ли не могли, то ли не хотели

плыть с ним сразу, очевидно, тоже повлиял - все-таки плохо отправляться одному на

совершенно незнакомый остров, где белых было совсем мало, да и то почти сплошь

англичане и немцы.

Коротая дни перед отъездом, он сделал терракотовую скульптуру ростом в два с

лишним фута, которую назвал «Овири». К новой скульптуре это название подходило

лучше, чем к его гипсовому автопортрету, потому что она изображала обнаженную

женщину со страшным круглоглазым черепом; дикарка стояла на волчице и прижимала к

себе щенка. Эту скульптуру, которую один видный знаток назвал его «высшим

достижением в керамике», Гоген представил на весенний салон Национального общества

изящных искусств, где она тотчас была отвергнута**150**. Тогда он написал в «Суар» два

открытых письма, резко критикуя Общество, Академию и ее нового директора Ружона.

Но куда интереснее большое интервью с Гогеном, напечатанное в «Эко де Пари». Его

стоит привести целиком, не только потому, что оно еще нигде не воспроизводилось, но и

потому, что оно позволяет судить о его личности и творческих взглядах. Вот что писал

ведущий репортер газеты в номере от 13 мая 1895 года:

« *Искусство живописи и живописцы*

Мсье Поль Гоген

Он самый буйный изо всех новаторов и тот из «непонятных» художников, который

меньше всего склонен к компромиссам. Многие из тех, кто его *открыл*, отступились от

него. Для подав ляющего большинства он шарлатан. А сам он спокойно продолжает

писать оранжевые реки и красных собак, с каждым днем все сильнее склоняясь к этой

своей личной *манере*.

Гоген сложен, как Геркулес, его седые волосы вьются, у него энергичное лицо, ясный

взгляд, и когда он улыбается своей особенной улыбкой, вид у него одновременно добрый,

застенчивый и иронический.

- Что означает, собственно, это выражение: копировать природу? - спрашивает он

меня, вызывающе расправляя плечи. - Следуйте примеру мастеров, говорят нам. А зачем?

Почему мы должны следовать их примеру? Ведь они только потому и мастера, что никому

не подражали. Бугеро говорил о женщинах, переливающихся

всеми цветами радуги, и он

отрицает голубые тени. С таким же успехом можно отрицать коричневые тени, какие он

сам пишет, но чего никак нельзя отрицать - его полотна лишены всякого блеска.

Возможно, он блестел сам - от пота, когда писал свои картины, потому что лез из кожи

вон, рабски копируя видимость предметов, пытаясь чего-то добиться в области, где,

несмотря на все его старания, его превзошла фотография. Но кто потеет, от того дурно

пахнет, его безвкусие и бездарность можно учуять издалека. В конечном счете,

существуют или нет голубые тени - роли не играет. Если художник завтра решит, что тени

должны быть розовыми или фиолетовыми, нелепо с ним спорить, пока произведение

гармонично и будит мысль.

- Значит, ваши красные собаки и розовые небеса...

- ... преднамеренны, да-да, преднамеренны. Они необходимы. Все элементы моих

картин заранее взвешены и продуманы. Как в музыкальной композиции, если хотите. Мои

бесхитростные мотивы, которые я черпаю в повседневной жизни или в природе, - только

предлог, а симфонии и гармонии я создаю, особым образом организуя линии и краски. У

них нет никакого соответствия с действительностью, если употреблять это слово в

вульгарном смысле, они не выражают прямо никакой идеи. У них одна только задача -

подстегивать воображение таинственным воздействием на наш мозг определенного

сочетания красок и линии; ведь и музыка это делает без помощи каких-либо идей или

образов.

- Гм, это какие-то новые теории!

- Ничего тут нового нет! - с жаром восклицает мсье Гоген. - Все великие художники

всегда поступали так же. Рафаэль, Рембрандт, Веласкес, Боттичелли, Кранах - все они

преображали природу. Пойдите в Лувр, посмотрите на их картины, и вы увидите, до чего

они разные. Допустим, кто-то из них писал по вашей теории,

то есть отображал

действительность, но тогда все остальные либо допускали грубые ошибки, либо надували

нас. Если вы требуете от произведения искусства полной реалистичности, то ни

Рембрандт, ни Рафаэль не добились этого, и то же можно сказать про Боттичелли или

Бугеро. Хотите знать, какой род искусства скоро превзойдет точностью все остальные?

Фотография, как только окажется возможным передать цвета, а это будет скоро. А вы

хотите, чтобы разумное существо месяцами трудилось ради такой же иллюзии реальности,

какую дает маленькая хитроумная машина! То же самое со скульптурой. Сейчас уже

можно изготовлять безупречные отливки. Искусный литейщик по первой просьбе легко

сделает вам статую Фальгиера.

- Итак, вы не хотите, чтобы вас называли революционером?

- Мне это выражение кажется смешным. Мсье Ружон применяет его ко мне. Я ответил

ему, что так можно сказать о любом художнике, отличном от своих предшественников.

Кстати, только таких художников можно назвать настоящими мастерами. Мане - мастер, и

Делакруа тоже. На первых порах их произведения считали отвратительными, над

фиолетовой лошадью Делакруа смеялись до упаду - кстати, я тщетно искал ее на его

картинах. Но такова публика. Я примирился с мыслью, что долго буду оставаться

непонятым. Если бы я создал что-то, что другие создали до меня, я был бы в собственных

глазах пустым плагиатором. Но когда я стараюсь придумать что-то новое, меня презирают.

Ну так я предпочитаю быть презренной личностью, чем плагиатором.

Многие образованные люди считают, что, поскольку греки в своем ваянии воплотили

высшее совершенство и красоту, а художники Ренессанса достигли того же в живописи,

нам остается только подражать им. Эти же люди договариваются до того, что

пластические искусства вообще исчерпали свои

выразительные возможности!

Но это в корне ошибочно. Красота вечна, и она может облекаться в тысячу форм. У

средневековья был свой идеал красоты, у Египта свой. Греки добивались полной гармонии

человеческого тела, у Рафаэля были прекрасные модели. Но можно создать полноценное

произведение, даже если модель страшна как грех. В Лувре сколько угодно таких вещей.

- Для чего вы совершили ваше путешествие на Таити?

- Я был однажды очарован этим идиллическим островом и его простыми,

примитивными людьми. Поэтому я туда вернулся и собираюсь теперь вернуться еще раз**151**.

Чтобы творить что-то новое, надо обращаться к истокам, к детству человечества. У моей

Евы почти животные черты. Поэтому она целомудренна, несмотря на свою наготу. А все

Венеры в Салоне непристойны, отвратительно похотливы. Мсье Гоген замолчал и с

выражением какого-то экстаза на лице обратил взгляд на висящую на стене картину,

которая изображала таитянок в дебрях. Через минуту он продолжал:

- Прежде чем уехать, я в сотрудничестве с моим другом Шарлем Морисом издам

книгу о моей жизни на Таити и о моих творческих взглядах. Морис комментирует в стихах

произведения, которые я привез с собой. Так что книга объяснит, почему и зачем я туда

ездил.

- Как будет называться книга?

- *Ноаноа* - это таитянское слово, оно означает «благоухающий». Другими словами, это

будет книга о том, что источает Таити.

Эжен Тардье».

Между тем Морис, невзирая на все напоминания, до сих пор сдал только часть своего

критического разбора и лирических стихов для «Ноа Ноа», и было ясно, что летом книга

не выйдет. И Гоген срочно снял копию с готовых глав, чтобы не пропали его зимние труды,

если Морис, от которого всего можно было ожидать, ухитрится после его отплытия

потерять оригинал. Вообще копия была ему нужна - вдруг Морис предложит какие-нибудь

поправки**152**. В последнюю минуту Морис попытался хоть как-то исправить свою

нерадивость, поместив 28 июня 1895 года в вечерней газете «Суар» длинную прощальную

статью, которая во многом оказалась пророческой. Вот что он писал под скромным

заголовком «Отъезд Гогена»:

«Если бы не наша привычка - и до чего же эта привычка укоренилась - все

переворачивать вверх ногами и с дьявольским упорством всегда делать не то, чего требует

разум и справедливость, наверно, в эту минуту несколько больше людей, вместо того

чтобы упиваться последними сплетнями о похождениях мадмуазель Отеро, думали бы об

этом художнике, который бежит добровольно, бежит навсегда от нашей цивилизации.

И все же я достаточно милосерден, я верю, что в разгар фривольных ночных сборищ в

Париже найдется хоть несколько человек, готовых уделить пять минут серьезным

вопросам, и меня, во всяком случае, извиняет то, что я говорю о злободневных вещах.

Завтра большой художник покидает Париж и Францию, не надеясь вернуться,

большой художник, которому противен «воздух, полный газа и патоки» (пользуясь

выражением Теофиля Готье), коим мы здесь, на Западе, обречены дышать... Что бы ни

думали все те превосходные люди, которые столь пылко восхищаются чудесами наших

дней и приходят в экстаз при одном слове «прогресс», факт остается фактом: в

соответствии с правилом, изложенным мною в начале статьи и гласящим что мы всегда и

при всех обстоятельствах действуем прямо вопреки разуму, для лиц, родившихся на свет с

талантом и наделенных честолюбием и творческим порывом, почти невозможно

осуществить свое призвание в нашем обществе. Все им препятствует, включая неприязнь

власть имущих и ненависть посредственностей... Так с какой

стати требовать от него,

чтобы он продолжал мириться с нелепыми и несправедливыми условиями, если можно от

них избавиться? Раз он не может рассчитывать на поддержку общества, которое

благоволит только богатым, он не может и служить ему. Ведь это факт, что ему закрыли

вход во все официальные салоны искусств и отказались использовать его творческий

гений. Зачем же оставаться здесь?

Там (в Южных морях), где можно прожить на гроши, а материал и земля вообще

ничего не стоят, там он создаст величественные памятники, которые, возможно, будут

когда-нибудь открыты удивленными путешественниками. И наступит день, когда его

творения, стоящие на площади какой-нибудь таитянской деревни, на берегу моря,

окаймленного белопенными коралловыми рифами, примутся собирать и ценой немалых

расходов отправлять домой, во Францию, в страну, которая отказала одному из

крупнейших французских художников нашего века в праве создавать эти самые творения...

Как ни тяжка для меня эта разлука, я рад случаю указать на урок, который можно

извлечь из этого события, на предупреждение, которое вытекает из него для официальных

судей мира искусства. Это важный эпизод в беспощадной воине, объявленной истинными

художниками тем, кто помыкает искусством и кто - по какому праву? - ими управляет.

Видя, как такой художник вынужден отправляться за тридевять земель, чтобы жить и

быть свободным, неужели вы и впредь останетесь глухи к протесту его и всего молодого

поколения, протесту против людей и произведений, которым вы аплодируете? Известно

вам, что это молодое поколение, которое когда-нибудь бросит вам в лицо вполне

заслуженное вами обвинение, *даже перестало смеяться* над Бонна, Жеромом и Бугеро?

Шарль Морис».

С присущей ему нелюбовью к сентиментальным и

мелодраматическим сценам Гоген

запретил друзьям провожать его. Это касалось даже Мориса, который столько для него

сделал, и преданных учеников - Сегэна и О'Конора, собиравшихся последовать за ним

чуть ли не со следующим пароходом. Его самый верный и надежный друг, Даниель де

Монфред, еще в середине мая уехал из Парижа. Не менее твердо Гоген решил, что

последний «четверг» у него в мастерской должен пройти как обычно. Так и было, если не

считать маленького исключения, о котором рассказывает Юдифь Эриксон-Молар:

«Одетый в одно из моих платьев, напудренный мукой, глаза подведены углем, Пако в

последний раз жалобным голосом исполнил грустные песни Малаги. Он пел, но его пение

больше всего походило на дым курений над курильницей. Его лаван-дово-голубые глаза

блестели от слез и казались аметистами. Они были устремлены на Гогена, который стоял

перед камином и гладил пальцами каракулевые отвороты своей куртки, и дуга,

образованная бровями Пако, чуть вздрагивала.

Когда я, совершенно убитая, в последний раз подала чай и разложенный на больших

створках жемчужниц кекс, дикарские инстинкты Гогена взяли верх. Предвкушая радость

возвращения в свою стихию, он исполнил танец упаупа:

«Упаупа Тахити

упаупа фаафуру, э-э-э!»

В знак благодарности и чтобы оставить Юдифи несомненно заслуженное ею красивое

воспоминание, Гоген вечером накануне отъезда повел ее в театр Монпарнас на

«Корневильские колокола». Но после столь явной демонстрации особого расположения к

ней, он, естественно, не мог отказать Юдифи в праве проводить его на поезд. Разумеется,

ее сопровождали мать и отчим. В последнюю минуту вынырнул по-собачьи преданный

своему учителю Пако и, невзирая на яростные возражения Гогена, буквально прилип к

нему. Так что Гогену, как ни старался он этого избежать,

навязали чувствительную сцену

на перроне, со слезами, объятиями и банальными фразами.

Словом, его отъезд был таким же неудачным, как все его долгое пребывание во Франции.



23.

Pastorales tahitiennes. Таитянские пасторали. 1893 (Таитянские пасторали. Эрмитаж, инв. № 9119).

Очень похожа на экспонируемую в Лувре картину «Ареа-реа» - «Развлечение» или

«Удовольствие». Женщина справа играет на флейте на таитянский лад.

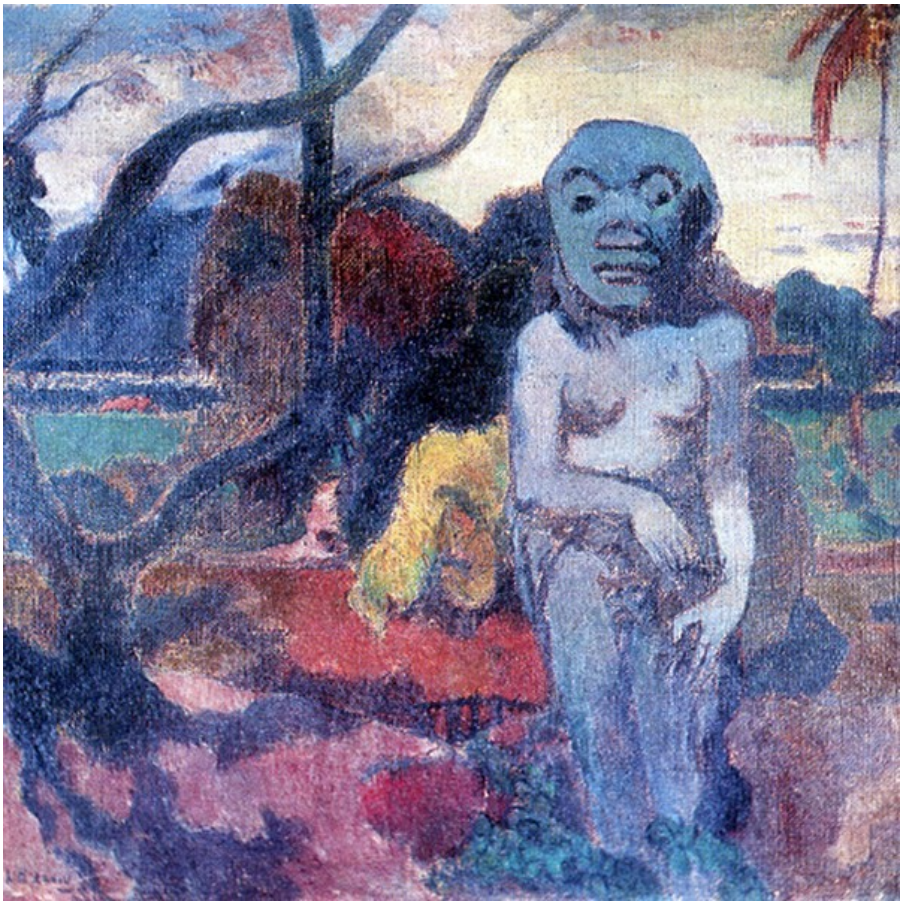


25.

Эиаха охипа. Не работай. 1896 (Таитяне в комнате. ГМИИ, инв. № 3267). Наверно, Гоген

подразумевал «безделье, отдых». Скорее всего, изображены соседки, которые навещали его в

мастерской в Пунаауиа. Картину можно сопоставить с «Те рериоа» (1897), упоминаемой в книге.



43.

Раве те хити ааму. 1898 (Идол, Эрмитаж, инв. № 9121). К сожалению, здесь Гоген сделал в

названии столько ошибок, что нельзя понять смысл. Во всяком случае, картина изображает идола,

которого Гоген сперва исполнил в керамике во Франции (1895) и назвал «Овири» - «Дикарка». Этой

скульптурой Гоген так дорожил, что однажды выразил желание, чтобы ее поставили на его могиле.



52.

В ресторане на Таити я увидел девушку, до того похожую на таитянку с картины Гогена Вахине но

те ви, что попросил ее позировать для этой фотографии, - Б.Д.

ГЛАВА VIII. Повторение

Теперь у Гогена не было официальной миссии, и он не мог рассчитывать на скидку на

судах государственного пароходства «Мессажери Маритим». И все-таки он предпочел не

более короткий и интересный маршрут через Америку, а как и четыре года назад, путь

через Суэц и Австралию; дольше, зато дешевле. Правда, на этот раз он не стал плыть до

Нумеа, где рисковал застрять на несколько недель, если не месяцев, а предусмотрительно

сошел на берег в Сиднее, куда «Австралия», на которую он сел в Марселе, прибыла 5

августа. Здесь Гоген, как и рассчитывал, сразу попал на судно, идущее в Окленд; оттуда

небольшой новозеландский пассажирско-грузовой пароход «Ричмонд» раз в месяц

отправлялся в круговое плавание, заходя на Самоа, Раротонгу, Раиатеа и Таити. Но на

«Ричмонд» он не поспел, и пришлось ему три недели с лишним ждать в Окленде

следующего рейса. Это были неприятные недели: август в

Новой Зеландии самый
холодный зимний месяц, а топили в отелях скверно. Не зная никого из местных жителей и
очень плохо объясняясь по-английски, Гоген чувствовал себя совсем заброшенным и
одиноким. Когда же он наконец двинулся дальше, ему пришлось еще хуже. Правда, на этот
раз причина оказалась прямо противоположной: на «Ричмонде», с его железным корпусом
и никудышной вентиляцией, было невыносимо тесно и жарко, а качало почти так же, как
на старике «Вире», перед которым у него было только одно преимущество - «Ричмонд»
шел несколько быстрее, развивая до восьми узлов. Несмотря на встречный пассат, уже
через одиннадцать дней, 8 сентября 1895 года, пароход вошел в лагуну Папеэте и, как все
коммерческие суда, причалил к деревянной пристани в восточной части залива**153**.

В отличие от 1891 года, Гоген, сойдя на берег, не привлек ничьего внимания. Его уже
знали, и местные европейцы вынесли ему свой приговор. Но будь даже Гоген совсем
новым лицом, им бы все равно пренебрегли, потому что предыдущее судно доставило
другого, гораздо более примечательного француза, которого все жаждали встретить и
видеть почетным гостем на своих приемах. Это был экс-губернатор Исидор Шессе;
снабженный громким титулом «генерального комиссара», он прибыл на Таити с особым
поручением**154**. Уже тем, что Шессе взял на себя это поручение, он заслужил роскошный
титул, ибо дело было чрезвычайно трудным. От него требовалось ни много ни мало, чтобы
он быстро и не прибегая к насилию решил задачу, с которой не справились многие
губернаторы, в том числе пронырливый Лакаскад, а именно - убедил жителей
подветренных островов архипелага Общества и, в частности, Раиатеа, лежащего в 120
милях к северо-западу от Таити, признать власть Франции. Поощряемые английскими
миссионерами-диссидентами, туземцы уже несколько

десятилетий упрямо поднимали
британский флаг и пели «Боже, храни королеву», хотя правительство Великобритании
давно сторговалось с французами и отказалось от всех притязаний на этот остров в обмен
на уступки в других частях Южных морей. К сожалению, при этом забыли спросить
островитян, а их отречение англичан ничуть бы не обескуражило. Это еще ничего, но в
1892 году, когда на Таити ввели пошлины на импорт, предприимчивые англосаксонские
купцы превратили Раиатеа в своего рода вольный порт, что повлекло за собой большой
ущерб для французских дельцов в Папеэте. Все еще не желая прибегать к оружию,
правительство Франции предприняло последнюю попытку решить дело миром и послало
Шессе, который пятнадцать лет назад, когда был губернатором Таити, проявил немалое
дипломатическое искусство, уговорив короля Помаре V отказаться от власти в обмен на
изрядную пенсию; кстати, она и помогла королю в рекордно короткий срок упиться до
смерти. Гоген прибыл всего месяцем позже генерального комиссара, когда торжественные
приемы в честь Шессе были в разгаре, причем поселенцы и правительственные
чиновники всячески старались перещеголять друг друга.

Гоген давно убедился, сколь низкого мнения жители Папеэте о художниках, и то, что
ему не шлют приглашений на приемы, его ничуть не удивляло и не огорчало. Но было
другое, что не могло не встревожить и не опечалить: на каждом шагу встречались новые
признаки цивилизации или деградации, в зависимости от того, с какой точки зрения
смотреть, европейской или таитянской. Особенно бросались в глаза большие
электрические угольные лампы, которые после захода солнца озаряли призрачным желтым
светом танцевальную площадку, «мясной рынок» и многие улицы, превращая всех
прохожих в китайцев. А самой шумной новинкой была огромная карусель; ловкий делец

установил ее перед пустующим королевским дворцом. Один современник, гораздо менее

Гогена восприимчивый к уродству, писал о ней:

«Эта штука, с ее паровой машиной и деревянными конями в яблоках, затмевающими

своей неестественностью всех прерафаэлитов, сама по себе выглядит достаточно

удручающе. Но посмотрите на людей. Торговые шхуны доставили их сюда с самых глухих

и уединенных островов. Представьте себе гордость мамаши с какого-нибудь захудалого

кораллового островка, которая год копила, чтобы привезти дочерей для «отделки» в эту

карликовую столицу, средоточие легкомыслия. Бедняжки, какое странное представление

они получат о цивилизации! Вот стайка робких смуглянок, стоя на зеленой лужайке, с

вожделением таращится на карусель. Хотите потешиться - купите несколько билетов и

раздайте этим простушкам. Деревянные кони совсем ручные, они не кусают и не

брыкаются. Если девушки прибыли с маленького островка, они не то что коня, вообще не

видели животного крупнее свиньи. Ничего, пускайте машину. Поехали - под дребезжащие

звуки «Мадам Анго», под свист и сопение паровых труб. О ужас! Одна из прелестниц

оказалась настолько неблагоразумной, что соскочила на ходу, и покатился по траве клубок

коричневых конечностей и черных волос. Две другие судорожно цепляются за коней, лица

- как мел. Четвертая, самая юная, плачет и зовет маму. Но вот машина остановилась, и их

ссаживают, довольных и потрясенных. Забавы фарани не менее ужасны, чем их пороки»**155**.

Еще более нелепо и неуместно выглядели многочисленные велосипедисты. Среди них

преобладали одетые по-спортивному французы, но и таитянки с развевающимися

платьями и волосами носились по ухабам и рытвинам. На газонах вокруг резиденции

губернатора правительственные чиновники увлеченно занимались другим модным

спортом, более подобающим джентльменам, а именно - лаун-

теннисом, который ввел на

острове энергичный начальник Управления внутренних дел Гюстав Галле. В искусстве и

культуре тоже произошел сдвиг, об этом говорило и регулярно печатаемое в

четырехполосном еженедельнике «Мессажер де Таити» объявление:

«ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА В КАЖДЫЙ ДОМ!

Нам доставляет удовольствие настоящим предложить нашим читателям четыре

превосходных олеографии знаменитых картин Ж.-М. Милле: «Анжелюс», «Сбор

колосьев», «Сеятель» и «Молодая пастушка», которые так превосходно изображают

сельскую жизнь на фоне, дышащем здоровой и свежей поэзией.

Каждый помнит долгие странствия «Анжелюса» - сперва в Америку, где за него было

предложено целое состояние, потом обратно во Францию, когда картину выкупили за 700

тысяч франков. И, конечно, каждый захочет получить настоящую *факсимильную*

репродукцию этой и трех других картин, которые, хотя и менее известны, вполне

заслуживают чести стоять с ней рядом.

Копии сами по себе являются произведениями искусства и где угодно привлекут

внимание. Их высота 42 сантиметра, ширина 52 сантиметра, и, чтобы получить их по

почте, достаточно уплатить вперед три франка за одну картину, пять франков за две или

девять за все четыре».

Судя по тому, что объявление не сходило со страниц еженедельника, дело было

выгодным; другими словами, в области удовлетворения потребностей горожан в духовной

пище у Гогена появился опасный конкурент. Где вы найдете дурака, который отдаст сотни

франков за картину какого-то мазилы, если можно получить превосходные репродукции

знаменитых шедевров по три франка штука?

Сытый по горло всеми этими «достижениями» цивилизации, Гоген воспользовался

неожиданно представившимся случаем на время бежать из

Папеэте. Оказалось, что новый
губернатор Таити, Папино, знал его друга Даниеля де Монфреда: они были из одного
департамента - Восточные Пиренеи во Франции. И губернатор Папино предложил Гогену
принять участие в задуманном Шессе походе на подветренные острова архипелага
Общества. Целью похода предусмотрительно избрали не Раиа-теа, а соседние острова
Хуахине и Бора Бора, жители которых гораздо приветливее относились к французам. Гоген
тотчас согласился. Вместе с Шессе, Папино и пятью-шестью правительственными
служащими он 26 сентября поднялся на борт военного корабля «Об». А так как французы
захватили с собой вдоволь красного вина и от правительниц упомянутых островов
потребовали только, чтобы те расписались на каких-то непонятных бумагах, их приняли
очень радушно. «Четыре дня и четыре ночи мы болтали, горланили, пели, настроение
бесподобное, праздничное, словно мы попали в Китеру», - сообщал Гоген Молару в
недавно обнаруженном письме. На Бора Бора королева в своей предупредительности
зашла так далеко, что, в соответствии с добрым старым полинезийским обычаем,
провозгласила на время праздника полную сексуальную свободу для всех женатых и
замужних. Гоген от души приветствовал это решение.
Но когда Папино послал своего человека на Раиатеа проверить, не поколебалась ли
решимость туземцев сопротивляться, его ожидало горькое разочарование. Жители Раиатеа
наотрез отказались пустить французов и заявили, что дадут отпор, если подгулявшие
завоеватели попробуют высадиться на остров. Шессе и Папино предпочли вернуться на
Таити, чтобы там разработать новую стратегию. В том же письме Гогена есть строки,
говорящие, что он не одобрял действия своих соотечественников: «Остается только силой
взять Раиатеа, но это совсем другое дело, потому что придется стрелять из пушек, жечь

хижины и убивать. Акт цивилизации, говорят мне. Не знаю, хватит ли у меня

любопытства, чтобы участвовать в этих боях. С одной стороны, заманчиво. Но в то же

время мне претит вся эта затея»**156**.

Видно, отвращение взяло верх, потому что тотчас после приезда в Папеэте 6 октября

Гоген решил осуществить мечту, которую лелеял еще в свой первый приезд на Таити:

перебраться на уединенные и примитивные Маркизские острова.

То ли Гогену стало противно при виде всех этих признаков «прогресса» в Папеэте, то

ли он еще в пути вынашивал новый план, во всяком случае, он решил не мешкая

осуществить свою давнюю мечту и отправиться на Маркизские острова. Видимо, Гоген не

сомневался, что там скорее, чем на Таити, обретет рай, ради которого вернулся в Южные

моря, потому что он задумал обосноваться на Маркизах навсегда. Это видно из письма

Вильяму Молару, которое он отправил уже через несколько дней после приезда в Папеэте:

«В следующем месяце я буду на Доминике, очаровательном островке в Маркизском

архипелаге, где можно прожить на гроши и я буду избавлен от европейцев. С моим

маленьким капиталом я построю себе хорошую мастерскую и заживу по-барски».

Ожидая шхуну, которая могла бы доставить его на Маркизские острова, Гоген

поселился в одном из меблированных бунгало мадам Шарбонье. Его лучший друг,

лейтенант Жено, давно перевелся в другую колонию, зато в числе соседей оказались двое

недавно приехавших судей, которых, не в пример большинству холостяков, занимали не

только *«вахине, ава э упа-упа»* - «женщины, вино и танцы», - но и литература и искусство.

Больше того, один из них, Эдуард Шарлье, на досуге занимался живописью, а другой,

Морис Оливен, сочинял замысловатые стихи в символистском духе, они даже вышли

отдельной книгой наряду с эксцентричным романом «На

кораллах», в котором несчастный

преследуемый двоеженец бежит в Южные моря и обретает там счастье, став

многоженцем[157]. В обществе столь приятных и радушных соседей Гоген, естественно, не

устоял против соблазна, и они стали вместе проводить вечера на танцевальной площадке и

«мясном рынке».

Шарлье и Оливен познакомили Гогена еще с одним чиновником, к которому он тотчас

проникся симпатией, хотя и по другим причинам. Это был темпераментный корсиканец

Жюль Агостини, с 1894 года возглавивший Управление общественных работ. Два

увлечения Агостини заинтересовали Гогена. Во-первых, корсиканец был страстным

любителем фотографии, а снимал он огромной неуклюжей камерой, с которой не мог

справляться в одиночку, поэтому Гоген охотно помогал ему носить и устанавливать ее. Во-

вторых, Агостини был неплохой этнограф-любитель и прилежно собирал материал для

своих работ об аккультурации на Таити, которые были напечатаны в научных изданиях,

когда он вернулся во Францию. Понятно, Гоген обрадовался, что есть с кем поговорить о

таитянской этнологии и мифологии. А в начале октября в Папеэте приехал новый молодой

почтмейстер Анри Лемассон и тоже привез с собой громоздкую фотокамеру. Втроем они

стали совершать фотоэкскурсии в окрестностях города[158].

Первым судном, с которым Гоген, вернувшись с Хуахине и Бора Бора, мог

отправиться на Маркизские острова, была вышедшая 28 октября из Папеэте маленькая

дряхлая шхуна водоизмещением всего пятьдесят одна тонна, где пассажирам предлагалось

независимо от погоды спать на палубе вместе со свиньями, козами и курами. Можно

понять Гогена, когда он не захотел плыть на такой посудине. Но уже 15 ноября вышла

другая шхуна водоизмещением сто двадцать семь тонн, то есть довольно большая по

местным понятиям, с крытыми помещениями, где

пассажирам было вполне уютно, если

не считать таких пустяков, как тараканы, крысы и тошнотворный запах старой копры**159**.

Тем не менее Гоген и на этот раз не поехал на свой обетованный остров. Вместо этого он

принялся искать на Таити подходящее место, чтобы построить себе хижину.

До нас не дошло никаких документов, где бы Гоген объяснял, почему он вдруг

передумал. Но в его письмах есть намеки, позволяющие предположить, что болезнь опять

обострилась, и он понял, что нуждается в серьезном лечении, которое мог получить только

на Таити. Какую-то роль сыграл, конечно, и тот неприятный факт, что Сегэн и О'Конор до

сих пор не только не приехали, но даже не написали ему, когда собираются прибыть.

Теперь точно установлено, что ни Сегэн, ни О'Конор не помышляли всерьез о том, чтобы

последовать за Гогеном на Таити. Сегэн незадолго перед смертью объяснил это коротко, но

ясно тем, что считал Гогена слишком большим деспотом**160**. О'Конор тоже боялся не

ужиться с Гогеном, если судить по приводимому Аланом Бруком разговору, предметом

которого было полученное от Гогена письмо: «Оно было слишком непристойным, чтобы

его обнародовать, речь шла, в частности, о наилучшей позе при половом сношении, а

потом я потерял письмо, когда немцы ограбили мой дом. Но интересным было то место,

где Гоген уговаривал О'Конора поскорее приехать к нему в Южные моря. Мне эта мысль

показалась превосходной, и я спросил: «Почему вы не поехали?» О'Конор негодующе

фыркнул: «Вы считаете, что я должен был поехать с таким человеком? »**161** Очевидно, Гоген

в глубине души знал, что напрасно ждет их. И, поразмыслив, он отказался от плана

навсегда уединиться на далеких Маркизских островах, где не с кем будет даже поговорить

об искусстве. Зная, как он нуждался в обществе, можно, наконец, предположить, что

благодаря новым друзьям он преотлично чувствовал себя на

Таити.

Гоген отрекся от мечты о Маркизских островах, но мечта о рае осталась. И он решил

осуществить ее, а для этого, так сказать, возможно точнее воспроизвести счастливую пору

1892-1893 годов, когда жил с Теха'аманой в Матаиеа. Но это не означало, что надо

возвращаться именно туда. Больше того, у него были по меньшей мере две веские

причины не делать этого. Во-первых, от Матаиеа было далеко до Папеэте, а у Гогена,

естественно, остались очень неприятные воспоминания о дорогостоящих пятичасовых

поездках в неудобном и трясучем дилижансе. Во-вторых, там было слишком много

цивилизации и дождей. И когда Гоген в ноябре 1895 года собрался покинуть Папеэте, он

остановил свой выбор на области Пунаауиа, в западной части Таити; места знакомые, он

проезжал здесь всякий раз, когда отправлялся из Матаиеа в город (см. карту 3). Выбор был

удачный, и большинство европейцев в наши дни следуют его примеру.

На этот раз Гоген задумал строить собственный дом, чтобы не морочить себе голову

квартирной платой. Увы, он (как и многие европейцы до и после него) быстро убедился,

что почти вся земля в области составляет коллективную собственность одного или

нескольких таитянских родов. И стойло завести речь о том, чтобы купить или арендовать

участок, непременно кто-нибудь из совладельцев начинал артачиться или его невозможно

было застать дома. В конце концов Гогену все-таки удалось в двенадцати с половиной

километрах от Папеэте найти участок на берегу (номер 6 на карте Папеэте),

принадлежащий французу, который согласился сдать его в аренду по вполне сходной цене.

Гораздо легче оказалось найти таитян, готовых за несколько десяток на вино и пиво

построить ему дом. Гоген заказал им овальную хижину из бамбука, с крышей из плетеных

бамбуковых листьев, копию той, что он снимал у Анани в

Матаиеа, и вряд ли строителям
понадобилось больше недели, чтобы справиться с его заказом. Правда, он ввел
усовершенствование: внутри разделил хижину пополам драпировкой, которую захватил из
мастерской на улице Версенжеторикс. В одной половине он поставил кровать, в другой -
мольберт. Обычно сквозь щели в бамбуковых стенах просачивается достаточно света и
можно обойтись без окон, но высокие казуарины, которые Гоген то ли не хотел, то ли не
мог срубить без разрешения хозяина, отбрасывали на дом густую тень, поэтому он в
крыше над мастерской сделал проем. В какой-то мере была осуществлена мечта о «резном
доме»: Гоген сделал несколько больших деревянных панно, которые развесил на стенах, а
два стояка тщательно и любовно обработал, превратив их в грозных идолов. Наверно
менее приятно было то, что дом, так уж совпало, стоял, как и в Матаиеа, посередине
между протестантской и католической церквами. Зато китайская лавка на этот раз была
гораздо ближе - через дорогу.

Как только хижина была построена, Гоген послал за Теха'аманой. Когда он уехал в
1893 году, она одно время работала служанкой у вождя Тетануи в Матаиеа, но быстро
выскочила замуж за веселого таитянина Ма'ари из сопредельной области Папара. И,
конечно, это не помешало ей по первому зову Коке тут же сесть в дилижанс и отправиться
в Пунаауиа. Увы, новый медовый месяц продлился всего неделю, да и то лишь потому, что
Гоген задарил Теха'аману красивыми стеклянными бусами и латунными брошками.

Причина, которая обратила ее в бегство и побудила впредь волей-неволей оставаться
верной своему супругу, была очень простой: в первый же день, вернее в первую ночь, она
обнаружила, что все тело ее Коке сплошь покрыто отвратительными гнойными язвами**160**.

После долгих поисков Гоген нашел в одной из соседних хижин не столь привередливую

девушку. Сам он сообщает, что его новой вахине было немногим больше тринадцати лет,

то есть столько же, сколько Теха'амане, когда они впервые познакомились. На самом деле

ей исполнилось четырнадцать с половиной. Она пришла в дом Гогена в январе 1896 года, а

в ее метрике, которую мне удалось разыскать, указана дата рождения 27 июня 1881 года.

Звали ее Пау'ура а Таи, но Гоген по-прежнему не различал глухое щелевое «х» и

таитянский горловой звук, поэтому во всех письмах он называет ее Пахура.

Пытаться повернуть время вспять - дело рискованное. Даже в самых благоприятных

случаях не удается сделать это до конца, потому что никому не дано два раза одинаково

чувствовать и реагировать. Пусть стимул тот же самый - человек с годами меняется. Так и

с Гогеном: связь с Пау'урой и отношения с другими жителями Пунаауиа не были полны

той восхитительной новизны, того восторга узнавания, который придавал такую прелесть

его жизни в Матаиеа. К тому же Пау'ура никак не могла равняться с Теха'аманой; все

(включая Гогена) считали ее глупой, ленивой и безалаберной. Со временем он обнаружил

и еще одно важное различие - Пау'ура не льнула к нему так, как Теха'амана. Местный

патриотизм очень развит на Таити, и для жителей Матаиеа выросшая в другой области

Теха'амана была чужой, поэтому она сильнее зависела от Гогена. А у Пау'уры кругом

жило множество родичей и друзей, она исчезала с восходом солнца и не всегда

возвращалась с заходом.

Между жизнью Гогена в Пунаауиа и в Матаиеа было только одно совпадение, но

лучше бы его не было: он и тут не миновал того, чего так стремился избежать - безденежья

и болезни. Особенно скверно было с деньгами. Как и в 1891 году, он перед отъездом из

Парижа поделил все свои непроданные картины между двумя малоизвестными

торговцами, Леви и Шоде, которые не могли похвастаться ни

обширной клиентурой, ни

большим оборотом. Неисправимый оптимист, он ждал, что они развернут бурную

деятельность и вскоре пришлют ему денег. Но результат и на этот раз был

обескураживающим, а если говорить о Леви, то попросту катастрофическим. В первом и

единственном письме, полученном от него Гогеном, вместо денег лежало извещение о

разрыве контракта.

До того как покинуть Париж, Гоген, кроме того, сумел убедить нескольких частных

коллекционеров взять у него в рассрочку картин на четыре тысячи триста франков.

Собирать платежи он уполномочил Вильяма Молара, так как на Мориса нельзя было

положиться, а добросовестный Даниель де Мон-фред, к сожалению, редко бывал в

Париже. Но в ряду превосходных качеств Молара не было ни предприимчивости, ни

коммерческой жилки, а тут еще его задача осложнилась тем, что большинство покупателей

уже не радо было своим приобретениям. И вместо регулярных взносов, на которые столь

твердо рассчитывал Гоген, каждая почтовая шхуна доставляла лишь все более мрачные

послания от несчастного Молара**163**.

Как и в 1891 году, Гоген привез с собой изрядную сумму - по меньшей мере несколько

тысяч франков. Постройка такой бамбуковой хижины, какую он заказал, стоила около

пятисот франков. Далее он выложил около трехсот франков за лошадь и коляску, чтобы не

зависеть от дилижанса. Даже если учесть аренду и прочие мелкие расходы, переезд в

Пунаауиа вряд ли обошелся ему больше, чем в тысячу франков. Конечно, стоимость жизни

чуть возросла с 1893 года, но в Папеэте холостой мужчина все еще мог вполне сносно

жить на двести пятьдесят франков в месяц, а в Пунаауиа можно было обойтись половиной

этих денег. Словом, Гогенова капитала должно было хватить самое малое на год. Несмотря

на это, он, как и в первый приезд, уже через два-три месяца

оказался на мели. Причина та

же: легкомысленная расточительность. Он в виде исключения даже сам признался в этом в

письме Даниелю, которое изобиловало сердитыми жалобами на бездеятельность

торговцев картинами и вероломство друзей, но содержало и покаянные слова: «Когда у

меня есть деньги в кармане и надежда заработать еще, я бездумно трачу их, уверенный,

что благодаря моему таланту все будет в порядке, а в итоге скоро оказываюсь без гроша".

Рекордная скорость, с которой Гоген расточил столь нужный ему стартовый капитал,

несомненно, объясняется тем, что он теперь жил ближе к городу. Новым друзьям ничего

не стоило нагрянуть к нему в гости. Да он и сам, не считаясь с затратами, частенько

приглашал их на обед. Недешево обходился ему и способ, которым он решил завоевать

дружбу и уважение жителей Пунаауиа. Всех любопытствующих посетителей Гоген щедро

потчевал красным вином из двухсотлитровой бочки, стоявшей в доме у самой двери. Как

только вино кончалось, он покупал новую бочку**164**. Литр красного вина стоил один франк, а

жажда местных жителей была неутолимой, так что, наверно, этим путем утекло немало

денег.

Что до его болезни, то по сравнению с прошлым разом симптомы были и

многочисленнее и острее. Как уже говорилось, Гоген приехал из Франции с далеко не

залеченным сифилисом. Но по-настоящему плохо ему стало, когда с новой силой дала себя

знать больная нога; это было в феврале 1896 года, он только что взялся опять за живопись.

То и дело приходилось откладывать в сторону кисть и краски, принимать болеутоляющее

и ложиться в постель. Понятно, это сказывалось на его произведениях. У Гогена был свой

творческий темперамент, он писал картины, выражаясь его же словами, «лихорадочно, в

один присест», а тут - вынужденные перерывы. Тем не менее среди завершенных вещей

была одна, которую он считал лучшей из написанных им: на фоне таитянского ландшафта

обнаженная Пау'ура лежит на земле почти в той же позе, что у Мане Олимпия. (Кстати, он

очень высоко ценил это полотно Мане, даже привез с собой репродукцию.) Не без иронии

Гоген назвал свой портрет весьма плебейской Пау'уры «Те арии вахине», то есть

«Королева» или «Аристократка» (экспонируется в Музее изобразительных искусств имени

А. С. Пушкина в Москве). Но хотя Гоген твердо считал эту картину своим лучшим

произведением, он в то же время горько вопрошал себя, есть ли смысл отправлять ее в

Париж, где у Шоде «и без того хранится столько других, которые не находят покупателя и

вызывают вой публики. При виде этой они завоют еще громче. И мне останется лишь

покончить с собой, если я раньше не подохну с голоду».

Честно говоря, Гогену в это время вовсе не угрожала голодная смерть. Большая семья

Пау'уры всегда была готова уделить новому зятю корзину овощей или свежую рыбу из

лагуны. Частенько приглашал его к столу французский поселенец Фортюне Тейсье,

который очень хорошо к нему относился. И, однако, нет никакого сомнения, что Гоген

недоедал, предпочитая ходить голодным, чем унижать себя попрошайничаньем, хотя

болезнь требовала, чтобы он тщательно следил за собой. Хуже всего то, что из-за

безденежья он не мог обратиться к врачу. В поисках выхода Гоген отправил одно за другим

три письма своим самым близким друзьям, то есть Эмилю Шуффенекеру, Шарлю Морису

и Даниелю де Монфреду, умоляя их выручить его. Причем в каждом письме он, с учетом

характера и возможностей адресата, точно указывал, на какую помощь надеется.

Сентиментальному и простодушному хлопотуну Шуффу он писал в апреле: «Я уже

задолжал на Таити тысячу франков и не знаю, когда получу еще денег. Нога болит, а моя

отнюдь не стимулирующая диета состоит из воды, на обед -

хлеба и чая, чтобы расходы не
превышали ста франков в месяц... В борьбе, которую я веду уже много лет, я никогда не
получал поддержки. Мне скоро пятьдесят, а я уже конченый человек, не осталось ни сил,
ни надежд... Во всяком случае, я утратил последнюю гордость. Никто не поддерживал
меня, все считали меня сильным. Сегодня я слаб и нуждаюсь в поддержке»**165**. Говоря о
«поддержке», Гоген подразумевал ежемесячное пособие от известного Шуффу богатого
графа, который уже много лет платил Шарлю Филижеру и Эмилю Бернару сто франков в
месяц за преимущественное право покупать их лучшие картины.

Письмо неисправимому ветрогону Морису было еще мрачнее, так как Гоген написал
его месяцем позже, а за это время ему стало хуже: «Я лежу, сломанная нога дико болит.
Появились глубокие язвы, и я ничего не могу с ними сделать. Это отнимает у меня силы,
которые больше, чем когда-либо, нужны мне, чтобы справиться со всеми
неприятностями... Ты должен знать, что я на грани самоубийства (конечно, глупый
поступок, но неизбежный). Окончательно решусь в ближайшие месяцы, все зависит от
того, что мне ответят и пришлют ли денег». Зная все слабости и все затруднения Мориса
так же хорошо, как свои, Гоген далее ограничился вопросом, насколько подвинулась «Ноа
Ноа», и напомнил своему сотруднику, чтобы тот, когда будет продана книга, не забыл
прислать ему половину гонорара. Письмо заканчивалось суровым призывом:
«Поразмысли обо всем этом, Морис, и отвечай делом. Бывают горькие времена, когда от
слов никакой радости».

И наконец в июне Гоген обратился к методичному и добросовестному Даниелю де
Монфреду, прося помочь с замыслом, который созрел у него в бессонные ночи. В
принципе план был простым и превосходным. Даниель должен учредить своего рода

закупочное общество, пригласив пятнадцать любителей искусства, каждый из которых

обязуется покупать в год по одной картине Гогена; цена весьма умеренная - сто

шестьдесят франков. Чтобы проект выглядел еще более заманчивым, членам общества

предлагалось вносить свой годичный взнос по частям - сорок франков ежеквартально.

Картины распределяются по жребию. Для Гогена главным преимуществом этого плана

было то, что закупочное общество могло приступить к делу незамедлительно. Даниелю

нужно только распределить полотна, возвращенные Леви, и собрать членские взносы.

Картины для ежегодного распределения и дальше будут поступать заблаговременно.

Вполне оправдана досада, с которой Гоген добавлял: «Черт возьми, я не запрашиваю

слишком много! Буду получать всего двести франков в месяц (меньше того, что

зарабатывает рабочий), хотя мне скоро пятьдесят и у меня есть имя. Нужно ли напоминать,

что я и раньше никогда не продавал дряни и не собираюсь делать этого теперь. Все

присылаемые мною картины, как и прежде, будут на уровне выставочных. Если я теперь

мирюсь с жизнью в нищете, то лишь потому, что хочу всецело заниматься искусством».

Почта оборачивалась между Таити и Европой все так же медленно, и по-прежнему на

линии Папеэте - Сан-Франциско ходила одна шхуна в месяц. Поэтому Гоген еще не

получил ответов, когда невыносимые боли заставили его лечь в больницу в Папеэте, хотя

он знал, что не сможет оплатить лечение, стоившее 9,90 франка в день. Это было в разгар

июльских празднеств, смех и гам с танцевальной площадки и из увеселительного парка

доносились в общие палаты, не давая спать пациентам. Круто падающая кривая здоровья

Гогена, который пять лет назад сам пил и гулял 14 июля, можно сказать, достигла дна...

Как и какими средствами врачи поставили его на ноги, остается загадкой. Во всяком

случае, уже через две недели он настолько оправился, что преспокойно выслушал брань

казначея больницы и, так и не заплатив, уехал домой.

Восстановленные силы Гогену весьма и весьма пригодились, потому что на все три

призыва о помощи он получил крайне неутешительные ответы. Попытка Шуффенекера

убедить графа, что картины Гогена стоят вровень с полотнами Филижера и Бернара,

потерпела крах, меценат ограничился подачкой в несколько сот франков. Руководствуясь

самыми лучшими намерениями, Шуфф попытался исправить дело - составил

адресованную Академии художеств петицию о государственной пенсии Гогену и стал

собирать под ней подписи известных художников и критиков. Эта блестящая мысль

осенила также Мориса, с той лишь разницей, что он прямо пошел к директору Академии

Ружону. Как ни странно, Ружон, хотя он вряд ли успел забыть резкий выпад Гогена в

газете, обещал сделать все, что в его силах, - и послал ему по почте в качестве

«поощрения» двести франков. Все это выглядело как унизительное публичное

попрошайничанье, и, вне себя от гнева и стыда, Гоген тотчас отправил деньги обратно. А

когда пришло письмо Даниеля, оказалось, что он, в противоположность Шуффу и Морису,

не проявил достаточного усердия и не успел еще завербовать ни одного члена в

закупочное общество. Впрочем, он вообще сомневался, что этот план можно осуществить.

Словом, как и в 1892 году, Гоген должен был искать какой-то источник дохода на

Таити. А здесь возможностей не прибавилось; разве что бросить живопись и поступить на

службу в лавку или какое-нибудь правительственное учреждение в городе. Но этого ему
меньше всего хотелось, и Гоген, несмотря на все прежние неудачи, решил попробовать
уговорить состоятельного адвоката Гупиля, чтобы тот заказал ему портрет. Как раз в том
году Гупиль достиг зенита своей блестящей карьеры; мало того, что он отлично заработал
на деловых операциях, - соединенные королевства Швеции и Норвегии назначили его
своим почетным консулом. Можно было надеяться, что он настроен великодушно. Был
еще один превосходный повод начать с него: они с Гогеном были соседи. Великолепная
усадьба, где жил, купаясь в роскоши, консул Гупиль, стояла посреди большого парка в
европейском духе, с пышными клумбами, стрижеными газонами и слепками со
знаменитых греческих статуй, разбитого в северной части Пунаауиа, всего в четырех
километрах от скромной бамбуковой хижины Гогена. (Усадьба сохранилась до наших
дней; правда, она пришла в запустение.)

Уже по статуям было видно, что консул Гупиль решительно предпочитает
классическое искусство, и лишь с большой неохотой он поддался на уговоры Гогена и
заказал ему портрет. Однако сам он, насмотревшись на карикатурные портреты Гогена и
боясь стать посмешищем, отказался позировать. Вместо этого Гупиль принес в жертву
свою младшую дочь, девятилетнюю Жанну, по молодости лет не понимавшую, что ей
грозит. Получился очень реалистический портрет на гладком розово-лиловом фоне, как на
картине, изображающей обнаженную Анну. (Экспонируется теперь в музее Одрупгорд под
Копенгагеном.) Консул Гупиль был приятно удивлен и на радостях тотчас нанял Гогена
учителем рисования для своих четырех дочерей, которым он стремился дать хорошее
европейское образование; тогда это означало уроки рисования и живописи, обучение игре
на пианино и иностранным языкам. Правда, Гоген

представлял себе меценатство

несколько иначе, но у должности учителя были свои преимущества, а дочери адвоката

оказались милыми и воспитанными. Кстати, старшую, как и дочь Гогена, звали Алиной, и

лет ей было столько же - восемнадцать**166**. Вероятно, это тоже примиряло его с новой, непривычной ролью, но главным преимуществом было то, что хозяева часто приглашали

Гогена отобедать с ними, а в доме консула Гупиля даже в будни на стол подавали

поразительно много изысканных блюд и хорошие вина.

Хотя вино и роскошные яства требовали от консула пристального внимания, он еще

поспевал развлекать гостей оживленной беседой. К сожалению, из-за склонности адвоката

читать длинные лекции, едва разговор касался какого-нибудь из его любимых предметов,

беседа часто получалась несколько односторонней. Об этом выразительно говорит запись,

сделанная одним гостем:

«За десертом он с пафосом объявил:

- Человеку в его земной жизни надлежит выполнить три главных долга. Передайте

мне вино, мерси!

Все внимательно слушали.

- Пожалуйста, назовите их нам.

- Охотно. Прежде всего, мужчина должен быть отцом. Бездетным холостякам вообще

незачем жить. Я бы обложил большим налогом каждого мужчину старше двадцати лет, у

которого нет сына или дочери. Во-вторых, его долг пахать и возделывать землю,

заставлять ее плодоносить. Хотя бы сажать деревья. Возьмите меня! Я разбил этот сад, все

здесь принялось и выросло на моих глазах. Выполняя этот долг, я обострил свой ум для

моего основного занятия. Третье, последнее требование - мужчина должен написать книгу,

плод зрелой мысли в зрелом возрасте, он должен зафиксировать свои знания и опыт в той

или иной форме, чтобы они принесли пользу *грядущему*, к которому все люди должны

относиться с величайшим благоговением. И если бы мне предложили назвать четвертый

долг, - продолжал ученый адвокат, наполняя свой бокал белым вином и передавая бутылку

дальше, - я бы сказал: путешествовать. Изучать мир чрезвычайно поучительно, это

облагораживает разум, расширяет кругозор и подрывает предрассудки. В путешествии

познаешь аксиому, что род человеческий, несмотря на разные верования, цвет кожи и

касты, - ЕДИН, и все должны трудиться для общего блага. Да-да, сударь, уж я-то поездил

по свету - был в Южной Америке и еще дальше; один раз ушел в море на открытой лодке.

Но теперь, когда мои волосы поседели, я ни за какие сокровища в мире не покину Таити.

- А какие обязанности у женщины? - позволили мы себе спросить.

- Держать в порядке дом, сударь, растить детей, быть доброй женой и хорошей

матерью, не лезть в политику и штопать платье»**167**.

Воззрения Гогена в общем по всем пунктам совпадали с взглядами консула Гупиля, и

он неплохо отвечал идеалу, который нарисовал адвокат. Казалось бы, они должны хорошо

ладить между собой. К сожалению, Гоген привык сам быть центром внимания, ему трудно

было мириться с мизерной ролью почтительного слушателя и подголоска. И уж совсем

невозможно было молчать, когда консул Гупиль принимался разглагольствовать об

искусстве. А затем Гоген допустил и вовсе непростительный промах: он стал спорить с

хозяином. Разумеется, Гупиль быстро охладел к нему, и Гогену оставалось только

уволиться.

Вероятно, хороший стол привел к тому, что за два-три месяца работы у консула

Гупиля здоровье Гогена заметно улучшилось. В конце октября 1896 года его полное

исцеление казалось только вопросом времени. Вместе со здоровьем к нему вернулись

душевные силы, а с ними и творческая энергия, которая нашла себе довольно

своеобразный выход: он вылепил из глины несколько больших статуй и, явно потешаясь

над аристократическими замашками консула Гупиля, поставил их как и он, у себя в саду.

Но этим сходство ограничивалось, потому что скульптуры Гогена были далеки от

классических образцов. Самые удачные изображали бегущую обнаженную женщину и

львицу, играющую с львенком. Обе статуи, каждая по-своему, вызвали сильный интерес в

Пунаауиа. Таитяне шли отовсюду посмотреть на диковинного зверя; в отличие от них

католический священник, патер Мишель, замечал только греховную наготу женской

фигуры. До посвящения в сан патер в молодости служил в армии унтер-офицером; он и

теперь был настоящим бойцом**168**. Гоген должен немедленно убрать гнусную статую или

хотя бы одеть ее, не то он уничтожит ее своими руками! Кажется, на этот раз Гоген был

рад тому, что в области есть свой жандарм. Он тотчас послал за блюстителем порядка,

который, чувствуя себя довольно неловко, принужден был объяснить негодующему патеру,

что закон на стороне Гогена. Если священник выполнит свою угрозу, - это будет считаться

нарушением неприкосновенности жилища, и художник вправе обратиться в суд. С того

дня патер Мишель не упускал ни одного случая заклеймить греховное и богопротивное

поведение Гогена. В итоге многие местные католики не смели больше знаться с Коке.

Хорошо еще, что Пау'ура была протестанткой.

Приподнятое настроение Гогена не омрачалось и тем, что Пау'ура уже давно ждала

ребенка и почему-то не хотела от него избавляться. В ноябре он юмористически сообщал

Дание-лю: «Скоро я стану отцом метиса, моя прелестная дульсинея вознамерилась

снестись». Пау'ура родила перед самым рождеством, но ребенок - это была девочка -

оказался слабым и болезненным и через несколько дней умер**169**. Рождение дочери оставило

след в творчестве Гогена. У нас нет документальных доказательств, но можно не

сомневаться, что именно это событие вдохновило его, когда

он написал две похожие друг
на друга картины, изображающие вифлеемские ясли, таитянскую мать и новорожденного
младенца. (Обе датированы 1896 годом, одна, «Те тамари но атуа», висит в Новой
Пинакотеке в Мюнхене, другая, «Бе Бе», - в ленинградском Эрмитаже.)
Интересно вспомнить, что Гоген еще в Матаиеа написал картину, где христианский
мотив перенесен в таитянскую среду, - знаменитую «Иа ора на Мариа». Главное различие
в том, что на обоих поздних полотнах есть две коровы, заимствованные с картины
Тассерта, и маорийские орнаменты, которые Гоген видел в Оклендском музее, когда ждал
судна в Новой Зеландии, меж тем как в ранней картине использованы декоративные
элементы яванского храмового фриза. Если присмотреться к картинам 1896 года, видно,
что Гоген по-прежнему плохо владел таитянским языком. Он даже путал «тамароа» (сын)
и «тамарии» (сыновья), то есть единственное число с множественным. Отсюда неверное
название «Те тамари но атуа», означающее «Сыновья божьи», хотя он несомненно хотел
сказать «Сын божий».
К великой радости Гогена, 27 декабря 1896 года почтовая шхуна доставила ему
перевод на тысячу двести франков и письмо, в котором Шоде обещал вскоре прислать еще
большую сумму. В письме Сегэну от 15 января 1897 года, которое до сих пор не было
известно, он удовлетворенно сообщал: «Я пришлю тебе фотографию моей мастерской, как
только сделаю снимок, и ты увидишь крашеные деревянные панно, статуи среди цветов и
прочее. Просто сидеть на пороге дома с сигаретой в одной руке и рюмкой абсента в другой
- великое наслаждение, которое я испытываю ежедневно. К тому же у меня есть
пятнадцатилетняя жена, она стряпает мне мою немудреную пищу и ложится на спину,
когда я захочу, за скромное вознаграждение - одно десятифранковое платье в месяц... Ты

не представляешь себе, как много можно получить здесь за сто двадцать пять франков в

месяц. Захочется - могу совершить верховую прогулку или прокатиться на коляске.

Коляска и лошадь мои собственные, как и дом и все остальное. Если бы я мог в год

продавать картин на тысячу восемьсот франков, я бы до самой смерти остался здесь. Такая

жизнь меня устраивает, другой я не хочу»**170**.

Еще ярче выразилось его приподнятое настроение в письме, отправленном им в это

же время Шарлю Морису. Дипломатическая миссия генерального комиссара Шессе,

которая начиналась так многообещающе чередой роскошных приемов, кончилась полным

крахом. Зайдя в тупик, Шессе даже обратился за помощью к британскому консулу.

«Британский консул отправился на остров на борту французского военного корабля, -

негодующе сообщает Дуглас Холл, - объявил островитянам, что они должны признать

французскую власть, и велел спустить английский флаг. Они отказались. Консул вернулся

из лагеря мятежников на корабль и сообщил, что, к сожалению, не может убедить их

выполнить его требование. Французский капитан учтиво поклонился и сказал, что ему

приказано стрелять по английскому флагу, если он не будет спущен через четверть часа.

Конечно, флаг не был спущен, и корабль сделал пятнадцать выстрелов, пока не перебил

флагшток. Все это время британский консул находился на борту. Лично я- не представляю

себе, чтобы англичанин мог спокойно смотреть, как обстреливают флаг его страны, пусть

даже поднятый незаконно, но когда я разговаривал об этом с консулом, он со мной не

согласился. Он отговаривался тем, что речь шла не об английском флаге, а о незаконно

поднятой подделке»**171**. Кстати, обстрел не помог, потому что неунывающие островитяне

вскоре опять подняли свой изрешеченный осколками «Юньон Джек».

После этого провала и Шессе и губернатора Таити отозвали

во Францию. А

превратить упрямых жителей Раиатеа из злокозненных английских роялистов в добрых

французских республиканцев поручили человеку совсем другого склада, начальнику

Управления внутренних дел, теннисисту Гюставу Галле; он доказал свое рвение и

предприимчивость еще во время кровавых стычек между канаками и французскими

поселенцами на Новой Каледонии в 1878 году. Для верности Галле включил в свою

экспедицию два военных корабля и две роты солдат, из которых одну составляли

таитянские волонтеры во главе со старым другом Гогена - вождем Тетуануи из Матаиеа.

(Таитяне и жители Раиатеа исстари враждовали.) Но и веские доводы Галле не убедили

твердолобых островитян: когда Гоген писал свое письмо Шарлю, они отступили в горы и

там укрепились.

Отвращение Гогена к такому способу колонизации было теперь еще сильнее, чем год

назад, когда он участвовал в экспедиции «Об» на Хуахине и Бора Бора. В письме Морису

(недавно найденном мною у одного коллекционера автографов в Париже) он предлагал

тому поместить в левой французской газете вымышленное интервью, будто бы взятое

Гогеном у руководителя повстанцев Тераупо на Раиатеа. Вот как звучали мысли туземцев в

толковании Гогена:

«Гоген. Почему вы не хотите, чтобы вами, как и таитянами, правили французы?

Тераупо. Потому что мы не продаемся и довольны своим собственным правлением и

своими законами, которые отвечают нашим условиям и нашей психологии. Где бы вы,

французы, ни утвердились, вы забираете себе все, и землю, и женщин; впрочем последних

вы через несколько лет бросаете вместе с детьми и больше о них не заботитесь. Кроме

того, вы повсюду насаждаете чиновников и жандармов, которым мы без конца должны

подносить подарки, чтобы избежать неприятностей... Мы

давно знаем цену вашей лжи и

вашим красивым обещаниям. Стоит нам выпить или начать петь песни, как вы берете с

нас штраф или бросаете нас в тюрьму, чтобы мы приобрели все те превосходные качества,

коих вы сами лишены. Кто не помнит слугу губернатора Папино, который ночью

вторгался в дома и насиловал девушек. И его нельзя было унять - слуга губернатора.

Гоген. Но если вы сами не согласитесь на безоговорочную капитуляцию, пушки все

равно заставят вас сдаться. На что вы собственно надеетесь?

Тераупо. Ни на что. Мы знаем - если мы сдадимся, наших вождей отправят на каторгу

в Нумеа. Но для маори стыд и позор умереть вдали от родной земли, поэтому мы

предпочитаем погибнуть здесь. Вообще, все это можно объяснить очень просто. Покуда

вы, французы, и мы, маори, будем жить бок о бок, распри неизбежны. А мы хотим мира.

Так что придется вам убить нас. Тогда вы останетесь одни и будете стрелять друг в друга

из ваших пушек и ружей. У нас есть лишь один способ защиты - бежать в горы»**172**.

Несомненно, Гоген искренне осуждал карательные меры своих соотечественников

против Раиатеа. Тем не менее его желание поместить это интервью (дополненное

сведениями об истоках конфликта) в парижской газете было вызвано простодушным и в то

же время эгоистичным стремлением показать своим недругам и клеветникам на Таити, что

у него есть на родине влиятельные и богатые друзья, что он куда могущественнее и

опаснее, чем думают его враги. Как всегда, Гогена больше интересовали живые люди, чем

принципы и идеология. Поэтому он, наперекор всякой логике, охотно общался с многими

офицерами французских военных кораблей, когда они вернулись в Папеэте, беспощадно

подавив восстание на Раиатеа. Правда, эти офицеры интересовались творчеством Гогена,

один из них даже купил у него картину.

Один из военных кораблей, крейсер «Дюгэй-Труан», был

нарочно вызван из Франции

для борьбы с мятежниками, и когда он 3 марта отправился из Папеэте обратно, Гоген

пришел на пристань проводить своих друзей. Тем более что они оказали ему услугу:

судовой врач любезно согласился отвезти во Францию его последние восемь картин. Сюда

вошли и два из лучших полотен Гогена. Одно из них - одухотворенный, но и чувственный

портрет обнаженной Пау'уры, почти дубликат «Манао тупапау», написанного с

Теха'аманы. Он назвал эту вещь «Невермор», по строке из стихотворения Эдгара По

«Ворон» французский перевод которого Стефан Малларме читал на прощальном банкете в

марте 1891 года. Впрочем, сам Гоген утверждает, что зловещая птица на заднем плане не

детище По, а сатанинский ворон французского поэта Лекон-та де Лиля.

На другой картине изображены две сидящие на корточках таитянки и ребенок. Стены

помещения расписаны вымышленными узорами, в открытую дверь видны вдали горы. Вот

намеренно туманное объяснение Гогена: «В этой картине все сон, мечта. Кто же грезит -

ребенок, всадник на тропе или сам художник? Некоторые считают, что это не

существенно. Но кто знает? Может быть, все-таки существенно». Учитывая мир и покой,

которым исполнена эта вещь, название «Ререиоа», данное ей Гогеном (в письме он

написал его правильно, на холсте - с ошибкой), не очень подходит, потому что таитяне

обозначают этим словом сон особого рода, а именно кошмар. По счастливой случайности,

обе картины, написанные в одно время, воссоединены, они висят вместе в Институте

Курто в Лондоне.

За четырнадцать лет, что Гоген настойчиво пытался прокормиться живописью, он

лишь дважды переживал пору относительного счастья, и всякий раз оно обрывалось

неожиданно. Так и теперь. Перелом наступил в апреле 1897 года и был вызван двумя

внезапными кончинами. О первой из них он узнал из короткого письма, в котором Метте

деловито сообщала, что их девятнадцатилетняя дочь Алина 19 января скоропостижно

скончалась от воспаления легких, после того как простудилась на балу. «Я до того привык

к постоянным несчастьям, что первое время ничего не чувствовал, - записал Гоген. - Но

постепенно мой мозг ожил, и с каждым днем боль проникала все глубже, так что сейчас я

совершенно убит. Честное слово, можно подумать, что где-то в заоблачных сферах у меня

есть враг, который решил не давать мне ни минуты покоя». К сожалению, в самом деле

было похоже на это: в том же месяце Гоген узнал, что француз, у которого он снял участок,

умер, причем оставил столько долгов, что наследникам оставалось только продать все его

движимое и недвижимое имущество. А так как у Гогена не было письменного договора и

новому владельцу участок требовался для собственных нужд, пришлось немедленно

уезжать.

Вполне понятно, что Гоген решил на будущее застраховаться от неприятных

случайностей и обзавестись своим участком. Столь же естественно, что он после многих

лет неустроенной жизни задумал построить себе большое и удобное жилье, которое, в

отличие от простой бамбуковой хижины, было бы настоящим домом. Тем более что он

собирался навсегда остаться в Пунаауиа. Труднее понять расточительность, с какой он

принялся осуществлять свои планы, уповая все на ту же сверхоптимистическую надежду,

что парижане вот-вот бросятся покупать его картины. Верно, незадолго перед этим он

получил от Шоде тысячу тридцать пять франков, а красивый прибрежный участок

площадью около гектара, который ему уступила вдова одного французского поселенца,

обошелся всего в семьсот франков**173**. Но вместо того чтобы дождаться новых переводов, Гоген решил, не откладывая, взять ссуду в Земледельческой кассе, единственном тогда

кредитном учреждении на Таити. Вообще-то задачей кассы было помогать

предприимчивым плантаторам, задумавшим расчистить землю и расширить свою

плантацию. Но ведь на новом участке Гогена было около сотни пальм, да он еще задумал

посадить ваниль. Так что с некоторой натяжкой (считал он) его можно назвать

плантатором и признать за ним право на ссуду. Из членов правления Земледельческой

кассы он лучше всех знал кондитера Состена Дролле, но тот, к сожалению, недавно умер.

Правда, в его доме Гоген встречал других членов правления. И шапочного знакомства

оказалось достаточно, чтобы ему любезно предоставили на год ссуду в тысячу франков из

десяти процентов годовых.

После чего Гоген ничтоже сумняшеся принялся строить такой большой и роскошный

дом, что займ оказался далеко не достаточным. Для полов и стен он заказал тес, который

был чрезвычайно дорог, ибо ввозился из Канады или США, так как на Таити не было ни

подходящего леса, ни лесопилен. Далее, размеры дома составляли 20 X 8 м. Строго

говоря, Гоген соорудил два дома: жилую постройку на метровых сваях с открытыми

верандами впереди и сзади и впритык к ней мастерскую с земляным полом и

раздвижными дверьми (илл. 48). Из обеих половин открывался великолепный вид на горы

внутри острова и на море с островом Мооpea, лежащим в пятнадцати километрах от Таити

(илл. 36). Пришлось Гогену, чтобы завершить это грандиозное строительство, просить

кредит у своих поставщиков.

Сам он вырезал еще несколько деревянных панно, которые вместе со старыми

развесил в спальне и в мастерской. (Одно из них с недавних пор экспонируется в заново

оборудованном зале современного французского искусства Национального музея в

Стокгольме.) Обстановка комнат была скудная и разномастная; об этом мы знаем из

записок почтмейстера Лемассона, который оставался одним из лучших друзей Гогена и

часто навещал его в Пунаауиа. При всем том от гостей требовалась величайшая

осторожность, потому что всюду в полном беспорядке валялись краски, кисти, холсты,

книги, одежда, музыкальные инструменты и прочие предметы. Благодаря тому же

Лемассону нам точно известно, как Гоген выглядел и одевался в то время: «Он был крепко

сложен, голубые глаза, чуть загорелое, красное лицо, каштановые с проседью волосы и

борода, точнее жидкая эспаньолка. Дома он обычно одевался на туземный лад, в

бумажную куртку и набедренную повязку. . всегда ходил босиком. Но в Папеэте он

приезжал одетый по-европейски: пиджак с высоким воротником, белые, а чаще голубые

полотняные брюки, белые брезентовые туфли, широкополая шляпа из листьев пандануса.

Вследствие незалеченных язв на ноге он прихрамывал, так что опирался на толстую

трость»**174**.

Приятно было наконец чувствовать себя хозяином собственного дома, но денежные

затруднения, вызванные строительством этого самого дома, быстро убили радость.

Напрасно он ждал новых переводов от Шоде. И его должники во Франции даже не

отвечали на письма, зато кредиторы на Таити становились все более назойливыми. А тут

еще эта роковая закономерность - как и в прошлом году, здоровье ухудшалось с той же

скоростью, что финансовые дела. Для начала язвы распространились по всей больной

ноге, а затем перешли и на вторую ногу. Гоген втирал в них мышьяк, до самых колен

обматывал ноги бинтами, но «экзема», как он называл язвы, продолжала

распространяться. Потом у него вдруг воспалились глаза. Правда, врачи уверяли, что это

не опасно, но писать он пока не мог. Только врачи подлечили глаза, как нога разболелась

так, что Гоген не мог ступать на нее и слег. От

болеутоляющих средств он буквально

тупел. Если же пробовал подняться, начинала кружиться голова, и он терял сознание.

Временами поднималась высокая температура. В августе Гоген через силу нацарапал

мрачное письмо Молару: «Я должен был написать тебе в прошлом месяце, когда получил

твое письмо, но (это очень серьезное «но») физически не мог этого сделать, потому что у

меня начался двухсторонний конъюнктивит, от которого я до сих пор не совсем избавился.

Увы, мое здоровье хуже, чем когда-либо. После заметного улучшения вдруг последовал

острый рецидив. Теперь болезнь распространилась намного шире, я по двадцать часов в

сутки лежу и все равно почти не сплю. За два месяца я не написал ни одной картины. Вот

уже пять месяцев не получаю от Шоде ни писем, ни денег - ни одного сантима. Мне

больше не предоставляют кредита, я задолжал полторы тысячи франков и не знаю, на что

жить, хотя стол у меня аскетический». Он заклинал Молара хоть что-нибудь выжать из

должников в Париже и заканчивал свое короткое письмо тревожными строками:

«Невезение преследует меня с самого детства. Я никогда не знал ни счастья, ни радости,

одни напасти. И я восклицаю: «Господи, если ты есть, я обвиняю тебя в несправедливости

и жестокости». Понимаешь, после известия о смерти бедняжки Алины я больше ни во что

не мог верить, лишь горько смеялся. Что толку от добродетелей, труда, мужества и ума?»

Жители Пунаауиа и большинство друзей Гогена среди правительственных чиновников

и поселенцев были к тому времени твердо убеждены, что он, кроме заурядного сифилиса,

поражен куда более опасной и тяжелой болезнью, а именно проказой. Они давно

подозревали это, а окончательно убедились, когда он стал тщательно скрывать бинтами

свои язвы на ногах. Тогда на острове знали только один надежный способ защищаться от

проказы - избегать всякого контакта с несчастным, которого

поразил грозный недуг.

(Обычно больных безжалостно изгоняли в горы или ссылали на уединенный остров в

архипелаге Туамоту.) И Гоген, ко всему, оказался в полном одиночестве как раз тогда,

когда особенно нуждался в обществе, утешении и помощи. Одна Пау'ура решалась

входить в дом, но и ее он не всегда мог дозваться. Кстати, глубоко укоренившееся

заблуждение, будто Гоген болел проказой, повлияло и на Сомерсета Моэма, и своим

знаменитым романом «Луна и грош», написанным по мотивам жизни Гогена, он дал

ошибке еще больший ход.

Лишенный возможности работать, лишенный друзей и собеседников, Гоген стал

записывать мысли, которые его занимали. Постепенно эти записки выросли в пространное

эссе о смысле и назначении жизни, названное им «Католическая церковь и

современность». Сам Гоген твердо считал, что это эссе - его лучшее и самое значительное

сочинение**175**. Но дело обстояло как раз наоборот. Терпеливого читателя до сих пор не

опубликованной рукописи прежде всего поражают неоригинальные идеи, путаные

рассуждения, скудная документация и невразумительный псевдонаучный жаргон. Изо

всего этого сочинения ясно одно: что автор был очень тяжело болен и его сильно занимали

метафизические вопросы.

Вначале Гоген еще более или менее внятно излагает свой замысел: «Мы несомненно

подошли к той ступени развития науки, которая предсказана в Библии: «Нет ничего

тайного, что не стало бы явным, и нет ничего скрытого, что не стало бы известным и всем

доступным» (Лука). Перед лицом проблемы, воплощенной в вопросах: «Откуда мы? Кто

мы? Куда мы идем?», мы должны спросить сами себя, в чем наше мыслимое, естественное

и рациональное предназначение... Чтобы не упустить ничего, сопряженного с этой

проблемой природы и человека, мы должны внимательно

(хотя и в самых общих чертах)

рассмотреть доктрину Христа в ее натуральном и рациональном смысле, каковой, если

освободить его от затемняющих и искажающих покровов, предстанет в своей истинной

простоте, но полный блеска, и ярко осветит проблемы нашего естества и нашего

предназначения».

Два разряда людей он считал повинными в этом искажении истины: «Разрыв между

современным обществом и подлинным христианством всецело вызван недоразумением,

причина которого - подделки и вопиющий обман со стороны католической церкви. Этот

факт важно уяснить, тем более что истинная доктрина Христа настолько сродни и так

гармонирует с принципами и стремлениями современного общества, что первая в

конечном счете неизбежно сольется со вторым, образуя высший организм». Но тут же

Гоген заявлял: «Материалисты, не поспевая за непрерывным прогрессом современной

науки (и в этом прогрессе, скажем прямо, важную роль играет подозрение и отвращение к

теологическому и теократическому мистицизму и догматизму католиков), довольствуются

- как католики догмами - вульгарными, примитивными и устарелыми представлениями и

не понимают, что, ударяясь слишком сильно в другую сторону, можно вместо Харибды

наскочить на Сциллу».

Дальше Гоген предпринимает доблестную попытку показать с помощью бездны цитат

из различных трудов по астрономии, физике и физиологии, что «история атома и души»

есть история «одного и того же существа на двух различных ступенях». И он делает вывод

(несколько проясненный при переводе): «Минута, когда сформировался первый

расплывчатый агломерат (атомов), служит отправной точкой геометрической прогрессии -

точкой, к которой бесконечно маленький, бесконечно медленный человеческий разум еще,

быть может, способен вернуться, - первой ступенью, которую

можно приравнять к нулю

перед тем, что бесконечно, не имеет начала».

Очевидно, не совсем довольный этой частью своего труда, Гоген затем предается

«расследованию» совсем другого рода и бегло обозревает мировые религии, чтобы

доказать, что их главные символы и мифы в своей основе сходны и едины. (Здесь можно

напомнить, что его друг Серюзье рьяно проповедовал этот догмат теософической веры.)

Поистине поразительное множество параллелей между христианством и египетскими,

персидскими, индусскими, китайскими, даже таитянскими и маорийскими верованиями

«подтверждается» обильными цитатами, взятыми преимущественно из французского

перевода книги английского поэта и спиритуалиста Джеральда Масси, с внушительным

названием «Книга о Началах, содержащая попытку восстановить и возродить утраченные

источники мифов и таинств, типов и символов, религий и языков, глашатаем коих был

Египет, а родиной Африка».

Эту столь же неубедительную главу Гоген резюмирует следующими, столь же

невразумительными словами: «Различные цитаты, приведенные в предшествующей главе,

на наш взгляд, вполне доказывают, что Иисус из Евангелия есть не кто иной, как Иисус

Христос из Мифа, Иисус Христос астрологов».

Несколько неожиданно Гоген отводит последнюю треть своего эссе под новую и куда

более ядовитую атаку против католической церкви (впрочем, если учесть наглое

поведение и грубоватые проповеди его злейшего врага, деревенского священника патера

Мишеля, это, пожалуй, не так уж неожиданно). Вот несколько выдержек: «Как вышло, что

католической церкви удавалось с самого начала искажать истину? Это становится

понятным, только если вспомнить, что священные книги были изъяты из обращения. .. Но

вот что непостижимо: даже сегодня, когда истина открыта каждому видящему и

читающему, есть *разумные и просвещенные* люди, которые все еще остаются верны

церкви. Можем ли мы, не обвиняя их в безумии, считать их людьми добросовестными?

Наиболее вероятное объяснение, что тут кроется коммерческий интерес. .. И этот

непогрешимый авторитет, который церковь сама присвоила себе, якобы дарован ей, чтобы

она выносила догматические приговоры, противоречащие здравому смыслу, толковала все

библейские тексты, догматизировала все религиозные доктрины, включая вопрос о

присутствии тела и души Христовой в Евхаристии, о Непорочном зачатии, святых мощах

и так далее... Католическая церковь в своих доктринах и практике воплощает фарисейское

отступничество, которое в Библии названо главным выражением Антихриста; она сперва

ступила на ложный путь сверхъестественного, потом попала в сеть и запуталась в этой

сети, нарочно сплетенной, и может выпутаться только в полном замешательстве,

окончательно развенчанная и разоблаченная и всеми презираемая».

Прежде чем Гоген успел закончить свое эссе, случилась новая беда. Его сердце,

которое с 1892 года в общем-то не давало себя знать, не выдержало. Приступы следовали

один за другим, один другого тяжелее и серьезнее. Конец казался близким. Или, как писал

сам Гоген: «Господь наконец услышал мой голос, молящий не о переменах, а о полном

избавлении. Мое сердце, на которое постоянно обрушивались жестокие удары, сильно

поражено. Вместе с этим недугом последовали ежедневные приступы удушья и

кровохарканье. До сих пор корпус выдерживал, но теперь уже скоро развалится. Кстати,

это даже лучше, чем если я буду вынужден сам лишить себя жизни, а к этому меня

принудит отсутствие пищи и средств на ее приобретение». Вопреки искренним, по-

видимому, мольбам Гогена, он перенес все сердечные приступы; через несколько недель

они прекратились так же внезапно, как начались. Однако на этот раз он не дал видимому

улучшению обмануть себя. Гоген знал, что это только отсрочка. Возможно, он протянет

еще не один год. Но что это за жизнь, если болезнь не даст ему писать? И даже если он

сможет писать - на что жить, где взять денег? Кисть явно его не прокормит.

Уныние сменилось новым приливом бодрости. Может быть, если он ляжет в больницу

на долгий срок, врачи еще раз сотворят чудо? Правда, для этого нужны деньги, не одна

сотня франков, но ведь не исключено, что следующая почтовая шхуна доставит ему

кругленькую сумму. В июле он написал Шоде прочувствованное письмо, подробно

рассказал о своем отчаянном положении и попросил его постараться продать еще

несколько картин. Теперь уже скоро должен прийти ответ. Увы, когда в начале декабря

была получена долгожданная почта, в ней не оказалось ни денег, ни вестей от Шоде. Зато

Морис прислал октябрьский номер литературного ежемесячника «Ревю Бланш» с

сюрпризом - первая половина повествовательного текста «Ноа Ноа» и пять длинных

стихотворений Мориса.

Идиллический рай, описанный Гогеном в книге, как небо от земли отличался от

бедственного существования художника, рассеянно листавшего журнал. К тому же Морис

не потрудился выслать ему гонорар. В голове Гогена снова родилась мысль о

самоубийстве. Правда, за последнее время он уже понял, что кистью сумеет выразить свои

размышления о жизни и смерти лучше, чем это удалось ему пером. Надо написать

последнюю картину, величественную композицию, «духовное завещание», говоря его

собственными словами. Холсты давно кончились, но эту проблему Гоген умел решать. Он

взял обычную грубую джутовую ткань, из которой на Таити шьют мешки, отрезал четыре

с лишним метра, сколотил дрожащими руками раму и с

трудом натянул на нее ткань.

Потом достал свои краски и кисти, лежавшие без применения полгода, и, забывая о боли и

усталости, принялся писать.

Между приступами головокружения и невыносимых болей медленно создавалась

картина, ближе всего подходившая к монументальным фрескам, писать которые Гоген

мечтал всю жизнь; тут и огромные размеры (411 X 141 см) и сложная композиция

(двенадцать фигур, разбитых на четыре группы, плюс море и остров Мооpea на заднем

плане). Вряд ли за этим кроется какой-нибудь умысел, но факт тот, что «завещание»

читается задом наперед, ведь логически исходный пункт - младенец и группа таитянских

матерей в правом нижнем углу. По словам самого Гогена, «они попросту наслаждаются

жизнью». Дальше (по его же словам) взгляд должен переходить на стоящего посередине

почти нагого мужчину, который срывает плод с древа познания. Справа от него с

озабоченными лицами стоят двое в длинных халатах. Они олицетворяют тех несчастных,

которые уже вкусили от древа познания и теперь обречены размышлять над загадками

жизни. У их ног сидит еще один мужчина; озадаченный странными вопросами, которые

обсуждают двое, он, словно обороняясь, поднял руку над головой. Слева от центральной

фигуры, отвернувшись от нее, мальчуган весело играет, сидя между козой и щенятами, и

все они тоже олицетворяют невинность. Выше этой обособленной группы стоит женщина,

она обратилась спиной к могучему идолу, «загадочные движения рук которого словно

указывают на загробный мир». Последняя группа, слева от идола, включает молодую

женщину и скорбную старуху, а в нижнем левом углу картины, держа в когтях ящерицу,

стоит странная птица, символ «тщеты и суетности слов» (Гоген). В верхнем левом углу

черными буквами на желтом поле написано название картины: «Откуда мы? Кто мы? Куда

мы идем?»

Итак духовное завещание Гогена пессимистично. Всякий, кто (вроде нас,

рациональных жителей Запада) непременно хочет понять и разобрать все, даже

неразрешимые загадки жизни и смерти, неизбежно будет несчастлив. Напротив,

животные, дети и «дикари» - например, таитяне, - счастливы, потому что им в голову не

придет размышлять над загадками, на которые нет ответа. И хотя так называемые

«дикари» вовсе не представляют собой такой однородной группы, как думали Гоген и его

современники, он совершенно прав в том, что таитяне очень мало склонны к

метафизическим умозрениям. Европейца, долго прожившего среди таитян, больше всего

поражает их удивительный стоицизм, чтобы не сказать пренебрежение к смерти. Ни один

европеец - и Гоген знал это по себе, - сколько бы он ни жил на Таити, не может,

отрешившись от традиции своей культуры, уподобиться в этом туземцам.

А Гоген был типичный западный интеллигент, и, завершив в конце декабря 1897 года

свою огромную картину, он снова тщательно взвесил свое положение. Почта придет через

несколько дней; вдруг он получит перевод на большую сумму от Шоде или Молара?

Судьба сыграла с ним достаточно злых шуток, зачем без нужды доставлять ей

удовольствие напоследок еще раз посмеяться над ним! Нет уж, лучше на два-три дня

отложить исполнение плана о самоубийстве.

Тридцатого декабря почтовая шхуна бросила якорь в гавани Папеэте; письма, наверно,

роздали на следующий день, как это было заведено. Словом, 31 декабря Гоген узнал, что

ему не прислали денег.

Отбросив колебания, он взял коробочку мышьяка, которым лечил свою экзему, и

побрел к горам**176**. По обе стороны тропы на двести метров выстроились туземные хижины.

Смех, песни и музыка говорили, что вовсю идут новогодние

празднества. Таитянское лето

было в разгаре, осыпанные цветами кусты и деревья насытили воздух своим благоуханием

- *ноаноа*. Но Гоген был слеп и глух, он прошел напрямик через раскинувшиеся за

хижинами поля ямса и батата и, тяжело дыша, стал карабкаться по крутому склону.

Как всегда, на пустынном горном плато было удивительно тихо. Деревья не заслоняли

больше чарующего вида на узкий берег, лагуну и море. Кругом густо рос папоротник. Гоген

опустился на мягкое зеленое ложе, достал из кармана коробочку и проглотил содержимое.





Видимо, доза была чересчур велика, потому что, когда он уже погрузился в блаженную дремоту,

его вдруг вырвало. Большая часть порошка вышла из него. Идти за новой дозой или придумывать

что-то другое он не мог, слишком ослаб. И Гоген остался лежать, ничем не прикрытый от палящего

тропического солнца. Внутренности жгло огнем, голова раскалывалась от боли. Когда стемнело,

ему на короткое время стало легче. Но затем подул сырой и холодный ночной ветер, начались

новые муки. Лишь на следующий день, когда взошло немилосердно жгучее солнце, Гоген,

напрягая последние силы, заставил себя встать и медленно побрел со своей Голгофы вниз,

возвращаясь к берегу, к жизни.

44. Одна из наиболее

известных картин второго таитянского периода Гогена. Эти фигуры встречаются и на многих других

его полотнах. 45. Фотореконструкция картины, сделанная для этой книги, показывает, как точно

Гоген передавал физический тип таитян.



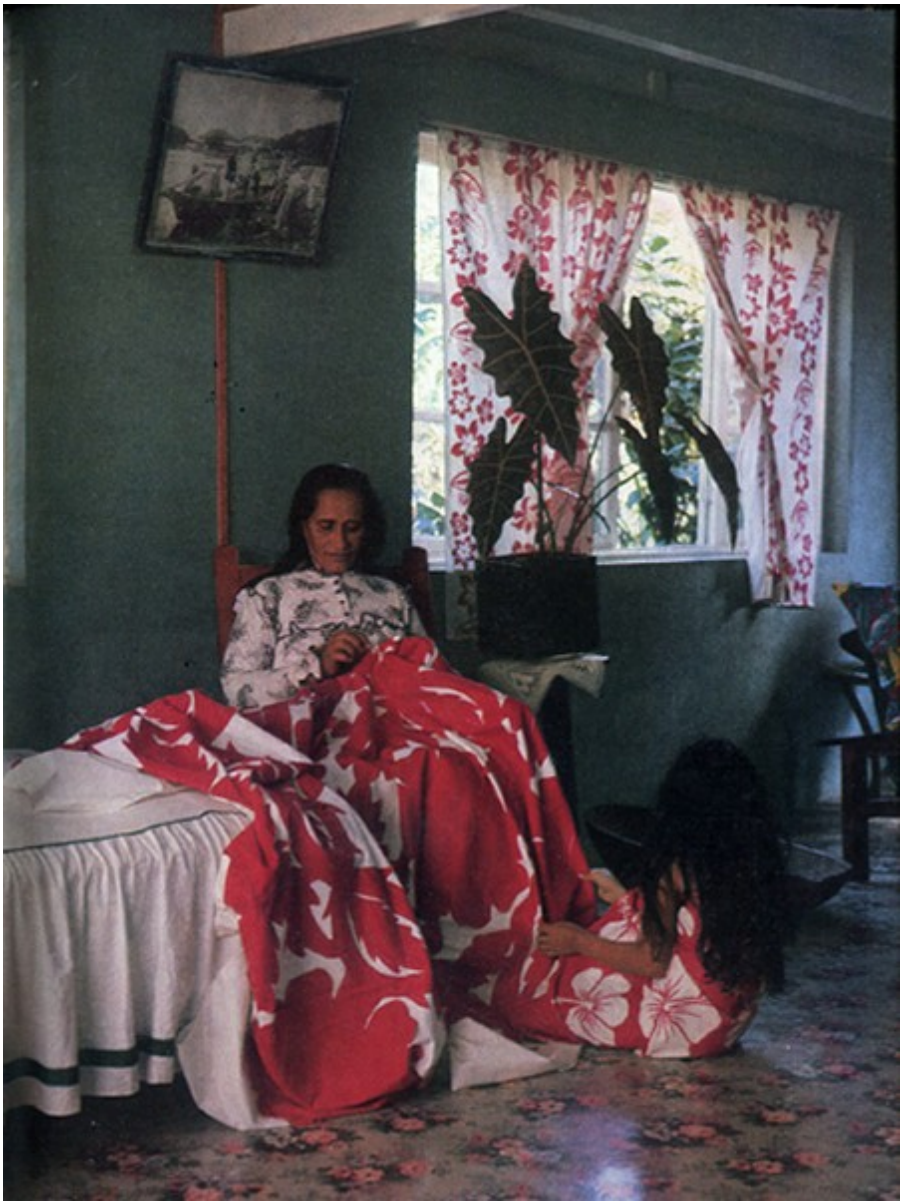
38. На досуге большинство женщин, во всяком случае пожилых, занимаются типично таитянским ремеслом: из мягких желтых листьев пандануса они плетут красивые шляпы и огромные циновки.



48.

Новый двойной дом Гогена в Пунаауиа, снятый в 1897 г. его другом Жюлем Агостини. Видна статуя

обнаженной женщины, которая так возмущала католического священника.



66. Двухсотлетний процесс
цивилизации Таити принес свои плоды: счастливая домашняя хозяйка сидит в своей качалке в
чудном цементном доме с цветастым линолеумом на полу и шьет нарядное покрывало для
кушетки, которой никто не пользуется.



42. Сборщик плодов. 1897

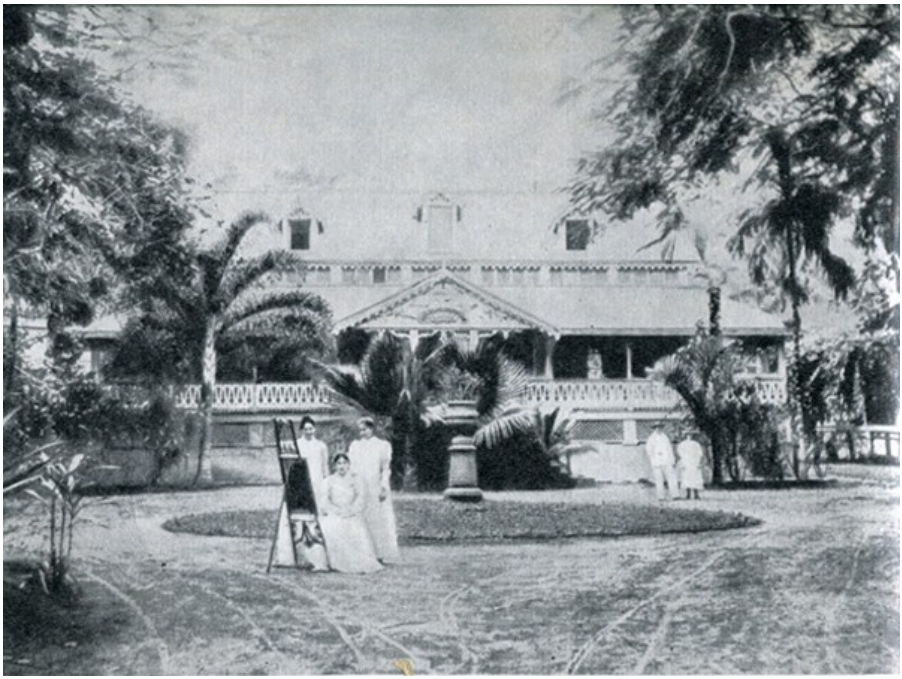
(Мужчина, срывающий плоды с дерева. Эрмитаж, инв. № 9118). Год неразборчив на этой картине,

где мы снова, как на «Тарари муруру», видим коз. Грубое исполнение и мутные краски позволяют,

однако, заключить, что картина писалась, когда Гоген болел и не мог работать в полную силу.

Скорее всего, она создана в 1897 году. Гоген тогда часто страдал от сильных недугов, даже

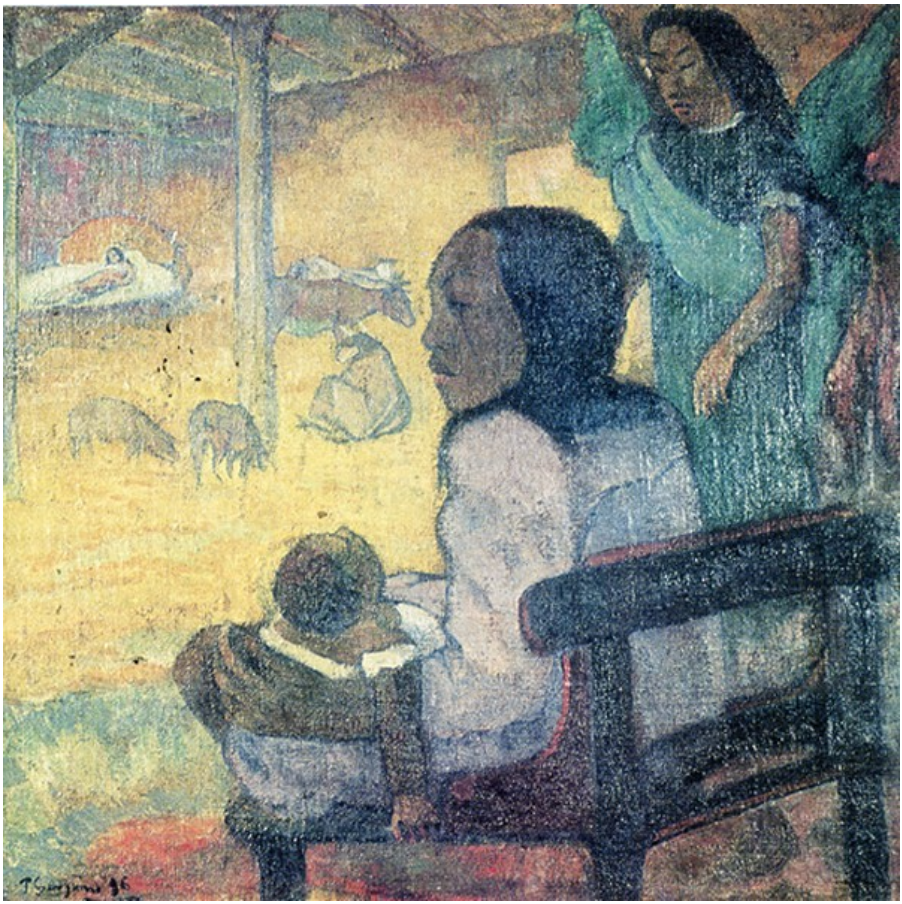
пытался покончить с собой, чтобы избавиться от мучений.



46.

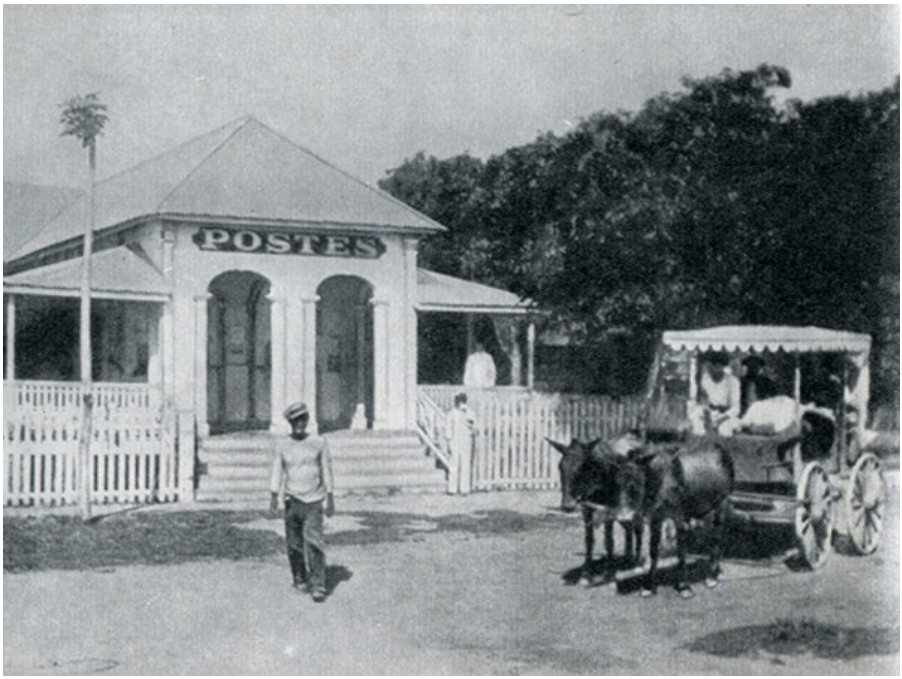
Перед роскошной усадьбой Огюста Гупиля его дочери ждут своего учителя рисования - Поля

Гогена.



40.

Бе Бе. Дитя. 1896 (Младенец. Эрмитаж, инв. № 6568). История этой картины подробно изложена в книге. Здесь достаточно сказать, что «бебе» - одно из немногих французских слов, вошедших в обиходную речь таитян. Коровы на заднем плане заимствованы Гогеном с картины голландского художника Тассерта.



47.

Скромная почтовая контора в Папеэте, куда Гоген приезжал на такой же точно коляске за

письмами и переводами.



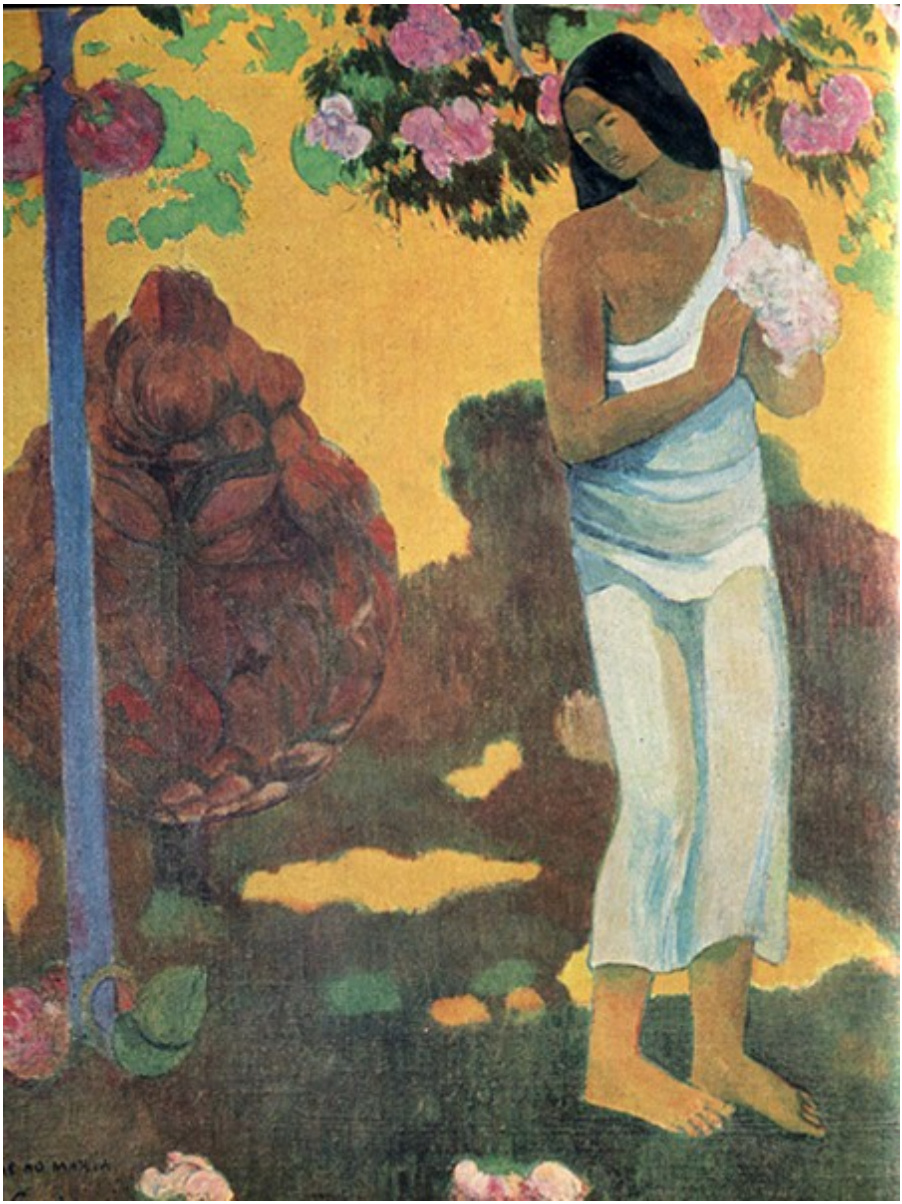
68. Всякую домашнюю работу, в том числе глажку (здесь - старинным английским утюгом), таитянка любит выполнять сидя на полу, даже если она живет в роскошном современном доме с блестящей железной крышей.



36. Этим самым чудесным

видом на море и остров Моореа Гоген любовался шесть лет, с 1895 по 1901 г., когда жил в

Пунаауиа на западе Таити. И теперь художники охотно работают на том же месте.

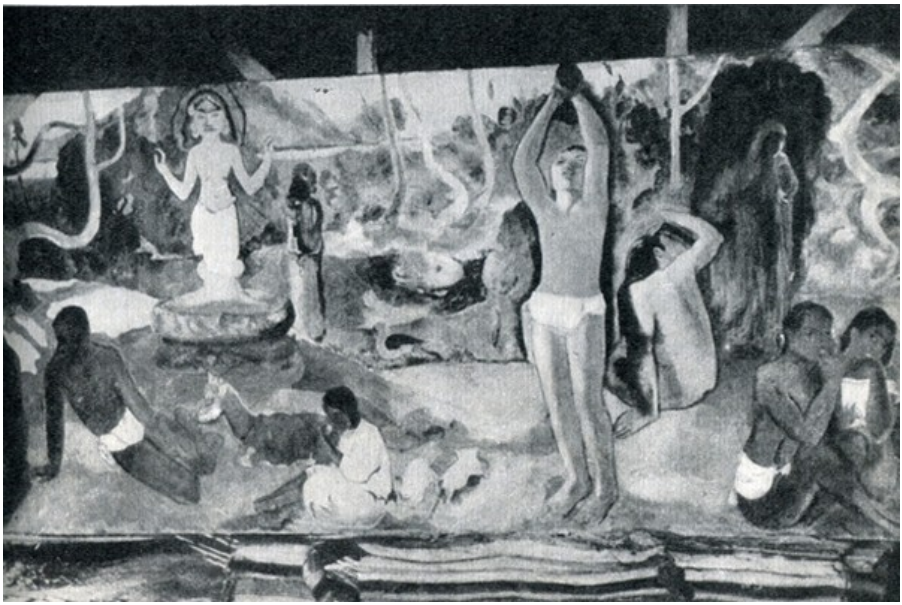


63. Те авае но Мариа.

Месяц Марии. 1899 (Женщина с цветами в руках. Эрмитаж, инв. № 6515). То есть, по

католическому календарю, - май месяц. Картина особенно интересна тем, что показывает, как

Гоген снова и снова повторял одни и те же фигуры и стилизованно изображал деревья.





49.

«Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?» - картина, которую сам Гоген назвал своим духовным

завещанием. Сфотографирована в его мастерской почтмейстером Лемассоном 2 июня 1898 г.

Отк

уда мы? Кто мы? Куда мы идем?

ГЛАВА IX. Унижение и возвышение

Самое логичное после неудавшейся попытки самоубийства - немедля повторить ее

более тщательно. Но когда Гоген, вконец обессиленный, вернулся с горы домой, он, как и

большинство людей, переживших такое потрясение, не мог ни думать, ни поступать

логично. Он попросту лег на кровать и погрузился в сон.

Но хотя Гоген постепенно оправился настолько, что временами убийственная боль в

ноге совсем его отпускала, он чувствовал себя «живым мертвецом». У него не было ни

сил, ни желания что-либо решать, он только мечтал о передышке, чтобы обо всем

поразмыслить.

Однако в отличие от тех, кто уже покоится под землей, живой мертвец должен пить и

есть. Кроме того, Гогену нужно было срочно раздобыть две с половиной тысячи франков и

уплатить долги. Правда, в конце января 1898 года пришло семьсот франков от Шоде и сто

пятьдесят от Мофра, одного из парижских покупателей его картин. Но этого хватило лишь

на то, чтобы убедить китайского бакалейщика в Пунаауиа, у которого Гоген брал почти все

нужные ему продукты, не лишать его кредита. Для расчетов с главным кредитором,

Земледельческой кассой, не осталось ни сантима. А срок займа истекает в мае, и тогда

директор кассы без жалости наложит арест на замечательный дом Гогена и продаст его...

Впервые после того, как он в 1883 году стал профессиональным художником, Гоген

был даже готов бросить живопись, и когда он в конце марта 1898 года после долгого

перерыва смог, не боясь приступов головокружения и обмороков, выходить из дома, то,

чтобы справиться со своими затруднениями, можно сказать, перенесся на пятнадцать лет

назад. Вышло так, что освободилась штатная должность казначея в Земледельческой

кассе. Как бывший биржевой маклер, Гоген справедливо считал себя самым подходящим

человеком во всей колонии на этот пост. К тому же, работая в кассе, будет легче получить

отсрочку. Тем более что отсрочка нужна минимальная, ведь казначей получает в год

четыре тысячи франков жалованья, да еще ему обеспечен приработок не меньше шести

тысяч. Обычно счастливый обладатель этой должности, не перенапрягаясь, зарабатывал

больше тысячи франков в месяц**177**.

В централизованной по парижскому образцу колониальной администрации все

важные посты распределялись губернатором. Поэтому Гоген, несмотря на горький опыт,

запряг лошадь, отправился в город и еще раз оставил в губернаторской канцелярии свою

визитную карточку, прося принять его. Губернатором с февраля 1898 года был бывший

начальник Управления внутренних дел Гюстав Галле, повышенный в награду за успешное

«усмирение» проанглийски настроенных туземцев Раиатеа. Увы, когда Гоген рассказал о

своей давней работе на финансовом поприще, губернатор Галле, не очень-то

сочувствующий людям со сложной и тонкой душой энергичный здоровяк, недоверчиво

отнесся к его ничем не подтвержденным словам. И он не скрывал, что неспособность

Гогена в условленный срок вернуть заем Земледельческой кассе обличает его далеко не с

лучшей стороны.

Однако Гоген выглядел так скверно и отчаяние его было настолько искренним, что

Галле в конце концов сжалился и предложил ему другую, более подходящую для него

должность. Речь шла о скромном месте чертежника в Управлении общественных работ.

Жалованье - шесть франков за рабочий день; другими словами, не оплачивались

воскресенья и другие праздники, а также, - чтобы не было прогулов и мнимых болезней, -

все остальные пропущенные дни. В месяц выходило около ста пятидесяти франков,

только-только прокормиться, а уж об уплате долгов нечего и думать. И, как назло, его

добрый друг Жюль Агостини, который долго возглавлял Управление общественных работ,

всего два месяца назад перевелся в другую колонию**178**. Несмотря на все это, Гоген, как ни

странно, принял предложение губернатора. А может быть, это и не так уж странно, может

быть, как раз возможность с головой уйти в какое-то дело и отвлечься прельстила Гогена.

Ведь знаем же мы случай, когда именно для этого известный разведчик Лоуренс

тридцатью годами позже под чужим именем поступил

рядовым в военно-воздушные силы.

Иначе не объяснишь решение Гогена, потому что он не передумал, хотя вскоре получил от

Даниеля де Монфреда 575 франков и ему на весьма льготных условиях продлили заем.

Вообще оказалось, что он зря так маялся: как владелец участка стоимостью в три-четыре

тысячи франков, Гоген по правилам Земледельческой кассы мог превратить свой годичный

десятипроцентный заем в ипотечную ссуду из шести процентов годовых, сроком на шесть

лет**179**.

Ежедневно ездить на работу в Папеэте - тринадцать километров по скверной дороге -

было, конечно, слишком утомительно, да и времени жалко. Поэтому Гоген забрал Пау'уру

и прочие предметы первой необходимости, запер свою виллу-мастерскую и переехал в

западное предместье столицы, Пао-фаи, в двухкомнатный домик с верандой, который ему

очень дешево сдал один из его новых коллег, Виктор Лекерр. Предупредительность

Лекерра объяснялась тем, что его девушка, Тераиехоа из Матаиеа, была лучшей подругой

Теха'аманы**180**. С разных сторон, но не дальше ста метров, Гогена окружали не только

старые друзья - семейства Дролле и Сюха, - но и новые знакомые, обитатели маленького

поселка мадам Шар-бонье. Больница тоже была под рукой; очень кстати, потому что

теперь он мог основательно лечиться как амбулаторный больной. Гораздо дальше,

километр с лишним, было до места службы, ибо Управление общественных работ

находилось тогда на самом конце Фаре Уте, узкого мыса в восточной части лагуны (теперь

оно размещается в центре города, рядом с больницей). Но это не играло особенной роли,

ведь у Гогена была своя коляска. Он мог добираться и другим способом, которым часто

пользовался, так как это был единственный посильный для него моцион: на легкой лодке

через лагуну, обычно вместе с Виктором Лекерром.

Как и думал Гоген, работа оказалась убийственно нудной. У

нас есть очень

авторитетное описание того, как работалось правительственному чиновнику в середине

девяностых годов, за полвека до того, как в Папеэте появились первые установки

кондиционирования. Автор этой зарисовки - сам Жюль Агостини: «День начинается рано,

в четыре часа утра горожане идут за продуктами на рынок около ратуши... Магазины и

учреждения открываются между шестью и семью утра. Первым делом служащие

выспрашивают друг друга о последних сплетнях и обмениваются множеством похабных

историй, которые принес с рынка слуга, приятель или служанка. Истории помогают

коротать время; правда, иногда от этого страдает работа...

Часам к десяти, когда солнце приближается к зениту и в деревянных строениях

становится невыносимо жарко, беседа идет все более вяло, потом и вовсе прекращается.

Но тут наступает время начальству и служащим покинуть свои конторы, магазины и

пакгаузы и идти в город. Одни заходят в клуб, другие отправляются домой, чтобы

перекусить в кругу семьи.

В полдень магазины снова принимают покупателей, часом позже открываются

конторы. Но работать теперь еще тягостнее, чем утром, потому что стало еще жарче, и

зной вкупе с процессом пищеварения скорее побуждает служащих предаться сиесте, чем

отмерять ткани или заниматься какой-то бумагой, которая вполне может подождать, даже

лучше, если она полежит. Наконец, в пять бьет час избавления. Не мешкая ни минуты, все

- управляющие и служащие, начальники и подчиненные - срываются с места с такой

поспешностью, словно их после долгого заточения выпустили из тюрьмы. Что значит

невыносимо долгий и напряженный трудовой день!

Каждый ищет себе развлечение по вкусу. Для многих это означает прогулку до Фаа

или Фаутауа, где можно встретить всевозможные экипажи, веселых и крепких всадников и

очаровательных велосипедисток, которые либо, не торопясь, работают педалями, либо

мчатся очертя голову. Для других это партия в карты или домино, причем перед игрой или

во время оной, как положено, выпивается аперитив. Самые тертые калачи, не задумываясь

о завтрашнем дне, выкуривают трубку опиума. Около часа занимает ужин, после чего

опять идут в клуб или, позевывая, бродят по почти опустевшим улицам»**181**

Сам Гоген без особой горечи называл свое новое существование «оглупляющим», а

работу «мало интеллектуальной». Помимо присутствия в конторе, где он

преимущественно снимал копии с чертежей и планов, ему вменялось в обязанность

инспектировать дороги, что было еще скучнее и утомительнее. Характер его службы

несколько изменился после того, как сердитый сержант артиллерии, исполнявший

обязанности начальника Управления общественных работ, потерял надежду привить

своим подчиненным понятие о воинской дисциплине и первого мая 1898 года вернулся в

казарму. После него место начальника, тоже временно, занял техник очень скромного

Управления коммунального хозяйства Папеэте, Жюль Оффрэ, обладавший прямо

противоположным недостатком: он был слишком уступчив и мягок. Зато Оффрэ

разбирался в технике и был неплохим художником-любителем, в молодости даже учился в

Академии художеств в Париже, да только не оправдались его надежды стать великим

живописцем. Впрочем, и он не нашел лучшего применения талантам Гогена. К тому же, по

его понятием, Гоген вообще не обладал талантом, ведь мерилом художника Оффрэ было

высокое академическое искусство, которое он смолоду сделал своим идеалом.

Зато исполняющий обязанности начальника Оффрэ был доволен, что в конторе есть

грамотный человек, которому можно поручить переписку. Пусть она не очень обширна, но

правильно составить письмо и написать его без ошибок - не так-то просто. Поэтому он не

особенно придирался к Гогену, когда тот опаздывал на работу или вдруг, невесть почему,

впадал в мрачность и даже демонстрировал свое дурное настроение, хлопая дверью**182**.

(Последующие поколения чиновников, как ни ревностно они искали, не нашли в архивах

Управления ни одного чертежа или хотя бы рисунка на полях, выполненного рукой Гогена.

Дело не столько в том, что чертежника превратили в писаря, сколько в том, что в 1906 году

циклон сровнял с землей здание конторы и разметал все бумаги по горам и по морям.)

До службы в Управлении Гоген все время жил особняком, не входя ни в какие

профессиональные или общественные группы, религиозные или политические союзы.

Конечно, он много раз страдал от того, что неоткуда было получить помощь и поддержку.

Правда, зато его не затрагивали постоянные яростные схватки, которые происходили

между различными группами, и прежде всего между поселенцами и правительственными

чиновниками. Те немногие люди, с кем Гоген сам общался, невзирая на их классовую,

расовую или групповую принадлежность, воспринимали его как равного, а некоторые,

например лейтенант Жено, семья Дролле и романтик Оливен, даже преклонялись перед

ним. Но как только он занял место чертежника в правительственном учреждении, его

тотчас снабдили ярлыком и отнесли к определенной группе. Большинство друзей Гогена

среди поселенцев перестали его признавать; с их точки зрения, он завербовался к врагу. А

в чиновничьей иерархии, к которой он теперь принадлежал, Гоген, увы, стоял на самой

низкой ступеньке. Судьи и начальники отделов, капитаны и лейтенанты, охотно

общавшиеся с художником Гогеном, считали ниже своего достоинства разговаривать с

конторщиком Гогеном. Многие даже смущенно отворачивались в другую сторону, когда

им случалось увидеть его во главе бригады туземных рабочих на улицах города или в

пригороде.

Изоляция Гогена усиливалась еще из-за того, что, в отличие от 1891 года, когда у него

была официальная миссия, низкий чин не позволял ему стать членом клуба «Сёркл

Милитер». (Для этого требовалось звание не ниже младшего лейтенанта или

соответствующий гражданский чин.) А среди мелких служащих, которые могли и хотели с

ним знаться, лишь трое сколько-нибудь его привлекали. Мы уже упоминали его товарища

по работе, Виктора Лекерра, но тот был слишком молод (всего двадцать лет); разве что

послать за чем-нибудь или попросить что-то отнести. Столь же преданным, но гораздо

более интересным приятелем - слово «друг» и здесь вряд ли оправдано - оказался один

бывший солдат, бретонец по имени Пьер Лёвёрго. Он участвовал в военных действиях на

Раиатеа, был ранен в руку копьем и, когда его вскоре демобилизовали, в награду за

проявленную доблесть получил медаль и приятную должность вестового в губернаторской

канцелярии. Гогена в нем больше всего привлекало то, что Лёвёрго готов был без конца

слушать рассказы о Бретани. Самым развитым и высокопоставленным членом тройки был

писарь Франсуа Пикено; Гоген знал его давно, однако до сих пор как-то мало с ним

общался**183**. Оба отбывали воинскую службу на флоте, и это тоже их сближало.

Еще более грустно и одиноко стало Гогену, когда от него ушла Пау'ура. Что Коке

работал простым чертежником, конечно, не играло никакой роли. Скорее всего эта простая

душа и не подозревала, что он переменил профессию, ведь Гоген по-прежнему большую

часть времени «делал картинки», как говорят таитяне. Для нее вся разница заключалась в

том, что теперь Коке на целый день оставлял ее одну. Вот это ей никак не нравилось. Если

бы еще он, уходя утром на службу, оставлял ей побольше

денег, чтобы она могла

веселиться. Но Коке, увы, совсем обнищал. И бедная, томящаяся бездельем одинокая

Пау'ура все сильнее тосковала по Пунаауиа и своим друзьям и близким. Кончилось тем,

что она не выдержала, связала в узелок свое нехитрое имущество и села в дилижанс.

Возможно, повлияло и то, что она забеременела в августе 1898 года и, в отличие от Коке,

опять хотела ребенка.

Гоген много раз ездил в Пунаауиа, уговаривал Пау'уру вернуться, но она

предпочитала жить среди своих. И, пожалуй, она вполне справедливо считала себя вправе

ночевать в доме Гогена и пользоваться его посудой и утварью. Но хозяин думал иначе, он

выгнал ее и покрепче заколотил окна и двери. А приехав в следующий раз, обнаружил, что

Пау'ура с помощью родственников и друзей взломала двери. Тут он решил

воспользоваться случаем, чтобы как следует ей отомстить, и подал в суд, обвинив Пау'уру

во взломе. Следствие показало, что она совершила страшное преступление - украла

кольцо, кофейную мельницу и пустой мешок. И сколько Пау'ура ни твердила, что она

остается вахиной Гогена и нелепо обвинять ее в краже у самой себя, ее присудили к

штрафу в 15 франков и семи дням тюремного заключения. Один сведущий в законах

сосед, который осуждал Гогена и его поступки, помог ей обжаловать приговор, и Пау'уру

оправдали**184**. Возможно, тут сыграло роль то, что с 1898 года правосудием на Таити

руководил бывший друг Гогена, прокурор Эдуард Шарлье, хорошо знавший, как много

Пау'ура сделала для Коке.

Взять кого-нибудь взамен Пау'уры Гогену было не по карману. Даже для того, чтобы

иногда навещать танцевальную площадку и «мясной рынок», где он так славно

повеселился в свои первые месяцы на Таити в 1891 году, требовались ноги поздоровее и

бумажник потолще. Когда одиночество делалось совсем уже

невыносимым, оставалось

только пойти выпить кружку пива или рюмку абсента в одном из семи трактиров города,

где основными посетителями были моряки, солдаты, приказчики и туземцы. Судя по

многочисленным свидетельствам, Гоген в такие вечера основательно напивался и по

малейшему поводу и без повода затевал ссору, а то и драку.

Когда же он в конце концов в нерабочий день вспомнил о кистях и палитре, то лишь

затем, чтобы, заработав немного денег и рассчитавшись с самыми нетерпеливыми

заимодавцами, обеспечить себе несколько более спокойную жизнь. Один из кредиторов,

Амбруаз Милло, сам заказал ему картину. Мсье Милло заведовал одной из двух городских

аптек и, очевидно, решил, что он просто обязан поддержать своего лучшего клиента, так

как предложил цену, намного превосходящую долг Гогена. Правда, зато он попросил

написать «понятную и доступную картину».

Видно, Гоген и впрямь старался угодить аптекарю, потому что вскоре принес ему

«Белую лошадь», которая считается одной из его самых доступных и простых картин. Тем

не менее мсье Милло негодующе воскликнул:

- Но ведь лошадь зеленая! Таких лошадей не бывает!

С большим достоинством и самообладанием Гоген ответил:

- Любезный мсье Милло, вы никогда не замечали, каким зеленым все кажется, когда

вы вечером удобно сидите с полузакрытыми глазами на веранде в своей качалке и

любуетесь игрой света в природе?

Милло едко возразил, что коли уж он тратит на картину несколько сот франков, то

желает получить за эти деньги полотно, которым можно любоваться *при дневном свете*, не

садясь в кресло и не щурясь. Сделка не состоялась, и со временем картина попала в

парижскую мастерскую Даниеля де Монфреда, где скопилось столько непроданных

полотен Гогена**185**. Там она оставалась до 1927 года, когда Лувр купил ее у Монфреда. Как

известно, теперь «Белая лошадь» висит на почетном месте в

гогеновском зале музея.

На столь же видном месте в лондонской галерее Тейт давно экспонируется «Фаа

ихеихе», вторая из двух или трех картин, созданных Гогеном в эту пору, когда он опять,

как во время службы на парижской бирже, мог заниматься живописью лишь в нерабочие

дни. (Связь между этим полотном и «Белой лошадью» подчеркивается тем, что мы видим

на них одного и того же всадника.) Сходство с фреской и светлые, радостные краски дали

повод считать эту вещь, так сказать, жизнеутверждающим противовесом трагической

монументальной картине «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?». Название (вернее

писать *Фа'аи ей е*) подтверждает такое толкование; это широко употребительный

каузативный глагол, означающий «украшать, наряжать, возвеличивать». Разумеется, на

Таити найти покупателя на это полотно оказалось так же невозможно, как и на «Белую

лошадь».

Выбор мотива и весь характер картины позволяют заключить, что Гоген в это время

пришел к оптимистическому выводу: все-таки стоит жить на свете. У него в самом деле

были веские причины смотреть в будущее более уверенно, чем в начале года. Шоде

превзошел сам себя и один за другим прислал два перевода на общую сумму тысяча

триста франков. Тут и Даниель взял реванш за неудавшуюся в прошлом году попытку

организовать закупочную артель и продал частным лицам картин на 65 франков. Благодаря

неожиданным поступлениям Гоген в августе 1898 года смог вернуть кассе первые

четыреста франков, а в сентябре снова лечь в больницу**186**. Уже через три недели он

почувствовал себя настолько лучше, что стал надеяться на полное излечение. Конечно, это

была тщетная надежда. Если внимательно изучить долгую историю болезни Гогена, видно,

что мучительные приступы и временные улучшения равномерно сменяли друг друга через

шесть-во-семь месяцев, и ни тщательный уход, ни полное пренебрежение здоровьем не

влияли серьезно на ход болезни, которая развивалась по своим внутренним законам.

Вот и теперь, в полном соответствии с этой дьявольской схемой, не успел он решить,

что бросит службу, как в незалеченной ноге начались дикие боли, заглушаемые только

морфием, да и то ненадолго. В декабре 1898 года положение было таким же отчаянным,

как год назад, и Гоген с тоской спрашивал себя и Даниеля: «Разве не в сто раз лучше

умереть, если нет надежды на выздоровление? Ты укорил меня за безумный поступок

(попытка самоубийства), считал это недостойным Гогена. Но если бы ты знал, что

делается у меня на душе после трех лет мучений! Если я буду лишен живописи -

единственного, что у меня есть в жизни теперь, когда жена и дети мне безразличны, - на

сердце останется одна лишь пустота». Здесь же Гоген, как всегда неожиданно и нелогично,

сам отвечал на свой вопрос: «Итак, я осужден жить, хотя у меня нет больше для этого

никаких духовных оснований». В январе 1899 года от Даниеля поступила еще тысяча

франков; это позволило Гогену расстаться с нудной службой и уехать в свой дом в

Пунаауиа.

К его безграничному удивлению - и, конечно, большой радости, - Пау'ура, как ни в

чем не бывало, тотчас пришла и деловито принялась вместе с ним убирать и приводить в

порядок дом, основательно пострадавший от крыс и термитов. И ведь, в сущности, в их

отношениях ничего не изменилось; покидая Папеэте, Пау'ура уезжала не от Коке, а от

городской жизни. Она была уже на пятом месяце, и тут пришел ее черед удивляться: Гоген

искренне радовался тому, что вскоре опять станет отцом. «Это счастливое событие для

меня; может быть, ребенок возвратит меня к жизни, сейчас она мне кажется

невыносимой». Девятнадцатого апреля Пау'ура родила ему

сына, и Гоген настолько

воодушевился, что назвал его, как старшего сына от Метте, Эмилем[187]. И в этот раз, как в

декабре 1896 года, когда Пау'ура родила впервые, он написал две очень похожие картины,

одну из которых назвал «Материнство», хотя Пау'уре отведено куда более скромное место,

чем на прежних полотнах с тем же сюжетом. В глаза бросаются две стоящие таитянки,

одна в красной, другая в синей набедренной повязке, а Пау'ура неприметно сидит на

корточках у их ног и кормит ребенка грудью. И в этом случае одна из параллельных

картин очутилась в СССР (в Эрмитаже), другая - в США.

Но не радость отцовства наполнила новым смыслом и содержанием жизнь Гогена, а

представившаяся ему вскоре возможность отыграться за частые унижения.

Все началось с открытия, что за десять месяцев, пока он жил в городе, из дома

исчезло гораздо больше того, что взяла Пау'ура, причем воры по старой привычке

продолжали наведываться по ночам. Но на месте преступления ему удалось схватить

только одну женщину (вероятно, какую-нибудь из подруг Пау'уры, а то и его собственную

знакомую), и проступок ее был столь же незначителен, сколь необычен: она, по словам

самого Гогена, «среди ночи ходила и подметала веником между кустами на участке, со

всех сторон огороженном стальной проволокой». Гоген решил для острастки примерно

наказать ее и обратился в полицию, но туземный полицейский и французский жандарм

пальца о палец не ударили.

Тогда он поехал в Папеэте к прокурору Шарлье, который прямо сказал, что из чистого

доброжелательства выбросил иск в корзину, так как предыдущий иск против Пау'уры уже

сделал Гогена посмешищем. И вообще, нельзя обвинять во взломе человека, который

подметал участок веником. Гоген пришел в ярость и, потрясая кодексом, стал доказывать

Шарлье, что есть много подходящих параграфов. Обвинение в

некомпетентности,

естественно, возмутило прокурора, и он выставил заявителя за дверь.

К сожалению, ночные посещения и кражи продолжались именно потому, что жулики

остались безнаказанными. Гоген опять пошел в полицию и снова обратился к прокурору.

На сей раз Шарлье переслал его заявления туземному полицейскому в Пунаауиа и велел

основательно расследовать дело. Полицейский, понятно, не был склонен выступать за

европейца против своих земляков и без конца оттягивал расследование. Тогда взбешенный

Гоген написал длинное письмо на имя прокурора, но отправил его не Шарлье, а редактору

ежемесячника «Осы», выходившего в Папеэте под гордым девизом: «Право выше силы»**188**.

Редактор поместил письмо в июньском номере, однако в редакционном примечании

предусмотрительно снимал с себя ответственность. Название журнала подходило к

случаю, потому что Гоген был зол, как шершень, и решил как следует ужалить Шарлье.

Уже первые строки задавали тон:

«Мсье Шарлье,

Я не знаю, обзавелось ли наше правительство колониями для того, чтобы освоить их.

Зато я знаю, несмотря на свое невежество во многих вопросах, что есть люди, у которых

хватает смелости стати поселенцами. Как поселенец я ежегодно плачу немалые налоги, и

как поселенец я требую, чтобы мое владение было ограждено от незваных гостей, ибо по

закону у меня есть не только обязанности, но и право на защиту.

Допустим, власти колонии просто не могут предотвратить мошенничество и кражи, а

также расследовать их, когда они совершены. Однако всех поселенцев Таити несомненно

удивит, что Вы отказываетесь карать воров, пойманных нами на месте преступления. Эта

процедура, введенная Вами, возможно, кажется Вам гениальной, нам же она, к

сожалению, приносит большой ущерб. Благодаря Вашей

защите туземцы безнаказанно

обкрадывают нас... Здесь в области всякому известно, что меня можно грабить и

преследовать, и этим пользуются ежедневно. Кончится тем, что власти окажутся

повинными в нападении, а мне расплачиваться за это.

Полагаясь на здравый смысл и силу общественности, я решил высказаться на этих

страницах, ибо я хочу, чтобы закон защищал меня, - как он меня покарает, если я окажусь

преступником. Я владею и пером и шпагой, и я требую, чтобы все, в том числе прокурор,

относились ко мне с должным уважением».

Изложив историю с веником и не менее загадочный случай, когда исчез ключ от

почтового ящика, Гоген снова бросает перчатку.

«Могут ли поселенцы нашей области впредь чувствовать себя в безопасности, если

они подвержены произволу местных вождей, которые откровенно пристрастны и

подчинены вашей деспотической единоличной власти? У Вас нет таких полномочий, зато

у Вас есть обязанности.

Когда речь идет о моих правах, я тверд, потому что дело касается также моего

достоинства. Вот почему я прошу Вас сообщить, может быть, Ваше отношение ко мне

объясняется нелепым желанием наступить мне на ноги (они и без того болят). То есть, Вы

так действуете, чтобы сделать из меня дурака? Тогда имею честь прислать к Вам своих

секундантов.

Или же - что более вероятно - Вы должны признать, что Вам не по силам

осуществлять правосудие... что Вами движут тщеславие и глупость, ибо иначе Вы бы не

внушали себе, что Вы значительное лицо. Кроме того, Вы явно убеждены, что Ваши

покровители всегда будут выручать Вас из затруднений, в которые Вас то и дело

вовлекают Ваши промахи.

Если это так, я буду ходатайствовать перед Правительством, чтобы Вас отозвали во

Францию и дали Вам возможность повторить Ваш

университетский курс и хорошенько

усвоить азы Вашей профессии.

С приветом

Поль Гоген Пунаауиа».

А чтобы стало совсем ясно, что Шарлье - плохой и нерадивый прокурор, Гоген

уговорил поселенцев по соседству, у кого были такие же жалобы, послать коллективное

письмо губернатору. Правда, не все поселенцы владели слогом, поэтому он на всякий

случай облегчил им задачу, составив образец письма:

«Мсье Губернатор!

Настоящим имеем честь сообщить Вам, что по жалобам, которые мы направляли в

жандармерию и которые затем пересылались прокурору, до сих пор не принято никаких

мер.

Поскольку такая пассивность приносит нам, колонистам, большой ущерб, а мы

полагаем, что закон существует для того, чтобы нас охранять, мы настоятельно просим

Вас обдумать, что Вы можете предпринять, чтобы исправить столь прискорбное

положение на Таити.

С искреннейшим почтением

(ПОДПИСИ)**189**

То ли из милосердия, то ли потому, что он был неплохим тактиком, прокурор Шарлье

ничего не ответил. Гоген, который, видимо, был искренне убежден, что доблестно

сражается за правое дело, и уже сочинил речь на семь страниц, даже разочаровался. «Что

касается меня, результат равен нулю: ни дуэли, ни суда. Как же все прогнило в колониях!»

Однако ему явно полегчало от того, что он дал выход своему гневу, и Гоген продолжал в

том же духе - в июльский номер «Ос» он написал длинную статью с не менее резкими

нападками на другого человека, возмутившего его своим высокомерием, а именно самого

губернатора Галле. Достаточно привести конец статьи, чтобы представить себе ее

содержание: «Для них дела колонии все равно что дела какой-нибудь захудалой мелкой

фирмы... Поневоле усомнишься в способности государственных служащих понимать

нужды колонии и ее населения, когда вспомнишь, что они всего лишь временные гости,

которых волнуют только их собственные доходы и благополучие». И он заканчивает

такими словами: «Правительственные чиновники - вот подлинные враги поселенцев».

Подбодренный интересом, который вызвали его писания, Гоген решил, что месть

будет вдвойне сладкой, если он сможет получать за них деньги. Так родился

четырехполосный ежемесячник, конечно, иллюстрированный, названный им «Улыбка».

Большую часть первого номера, вышедшего 21 августа 1899 года, занимали нападки еще

на одного человека, который, на взгляд Гогена, скверно с ним обращался, - адвоката

Гупиля. Повод подвернулся превосходный, так как Гупиль задумал основать акционерное

общество, чтобы осуществить старую грандиозную мечту, а именно, провести от Папеэте

до Матаиеа железную дорогу. Не только Гоген, но и многие другие граждане колонии

подозревали, что главная цель намеченной дороги - перевозить кокосовую крошку,

производимую на фабриках Огюста Гупиля. Поэтому атака Гогена выразилась в

язвительном описании вымышленной поездки по новой железной дороге в день ее

открытия. С нарочитым удивлением автор обнаруживал, что каждая станция, где

останавливался поезд во время своего триумфального рейса, не что иное, как фабрика

кокосовой крошки. Узловая станция показалась ему чрезвычайно знакомой - и неспроста:

это было роскошное поместье Гупиля. Не называя владельца по имени, Гоген описывал

поместье так, что ошибиться было нельзя: «Оно стоит на бугре и напоминает кучу

консервных банок, выложенных ярусами, словно плотник задумал сотворить копию

дворца. В духе цивилизации, совсем как в Версале, сад украшают статуи. Есть и ворота, и

великолепные псевдометаллические вазы на колоннах с жидкими растениями алоэ,

выполненными из цинка! Заглянув в дверь, я как будто в дальнем конце различил две руки,

играющие на гитаре. И мне почудился голос, исполняющий прелестный припев: «Люблю

я эти денежки».. .» В заключение все высокопоставленные лица приглашаются Гупилем на

роскошный банкет, меж тем как простолюдины, включая Гогена, закусывают за свой счет в

станционном буфете, где подают ... кокосовую крошку.

Больше всего статьи Гогена пришлись по душе главному конкуренту Гупиля, мэру

Папеэте, Франсуа Карделла (Гоген явно это предвидел, потому что прислал мэру

экземпляр первого номера «Улыбки» с собственноручной надписью)**190**. Карделла родился

на Корсике и был истый корсиканец нравом - горячий и вспыльчивый. Он учился на

медицинском факультете, когда его призвали в армию и отправили подручным фельдшера

в Мексику, куда французские войска вторглись в 1863 году. Оттуда Карделла, уже как

судовой врач, добрался до Таити, и здесь ему так понравилось, что он, как и многие до и

после него, отслужив свой срок, осел на острове. Не тратя больше времени на учение, он

открыл аптеку, которой при Гогене, как уже говорилось, заведовал Амбруаз Милло,

бывший правительственный служащий. Аптека оказалась прибыльным делом, но по-

настоящему Карделла разбогател, когда заполучил монопольное право выращивать

опийный мак на острове и сверх того открыл скотобойню. Один из немногих в колонии, у

кого было вдоволь и времени и денег, он почти все свои зрелые годы посвятил политике. С

1890 года, когда Папеэте получил статут города, Карделла был бессменным мэром. Но

застать его чаще всего можно было не в мэрии, а на веранде его аптеки, очень удобно

расположенной в центре города (номер 20 на карте Папеэте); здесь-то Гоген, который

часто наведывался в город за лекарствами, и познакомился с

ним**191**. И в той же аптеке Гоген

впервые встретил редактора «Ос», владельца типографии и часовщика по имени Жермен

Кулон.

Карделла возглавлял местную партию, которая называла себя католической, потому

что большинство ее членов считались католиками. Естественно, оппозиционная партия

называлась протестантской; ею руководили консул Гупиль и два миссионера-кальвиниста.

Обе партии, не имевшие ни определенной программы, ни твердых организационных

форм, возникли в 1885 году, когда колония получила известную автономию, и с тех пор

ожесточенно сражались за восемнадцать мест в генеральном совете, как был назван этот

миниатюрный парламент. Депутаты избирались всеобщим прямым голосованием, но на

этом сходство с современной демократией кончалось, потому что кандидатами могли быть

только лица, умеющие говорить и писать по-французски. Иначе говоря, туземцы чуть ли

не полностью отпадали; впрочем, они отнюдь не считали это вопиющей

несправедливостью. Напротив, они охотно голосовали за французов, лишь бы их не

заставляли платить налоги и вообще не трогали от выборов до выборов. И никто их не

трогал.

Рупором католической партии были как раз «Осы», принадлежавшие Карделле и

другому богатому дельцу, Виктору Раулю**192**. Оппозиция располагала двумя газетами:

«Французская Океания» (собственность консула Гупиля) и «Таитянский вестник»,

принадлежавший другому местному адвокату, Леону Бро, который позже стал норвежским

консулом. Самое замечательное в этих политических органах не содержание - оно

сводилось к нудным мелочным перепалкам, - а то, что издатели с великим трудом,

достойным лучшего применения, ухитрялись набирать и печатать их, располагая лишь

самыми примитивными машинами.

Как ни сражались между собой составлявшие прочное большинство обеих партий

французские купцы, трактирщики и плантаторы за честь заседать в совете, торговой и

сельскохозяйственной палатах, в одном вопросе всех поселенцев объединяло трогательное

единодушие: они считали, что им куда больше пристало управлять колонией, чем

присылаемым из Парижа чиновникам. Самые жаркие стычки происходили в генеральном

совете, где были представлены обе стороны. Численное превосходство бесспорно

принадлежало поселенцам: восемнадцать против одного-единственного представителя

властей, а именно, начальника Управления внутренних дел. Но на самом деле власти

располагали решающим козырем, так как губернатор или министр колоний в любую

минуту мог отменить постановления совета. Выдержка из книги одного бывшего

правительственного чиновника лучше долгих объяснений показывает, как работал

местный парламент.

«Заседания Генерального совета - желанное развлечение для местных жителей,

которым недостает увеселений. В зале, где густо стоит копоть от керосиновых ламп, ведут

дискуссию двенадцать граждан под председательством почтенного купца. Здесь же

начальник Управления внутренних дел. Вход в зал свободный, и публика запросто

переговаривается с избранниками народа, среди которых столяры, пекари, часовщики, -

виноторговцы, бакалейщики, мясники и так далее. Интеллигенция представлена двумя-

тремя адвокатами, которые еле-еле сдали экзамен, но держатся словно видные юристы, и

двумя-тремя флотскими офицерами, обосновавшимися на Таити после выхода на пенсию.

Можно услышать много забавного. Например, просит слова пекарь. Держа в руках

бюджет колонии, он горестно отмечает, что доходы занимают всего две страницы, а

расходы - двадцать восемь! Все от души смеются. Поступает

запрос начальнику

Управления внутренних дел, что это за роскошный, весь расшитый серебром мундир он

надевает по торжественным случаям. Начальник, как может, старается оправдать

необходимость такого наряда. Потом следуют резкие выпады против колониальной

администрации и полиции, и вдруг кто-то восклицает:

- Долой аресты на имущество!»**193**

Католическая партия пришла к власти в 1890 году и располагала надежным

большинством - ей принадлежало одиннадцать мест, протестантам всего семь, но в конце

1899 года случилось нечто совсем неожиданное. В этом году губернатор Галле, побывав в

Париже, убедил министра колоний провести реформу, и десятого августа был издан

декрет, объявленный через два месяца в Папеэте**194**. По этому декрету количество выборных

депутатов в генеральном совете сокращалось до одиннадцати, по числу округов на Таити и

Моореа. Семь представителей Туамоту, Мангарева, Маркизских и Австральных островов

назначались губернатором. Мотивировка была очень пространной и сводилась к тому, что

названные архипелаги с несравненно более отсталым и примитивным населением, чем

цивилизованные Таити и Моореа, в последнее время подверглись совершенному

пренебрежению со стороны своих депутатов - французских купцов, постоянно

проживающих в Папеэте. Приводимые в декрете цифры из бюджета красноречиво

подтверждали это. Четыре запущенных архипелага давали вместе больший доход, чем

Таити и Моореа, тем не менее генеральный совет лишь *одну* десятую годового бюджета

обращал на благо их жителей, а *девять* десятых шли на строительство домов,

совершенствование порта и реконструкцию улиц Папеэте**195**. Словом, реформа губернатора

Галле была не такой уж антидемократической, как может показаться на первый взгляд, и

нет сомнения, что он и впрямь хотел устранить вопиющую

несправедливость.

Из одиннадцати депутатов от католической партии шесть представляли те архипелаги,

которые по декрету лишались избирательного права. На Таити и Мооpea исстари прочно

стояли протестанты, так как здесь протестантские миссионеры успели обратить туземцев

в свою веру задолго до того, как острова стали французской колонией. И когда 19 ноября

1899 года состоялись новые выборы, исход был предрешен. В генеральный совет прошло

всего четыре католика (все от Папеэте) и семь протестантов**196**. Большинство

представителей, назначенных Галле, тоже оказались протестантами. Карделла

распорядился, чтобы декабрьский номер «Ос» вместо четырех вышел на шести полосах,

содержащих яростный протест против скандальной политики губернатора. И

последующие номера всецело были направлены против Галле.

К сожалению католиков, в их рядах было мало хороших журналистов, и Карделла

явно считал, что именно поэтому кампания не дает результата. Самым сильным

полемистом в колонии показал себя Поль Гоген, который не прекращал дерзко задирать

власти как в своем ежемесячнике, так и в статьях для «Ос». Правда, Карделла лично был

не очень расположен к Гогену, но он понимал, что его талант нужен партии и газете, а

потому в январе 1900 года преспокойно предложил художнику стать редактором «Ос»**197**.

Жалованье - какое он заслужит. Гоген в это время остро нуждался в помощи, кончились

все холсты и краски, и он опять сидел без денег. Неплохой спрос на его картины в 1898

году ободрил Гогена, но с января 1899 года он не получил из Парижа ни сантима.

Отсутствие переводов от Шоде объяснилось в январе 1900 года, когда с очередной почтой

пришло известие, что сам Шоде умер, а галерея закрыта. «Улыбка» приносила не больше

пятидесяти франков в месяц, в итоге Гоген всюду

задолжал**198**. Враги католической партии

были его врагами, накопившаяся ярость требовала выхода. Поэтому он тотчас принял

предложение Карделла и засел писать бранные статьи для февральского номера «Ос». Из

семи статей этого выпуска Гогену принадлежат шесть, и в них достается на орехи чуть ли

не каждому из противников Франсуа Карделлы.

Вероятно, больше всего владельца «Ос» обрадовал лихой выпад Гогена против

протестантских миссионеров. Обрушиваясь на недавно принятый властями указ, новый

редактор заодно высмеял губернатора Галле. Указ был совсем ненужным, даже

необъяснимым, ибо направлялся против «бродяжничества», которого на острове вовсе не

существовало. Скорее всего, сей загадочный акт попросту был одним из тех

многочисленных законов, которые, будучи изданы правительством в Париже для

метрополии автоматически распространялись на колонии, где все было по-другому. Так

или иначе, Гоген не упустил великолепной возможности побичевать «диктаторские

методы проконсула» и подчеркнуть, что на островах есть лишь один разряд людей, к

которым приложимо определение «бродяги», - протестантские миссионеры. Против них,

продолжал он, оправданы самые строгие меры, ибо эти преступные лица,

«маскирующиеся под религиозных пуритан», не только набивают свои карманы деньгами,

вымогаемыми у туземцев, но и нагло ведут антифранцузскую пропаганду. Задыхаясь от

возмущения, Гоген гневно заключал: «Вот где подлинное и опасное бродяжничество, но на

него наши правители склонны закрывать глаза. Вот мысль, которую мы желали высказать,

не очень надеясь, что кто-нибудь с ней посчитается, так как отлично известно, - когда

ветер дует из Лондона или Женевы, некоторые лица своим первым долгом считают борьбу

против католической религии». Трудно представить себе более решительный пересмотр

взглядов, которые он три года назад с не меньшим жаром и красноречием провозглашал в

своем пространном эссе о современном духе и католической церкви.

Главный враг партии, губернатор Галле, невольно помог сделать дебют Гогена в роли

редактора «Ос» особенно примечательным. Невзирая на нападки, он продолжал свою

реформаторскую деятельность и в середине февраля перекроил торговую палату по

образцу генерального совета. Гоген оправдал оказанное ему доверие. В рекордно короткий

срок (всего через пять дней!) он выпустил экстренный номер на одной полосе, поперек

которой самым крупным шрифтом было набрано: «ТОРГОВАЯ ПАЛАТА

РАСПУЩЕНА!». Текст был остроумнее заголовка. Метко окрестив губернатора «мсье

Долгорукий», Гоген ловко намекнул, будто Галле думал лишь о том, чтобы отомстить

заправилам католической партии. Статья заканчивалась предупреждением: «Мсье

Долгорукому полезно было бы поразмыслить над старой поговоркой: повадился кувшин

по воду ходить - там ему и голову сломить!»

Время и место не позволяли как следует развить эту тему в экстренном номере, и весь

очередной, мартовский номер Гоген тоже посвятил разоблачению подлых мотивов

губернатора Галле. Почти всю первую полосу занимала подписанная передовица, где

реформы губернатора назывались «сплетением алогичных противоречий», а их автор

«деспотическим самодуром». Впрочем, тут же Гоген, используя оригинальное сравнение,

не совсем последовательно заявлял, что деспотизм Галле «пугает лишь воробьев, это

похоже на человека, который, боясь одиночества, громко поет ночью». На следующей

полосе была своего рода вторая передовица; здесь Гоген уточнял, в чем состоят смертные

грехи губернатора: он-де душит «всякий прогресс, всякую свободу и всю торговлю

колонии».

Из номера в номер Гоген продолжал беспокоить такими атаками действительных и

мнимых противников католической партии. По-моему, в оценке этих статей не может быть

двух мнений: они очень скучны и однообразны. Только два раза он отвлекался от нудных

вопросов местной политики. В первом случае попросту оживил номер коротким

анекдотом:

«Когда я пьян (прошу простить), я становлюсь шутником. И вот однажды, проходя

мимо величественного здания Французской Академии, я вздумал заглянуть к привратнику.

Напустив на себя подобающую важность, я спросил почтенного Цербера:

- Мсье Золя здесь?

На что он еще более важно ответил:

- Мсье Золя никогда не войдет в Наш Дом».

Во втором случае Гоген наконец обратился к предмету, представляющему более

широкий интерес и частенько обсуждаемому до сих пор: сделали ли успехи техники нас

более счастливыми. Так как Гоген здесь, похоже, говорит то, что думает, стоит привести

характерные выдержки:

«Нам говорят, что за последнее столетие мы распространили цивилизацию, достигли

нового прогресса и т. д. Допустим даже, что это верно - к чему тут столь гордо

употреблять слово «мы»? Так и подмывает спросить: «Кто это - *вы*?» Как и я, вы ничто.

Завершив роскошное гуманитарное образование, мы являемся на свет, словно гусеницы,

превратившиеся в бабочек, - блестящие субъекты, сверкающие с ног до головы, способные

толковать обо всем на свете. Но это, увы, попросту означает, что мы страшные глупцы.

Все создано исключительными людьми. Один лишь бог творит гения, а гений двигает

нас вперед. Вот почему великий художник сказал на похоронах Пастера:

«Сколько времени понадобится природе, чтобы создать новый мозг, равный этому?»

Со времен Менеса до христианской эры, в ту варварскую

эпоху, когда никто и не

помышлял о том, чтобы просвещать народ, как развивался Египет? Страна вся, от края до

края стала одним огромным памятником, который кажется созданным не людьми, но

богами.

Возьмем, к примеру, Эйфелеву башню - вправду ли она олицетворяет прогресс по

сравнению с Иерусалимским храмом? Но ведь у нас есть велосипеды и автомобили,

возразит кто-нибудь. Конечно, и они, бесспорно, новое явление. Но сколько предметов и

сколько секретов производства утрачено? Скажем, закалка бронзы, металла куда более

прочного, чем наша современная совершенная сталь. А в философии были Будда, греки,

божественный Платон, наконец Иисус. Может быть, Лютер и Кальвин олицетворяют

прогресс?

Но *мы* цивилизованные люди! Да, вчера пользовались пращой и стрелами, сегодня у

нас есть ружья и пушки. И варварские орды, которые в прошлом путешествовали бы

пешком или верхом, теперь садятся на поезд или пароход. В чем же заключаются

перемены?

Только когда наше общество будет жить в благодатном мире, когда оно будет

пожинать плоды интеллектуального труда, когда будет установлено справедливое

распределение для трудящегося и для одаренного, только тогда его можно будет назвать

цивилизованным обществом».

Так как редактировать «Ос» оказалось намного доходнее, чем ценой огромного труда

и времени писать, иллюстрировать, гектографировать и распространять свою собственную

«Улыбку», Гоген сделал апрельский номер последним и сосредоточил все силы на «Осах».

Одним из многих преимуществ, связанных с должностью редактора четырехполосной

неиллюстрированной газеты, выходящей раз в месяц, было то, что Гоген мог даже не

переезжать в город. И, отлично сознавая, как в нем нуждается

партия, он, вместо того

чтобы самому запрягать и ехать в Папеэте, часто вызывал своих сотрудников в Пунаауиа.

Радуясь тому, что вновь стал уважаемым и почитаемым членом общества, Гоген старался

не замечать вульгарности и необразованности новых друзей и даже устраивал для них

пирушки**199**. Весьма кстати самый могущественный после Карделлы человек в партии, Виктор Рауль, был крупнейшим импортером французских вин и ликеров и охотно

поставлял нужные напитки. Товарищ Гогена по службе в Управлении общественных работ,

бывший бретонский солдат Пьер Лёвёрго, теперь перебрался в Пунаауиа и иногда бывал

на этих пирушках. Его воспоминания представляют также и психологический интерес:

«Гоген в это время производил впечатление богатого человека, у него всегда были в запасе

дома спиртные напитки и всякие консервированные продукты. Чуть ли не каждое

воскресенье он приглашал нескольких друзей на тамара'а (угощение, приготовленное на

таитянский лад в земляной печи). Блюда всегда были безупречны, и обед проходил чинно

и достойно. Но после обеда прибывали еще гости, гулянье начиналось всерьез и длилось

обычно всю ночь. Гоген любил потешиться, подбивая гостей на всякие глупости

(например, уговаривал женщин раздеться). Хотя он пил много, но никогда не выглядел

пьяным и сохранял власть над собой»**200**.

Вершины своей политической карьеры Гоген достиг в воскресенье 23 сентября 1900

года, когда выступил с речью на митинге, устроенном католической партией в главном

зале мэрии Папеэте. Митинг был направлен против вторжения китайцев в колонию. Уже

несколько лет подряд чуть ли не каждое судно привозило когда троих-четверых, когда

десять-двенадцать китайских иммигрантов, и власти позволяли им оставаться, так как

приезжие - справедливо ли, нет ли - утверждали, что прибыли к родственникам среди

китайских семейств, давно обосновавшихся к Папеэте. А местные китайцы с неизменным

радушием принимали и устраивали новичков. Трудолюбие и сплоченность китайцев

постепенно сделали их опасными конкурентами французских торговцев, которые

потребовали, чтобы власти запретили дальнейшую иммиграцию. Митинг был объявлен за

несколько недель в афишах и листовках, и к половине девятого утра, когда он начался,

собралось чуть ли не все население города. (Наверно, многие пришли прямо из какого-

нибудь китайского ресторанчика, которых столько расплодилось в городе.) Открытым

голосованием председателем избрали Виктора Рауля,

заместителем председателя - Гогена.

Оба были в списке ораторов, но первым взял слово Гоген. Вот как он сам в октябрьском

номере «Ос» излагает единственную произнесенную им политическую речь:

«Господа!

Прежде всего позвольте поблагодарить вас за то, что вы вняли нашему призыву и

пришли на этот митинг. Я вижу перед собой не заурядное скопление людей, которое

можно наблюдать где угодно и когда угодно, но сплоченную семью, отряд друзей, которые

собрались вместе здесь, вдали от родины, все полные твердой решимости своим трудом и

своим мужеством - как того требует от нас родина - обеспечить благо себе и всей колонии,

все гордые тем, что они французы. Именно и прежде всего как француз, считая это звание

почетным для себя, я, поборов свою застенчивость, теперь осмеливаюсь на несколько

минут занять ваше внимание. Я приехал недавно и по профессии художник, поэтому не

могу говорить о частностях, это сделают после меня более сведущие ораторы. Мне же

хочется только в общих чертах сказать о серьезной проблеме, этой всем известной

китайской проблеме, серьезной потому, что она угрожает Таити. Будем надеяться, что еще

не поздно, и ваш долг помочь ее решению, приняв на этом митинге резолюцию, тщательно

и ярко составленную и хорошо мотивированную.

Статистика показывает, что в область Тихого океана вторглось не меньше двенадцати

миллионов китайцев, которые постепенно захватывают в свои руки всю торговлю в

Южных морях...

Если не принять мер, Таити скоро погибнет. Господа, вам в самом деле хочется, чтобы

вас схоронили еще до вашей смерти? Нет, конечно же, вы не хотите этого, и здесь

достаточно вспомнить пример наших славных предков, которые своей кровью оплатили

нашу свободу.

Помимо текущих проблем, связанных с китайским

вторжением в нашу прекрасную

колонию, несомненно возникнут и другие. Я подразумеваю следующее поколение, которое

будет наполовину китайским, наполовину таитянским. Даже больше чем наполовину

китайским, потому что физически и духовно китайские черты всегда берут верх. От

рождения дети будут французскими гражданами, со временем они получат то же право

голоса, что мы...

Я пытаюсь убедить себя, оставляя за вами право думать иначе, что правители колонии

желают нам только лучшего и трудятся на благо колонии, ради ее процветания сегодня и

завтра. Но, к сожалению, они увлечены политическими распрями, которые могут погубить

колонию. Или же они настолько загружены работой, что им просто некогда разобраться во

всех проблемах. Но ведь есть другие люди, знакомые с колониальными проблемами,

обладающие большим опытом в этих делах, и они только из чувства долга, без всякой

корысти, исключительно стараясь поддержать правое дело трудолюбивых поселенцев,

путем кампании в печати, привлекали внимание наших властей к опасности, кроющейся в

китайском вторжении, и потребовали защиты, на которую они имеют право. Однако все

эти усилия оказались *тщетными*.

Кто-нибудь скажет, что протесты исходили от двух-трех склочников, которых хлебом

не корми - дай пожаловаться, и они не представляют общественности. Вот почему наш

долг перед лицом полного и абсолютного молчания властей призвать всех истинных

патриотов поддержать нас. От вас, господа, зависит спасение колонии.

Когда вы выразите свое мнение и подпишете петицию, которая будет вам вручена,

народ Франции узнает, что в далеком уголке земного шара есть французская колония, где

живут французы, достойные этого звания, не желающие стать китайцами. И нельзя

попирать их права, не беря при этом на себя чудовищную

ответственность».

Приведенные выше выдержки ясно показывают, кто были врагами Гогена. Но за кого

он стоял? Только за французских купцов? Эти вопросы стоит задать, потому что в

обильной литературе о Гогене то и дело встречаешь утверждение, будто он в бытность

журналистом горячо защищал бедных угнетенных туземцев. Ограничусь короткими

цитатами из двух самых известных и читаемых книг о Гогене, написанных Раймоном

Коньятом и супругами Хансон**201**. В первой говорится коротко и ясно, что французские

поселенцы «считали Гогена, так сказать, отступником, потому что он шел против них на

стороне туземцев. Всеобъемлющая справедливость и мораль были противопоставлены

классовой морали; конфликт был неотвратим». Лоуренс и Элизабет Хансон пишут с

искренним участием: «Местные французы, которых Гоген надеялся побудить изучить его

обвинения и протестовать против обращения с туземцами, только посмеивались над

очередной выдумкой отуземившегося бесноватого художника. Они с удовольствием

читали его статьи и ничего не делали».

Хотя я заранее был уверен в ответе, я прочитал все выпущенные Гогеном номера

«Ос», чтобы проверить, есть ли там хоть что-нибудь, подтверждающее всеми принятые

постулаты. Кстати, это было не просто. В отличие от «Улыбки», которая выпущена

недорогим факсимильным изданием, нигде, даже во французской Национальной

библиотеке, не было полного комплекса «Ос», и лишь после долгих поисков мне удалось

собрать двадцать три из двадцати пяти номеров, где Гоген выступал либо редактором, либо

автором.

Тщательное изучение этих номеров показывает, что за два года туземная проблема

обсуждалась на страницах газеты *четыре* раза. Один из случаев - уже цитированная речь

Гогена против китайской иммиграции. Он безусловно прав,

это неконтролируемое

вторжение было опасным (в наши дни из сорока пяти тысяч жителей Таити - семь тысяч

китайцы, и они упорно не поддаются ассимиляции), но его главной заботой были убытки

французских купцов из-за китайской конкуренции, а не бесстыдная эксплуатация таитян.

Во втором случае Гоген яростно обрушивается на бестолковую систему школ для

туземцев, не учитывающую местных особенностей. Но он же считал, что исправить дело

легко, надо лишь поручить преподавание католическим миссионерам вместо туземных

учителей-протестантов, которые не только не годились в учителя, но еще и нагло

позволяли себе вмешиваться в политику и поддерживали не ту партию. Вот выдержка, из

нее видна суть его рассуждений: «Кто избирает этих людей, кичащихся тем, что за них

большинство? Всюду отвергнутые, они избраны туземцами, которых явно сами Считают

варварами - ведь они требуют школ для их цивилизации (с помощью туземных пасторов,

не знающих ни слова по-французски), школ, которые мы, налогоплательщики, должны

содержать.

Разве не очевидно, сколь смехотворно со стороны властей полагаться на лиц, до такой

степени лишенных здравого смысла, требующих, чтобы мы платили за обучение тех, кто

нас нравственно превосходит? Столь нелепая политика неизбежно приведет к

финансовому и моральному краху, вызовет ненависть к нам, европейцам, со стороны

туземцев, и поощрит их безнаказанно обдирать нас»**202**.

В третьем случае речь идет всецело о том, чтобы помешать таитянам красть у

поселенцев. Эту проблему Гоген знал по своему опыту, и предлагаемое им решение весьма

сурово: «Конечно, разместить в каждой области французского жандарма будет дорого. Но

это полезная мера, и этого требуют поселенцы»**203**. Особенно показателен четвертый

случай. В иронической статье Гоген комментирует

выдвинутый одним протестантским

миссионером в генеральном совете проект - положить конец разнузданному пьянству в

деревне, запретив французским трактирщикам продавать спиртные напитки в розлив. С

негодованием Гоген заверяет, что такой шаг «только поощрит туземцев пить еще больше.

Лишенные возможности выпивать понемногу каждый день, они в конце концов отправятся

в Папеэте, чтобы там основательно упиться. Словом, запрет трактирщикам продавать в

розлив не возымеет желаемого действия, а только приведет к опасной давке на дорогах и

лишит дохода целый слои населения.»**204**

Печальный, но неизбежный вывод таков: Гоген от начала до конца служил всецело

интересам своих реакционных работодателей и последовательно, с большой лояльностью,

содействовал их далеко не всегда чистым делам. Вряд ли его обеляет то, что сам он не

верил и в половину написанного им. От внимания противников Гогена не ускользнул его

истинный мотив - отомстить своим личным врагам и заодно подзаработать денег. Один из

них очень красноречиво выразил мысли всех, когда в открытом письме протестовал

против журналистской деятельности Гогена: «Вы, мсье Гоген, взялись за плату

распространять ложь и клевету на невинных. Бесстыдно злоупотреблять доверием людей

и общественности - поистине странное занятие для художника!»**205**.

Теперь, полвека спустя, конечно, трудно проникнуться таким же моральным негодованием,

тем более что все эти газетные кампании оказались впустую. Гораздо больше оснований сожалеть,

что великий художник не мог иначе заработать себе на жизнь и на два года был оторван таким

вздором от творчества.



39. В широкой лагуне,

прикрытой барьерным рифом, не только множество превосходной рыбы, но и всякие моллюски.

Таитяне вскрывают раковины на берегу, а уже потом несут добычу домой.



41.

Сцена таитянской жизни. 1896 (Сцена из жизни таитян. Эрмитаж, инв. № 6517). Несмотря на такое

название, это вовсе не взятая из жизни сцена, виденная Гогеном из своего домика в Пунаауиа на

западном берегу Таити, где он жил в это время. Все фигуры в тех же позах известны по другим

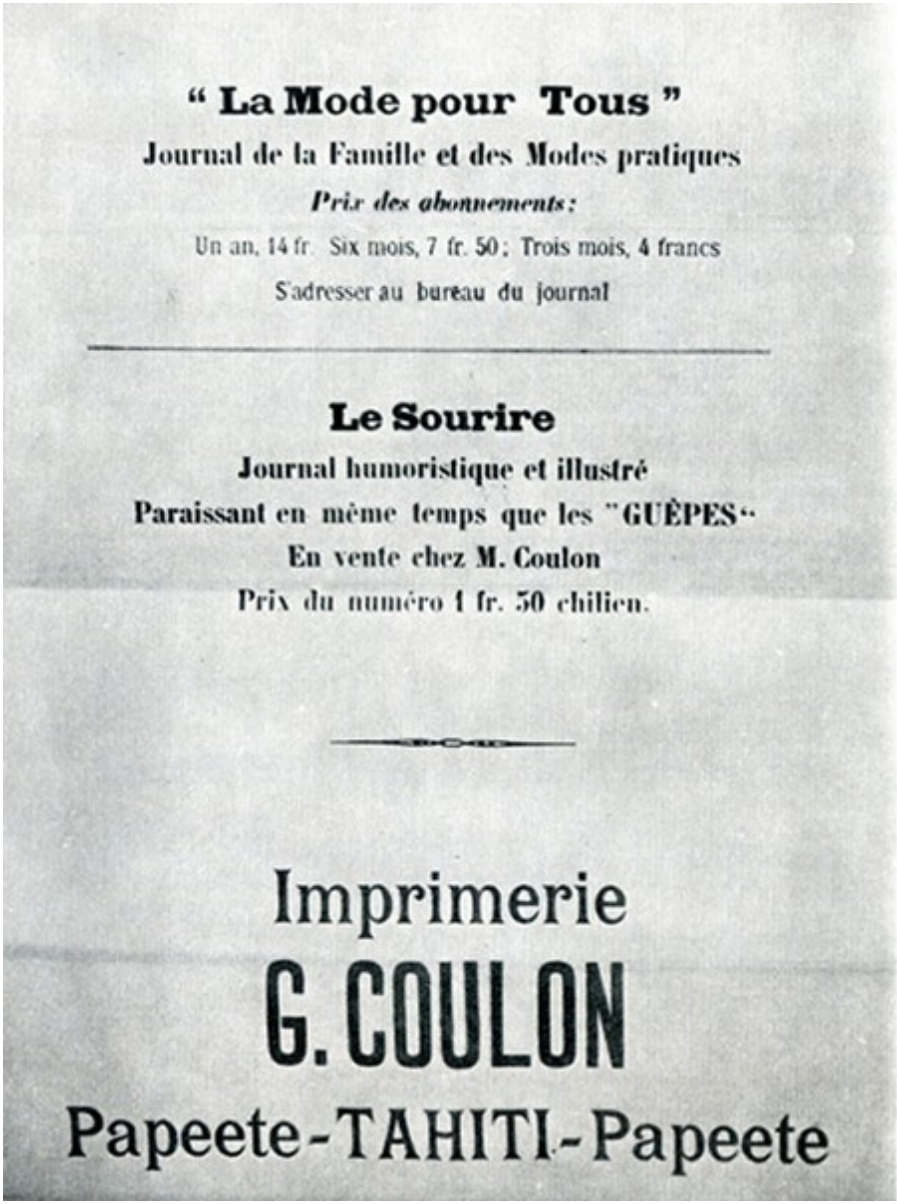
картинам; очевидно, что речь идет о композиции, тщательно выполненной художником в

мастерской.





50. Может быть, Гоген сам



53. Редактируя Ос, Гоген,

естественно, воспользовался случаем рекламировать в бесплатных объявлениях свою

собственную гектографированную и иллюстрированную Улыбку



64. Maternite. Материнство.

1899 (Женщины на берегу моря. Эрмитаж, инв. № 8979). Один из двух вариантов; второй

находится в Америке. Вероятно, не случайно Гоген выбрал этот мотив и не случайно женщина

внизу справа держит в руках ребенка. Дело в том, что как раз в это время у него и у Пау'уры

родился сын Эмиль, который жив до сих пор.



54. «Тучный робот с глупой

рожей» - так Гоген характеризовал энергичного и напористого губернатора Гюстава Галле, который

был его главным врагом и предметом нападок в 1898-1901 гг.

ГЛАВА X. Веселый дом

Человека, который выручил Гогена из унизительной зависимости, так что он вновь

смог заняться живописью, звали Амбруаз Воллар. Это был тот самый Воллар, молодой

парижский торговец картинами, что зимой 1893/94 года

оказал ему услугу другого рода,

подослав «яванку» Анну. Благодаря редкой способности вовремя делать ставку на

художников с будущим (в частности, он устроил первую официальную выставку Сезанна в

1895 году) Воллар с тех пор заметно преуспел и стал состоятельным человеком.

Обычно Воллара изображают прохвостом и бесстыдным спекулянтом; сам Гоген

попеременно называл его то лжецом, то вором или, для разнообразия, «ловким

пройдохой» и «кровожаднейшим аллигатором». Без сомнения, у него было много плохих

черт, и прежде всего нежелание отвечать напрямик и связывать себя обещаниями. Нельзя

также отрицать, что Воллар беспардонно использовал нужду Гогена в конце 1899 года,

заплатив ему всего тысячу франков за девять картин. Но в следующем году, когда он

вызвался быть его посредником взамен умершего Шоде, предложенные им условия, если

учесть плохой спрос на картины, Гогена, были вполне приличными. За гарантированное

право приобретать не глядя не меньше двадцати пяти картин в год по двести франков

каждая он вызвался платить ежемесячный аванс в триста франков. Сверх того он брался за

свой счет снабжать Гогена всем необходимым материалом. При этом Воллар, как ни

странно, вовсе не требовал монополии, художник мог где угодно продавать то, что

напишет сверх двадцати пяти картин. О таком соглашении Гоген мечтал всю жизнь, и он

тотчас поставил свою подпись. Насколько доволен он был (хотя и продолжал в письмах

горько сетовать на то, как бессовестно наживается на нем Воллар), лучше всего видно из

его отказа богатому румынскому князю, который на тех же условиях обязался брать все,

что он напишет. Единственный упрек, заслуженный Волларом, - он поначалу очень

неаккуратно и несвоевременно выплачивал Гогену условленный аванс. Но справедливости

ради нужно добавить, что и Гоген в первый год далеко не

полностью выполнил свои

обязательства, так как болезнь и журналистика мешали ему писать картины**206**. Тем не

менее в феврале 1901 года Воллар наверстал упущенное, переведя все, что задолжал.

Кроме того, по настойчивой просьбе Гогена, он затем повысил ежемесячный аванс до

трехсот пятидесяти франков, а цены на картины - до двухсот пятидесяти франков за

каждую.

Гоген решил немедля осуществить свою старую мечту и переехать на Маркизские

острова. Сам он иронически писал об этом: «Пришла пора убираться в место поглуше, где

поменьше колониальных чиновников». Есть и более подробное объяснение: «Не

сомневаюсь, что на Маркизах, где легко найти модели (на Таити это становится все

труднее) и где сохранились девственные ландшафты, - словом, есть новые, более

первобытные источники вдохновения, - я напишу хорошие вещи. Здесь мои творческие

силы начали истощаться, к тому же любители искусства слишком привыкли к Таити. Люди

так глупы, что, когда они увидят картины с новыми *кошмарными* мотивами, мои

таитянские вещи покажутся им понятными и очаровательными. Мои бретонские полотна

стали розовой водицей после таитянских, которые в свою очередь после маркизских

покажутся одеколоном».

Если верить его добрым друзьям и соседям Пьеру Лёвёрго и Фортюне Тейсье, мечта о

новых «моделях» соблазняла Гогена куда больше, чем он сознавался в своих письмах.

«Гоген уговаривал меня поехать с ним на Маркизы и быть его поваром, - писал Лёвёрго. -

Но так как пришлось бы, кроме того, лечить язвы на его ногах, а мне от одного их вида

делалось дурно, я отказался. Эти самые язвы вынудили его покинуть Таити, потому что

таитянки не хотели с ним спать. А на Маркизах, говорил он, женщины проще и беднее,

там у него будет больше шансов»**207**. Тейсье подтверждает

эти слова, вспоминая, что Гоген

«однажды вернулся из Папеэте торжествующий: он услышал, что на Маркизах еще можно

купить девушку-модель за горсть сладостей! Он заказал мешок конфет и с запасом слад-

кого «менового товара» отправился в эту глушь»**208**.

Поэтому нетрудно понять, что Гогена ничуть не огорчил отказ Пау'уры, которой было

уже двадцать лет и которая давно утратила первую свежесть, снова покидать родной край

ради еще более ненадежного будущего, чем в 1898 году, когда она нехотя отправилась с

ним в Папеэте. И его совсем не тревожила судьба двухлетнего Эмиля, так как он знал, что

Пау'ура, если ей почему-то не захочется самой растить ребенка, легко найдет ему

приемных родителей**209**.

Не сомневаясь, что на Маркизских островах он обретет искомое, Гоген решил не

мешкая продать свой участок. Запросил он немного, всего пять тысяч франков, и

покупатель нашелся скоро. Все было на мази, но вдруг возникло осложнение. Нотариус,

который должен был оформить сделку, выяснил, что Гоген женат и жена его жива.

Формально она считалась совладельцем участка, его нельзя было продать без ее

письменного согласия. После короткого известия о смерти Алины четыре года назад Гоген

ничего не слышал о Метте, и у него были все причины полагать, что она настроена к нему

неприязненнее, чем когда-либо. Соблюдая осторожность, он попросил Даниеля написать

ей письмо, чтобы она прислала требуемый документ, и даже снабдил его дипломатично

составленным черновиком. Не случайно Метте перестала ему писать именно в 1897 году.

Во-первых, он резко и оскорбительно ответил ей после смерти Алины; во-вторых, как раз

в этом году в октябрьском и ноябрьском номерах «Ревю Бланш» появилась «Ноа Ноа».

Какой жене понравится читать в массовом журнале откровенный и восторженный рассказ

супруга о его любовных похождениях с тринадцатилетними

девочками! И вообще для

Метте все таитянские «модели» Гогена были ненавистными и недостойными

соперницами. Французский писатель Виктор Сегален, который спустя несколько лет

встретился с Метте на обеде у Даниеля де Монфреда, рассказывает: «Пытаясь угадать,

какие из женщин с голой грудью и голым животом на картинах, украшавших стены у Файе

и Монфреда, замещали и заменяли ее Гогену, она презрительными гримасами и

негодующими словами выражала свое отвращение. Ее салфетка так и мелькала в воздухе,

словно бичуя и сокрушая всех этих мерзких вахин, которых она в мыслях видела вокруг

него»**210**.

Правда, прошло больше трех лет, как «Ревю Бланш» поместил повесть о любви Гогена

и Теха'аманы - Техуры, но, на беду, в мае 1901 года «Ноа Ноа» вышла отдельной книгой, и,

наверно, это еще сильнее задело Метте. Сам Гоген тоже сердился, но по другому поводу:

книга вышла с опозданием на шесть лет и без иллюстраций! Подозревая, что у Мориса

недостает ни времени, ни настойчивости довести дело до конца, он давно вклеил много

рисунков и оттисков на свободные листы своего экземпляра полузаконченной рукописи,

который весной 1895 года увез с собой на Таити. Обычно именно эту, с одной стороны,

неполную, с другой стороны, расширенную версию «Ноа Ноа» теперь переиздают и

переводят на другие языки; между тем почти забытое ныне издание 1901 года, с

вступительной статьей и стихами Мориса, точнее отвечает замыслу Гогена, и его-то

следовало бы издать, снабдив десятью ксилографиями, которые Гоген сделал зимой

1893/94 года.

Хотя Метте в эту пору несомненно имела зуб на мужа, она тем не менее прислала свое

согласие - тоже через Даниеля и без сопроводительного письма. Правда, еще до этого

Гоген, не полагаясь на ее добрую волю, отыскал лазейку в

законе. Оказалось, что можно
продать участок, если за месяц вывесить объявление в городской регистратуре и в этот
срок не поступит возражений; понятно, из Копенгагена никаких протестов не могло
прийти. Справедливость требует сказать, что сам Гоген откровенно называл эту процедуру
«узаконенным мошенничеством», на которое он бы никогда не пошел, если бы не
торопился уехать. Покупатель воспользовался его нетерпением: когда 7 августа 1901 года
сделка состоялась, он сбил цену до четырех тысяч пятисот франков. Кстати, этим
хитрецом был швед Аксель Эдвард Нурдман из Стокгольма. Бывший моряк, он долго
работал в одном из торговых домов Папеэте, но в пятьдесят пять лет решил, что достиг
пенсионного возраста и пора удалиться от городской суеты в тихую деревню. Вступив
после отъезда Гогена во владение домом, он, к своему негодованию, обнаружил, что
комнаты завалены всяким хламом. Об этой детали мне рассказал сын Акселя Нурдмана,
Оскар, тоже ушедший на покой торговец. Он хорошо ее запомнил, потому что среди хлама,
сожженного им по приказу отца, были сотни набросков, деревянные скульптуры и
запыленные холсты, которые - сохрани он их - сделали бы его миллионером. Среди
немногих произведений искусства, избежавших сожжения, было и панно, приобретенное
недавно Национальным музеем в Стокгольме за сто тысяч крон.

Заключив сделку с Акселем Нурдманом, Гоген в тот же день уплатил Земледельческой
кассе долг: шестьсот франков плюс проценты 203,95 франка**211**. До конца месяца он подвел
черту еще в одном месте, выпустив последний номер «Ос». По всем понятиям, его
журналистская карьера завершилась полным торжеством, ибо незадолго перед этим
ненавистный Галле с подозрительной поспешностью отбыл во Францию и его сменил
новый человек. Все в колонии готовы были считать, что это

прекрасный плод кампании,

которую вел Гоген. Он и сам не преминул в хвастливых статьях приписать себе победу.

(На самом деле, о чем в колонии узнали гораздо позднее, Галле ходатайствовал об

отставке из-за плохого здоровья.) Новый губернатор, Эдуард Пети, прибывший 24 февраля

1901 года, оказался во всех отношениях прямой противоположностью Галле. Это был

худой, кроткий интеллигент. Руководители католической партии тотчас заключили, что

фамилия отвечает нраву и они легко убедят Пети, кто прав**212**. Но по-своему еще большим

триумфом для Гогена было объявление, которое Карделле и Кулону пришлось поместить

на видном месте в августовском номере «Ос». Объявление гласило, что «в дальнейшем

газета будет выходить лишь при особой надобности». Другими словами, лидеры партии

открыто признавали, что без Гогена им трудно издавать боевой орган.

Всего во Французской Полинезии, как ныне называется колония, больше ста

островов. И если Гоген остановил свой выбор на Маркизском архипелаге, то прежде всего

потому, что он, как и девять лет назад, когда безуспешно добивался у Лакас-када

должности мирового судьи, был убежден - только там он найдет исконную туземную

культуру и развитое искусство. В 1895 году, когда Гоген вернулся на Таити и мысль о

Маркизах снова овладела его воображением, он точно знал, куда поедет: на Хиваоа,

второй по величине остров архипелага. Он и теперь, собираясь осуществить свою мечту,

не сомневался, что этот остров самый дикий и девственный, но в последнюю минуту,

очевидно, узнал что-то новое, потому что буквально накануне отъезда из Папеэте решил

предпочесть Фатуиву, «маленький островок, до сих пор находящийся чуть ли не на

каннибальской стадии».

Его опять ввели в заблуждение. А может быть, Гоген, как и перед первой поездкой в

Южные моря, слишком полагался на свое богатое воображение, пытаясь восполнить
пробелы в картине, которую мог себе представить, исходя из собранной им скудной
информации. Конечно, жизнь на Маркизах во многом была более дикой, чем на Таити. Но
это вовсе не потому, что тамошние жители лучше сберегли свои обычаи и нравы, а как раз
потому, что они начисто утратили старую культуру, не приобретя взамен из нашей,
западной, культуры и десятой доли усвоенного таитянами. Другими словами, они жили
как бы в культурном вакууме, и временами там царила подлинная анархия. В этой
трагической ситуации были повинны прежде всего тысячи европейцев и американских
китобоев. В первой половине девятнадцатого века они частенько наведывались на острова,
чтобы запастись свежей провизией и отвести душу после долгого плавания. Замечательное
радушие островитян, особенно женщин, вознаграждалось и полезными предметами -
гвоздями, топорами, стеклянными бусами, поношенной одеждой, мушкетами, порохом,
спиртными напитками. Но наряду с этим китобои одаряли туземцев венерическими
болезнями, оспой, туберкулезом, проказой и всякими эпидемическими заболеваниями,
которые неизбежно влекли за собой страшную смертность. Несчастные островитяне
просто не успевали прийти в себя между визитами, потому что больных и
нетрудоспособных макросов капитаны оставляли на берегу, и те старательно разносили
заразу даже в самые глухие долины.

На Гавайском архипелаге и островах Общества, тоже навещаемых китобоями, были, к
счастью, самоотверженные миссионеры и сильные местные вожди, которые хоть как-то
защищали туземцев от бесстыдства незваных гостей. У маркизцев же не было ни
защитников, ни сплоченности; многочисленные мелкие племена жестоко враждовали
между собой. На каком-нибудь маленьком острове можно

было найти до десяти

раздираемых усобицами племен. Роковой политический раскол обусловливался

географическими особенностями. Острова сильно пересечены, и каждое племя было

заперто в своей долинке, тем более что барьерных рифов здесь нет и выходить в море

опасно и трудно. Те из высаженных на берег моряков, которые выздоравливали,

направляли свою энергию на то, чтобы обучить туземцев обращаться с огнестрельным

оружием. Первыми в кровавых усобицах гибли вожди и жрецы - они доблестно

возглавляли свои отряды. И постепенно вся политическая и общественная структура

маркизцев распалась.

Когда Франция в 1842 году включила Маркизские острова в свою колониальную

империю, население архипелага, составлявшее до первого визита китобоев полвека назад

восемьдесят тысяч, сократилось до двадцати тысяч. Французское правительство

аннексировало эти забытые богом острова только из стратегических соображений.

Поэтому оно ограничилось тем, что кое-где разместило жандармов, дав им трудно

осуществимый приказ: строя тюрьмы и заточая в них самых неисправимых злодеев,

прекратить усобицы, убийства и пьянство. Католические миссионеры из ордена Святого

Сердца с великим рвением и оптимизмом попытались внести более положительный вклад,

воспитывая детей в духе истинной веры. Но за пятьдесят лет они мало чего добились.

Немногие дети, доводившие учение до конца, быстро все забывали. Не помогли и

героические усилия одного католического епископа, который сочинил, напечатал и

распространил «нравоучительные стихотворения, в первую очередь предназначенные для

одной маркизской принцессы, но пригодные также для нравственного воспитания других

юных девиц».

Пеллендер, которого я уже цитировал, хорошо показывает,

как действовали

миссионеры и чего они достигали:

«Хиваоа, подобно большинству мест, населенных антиподами, не обойден

богословами. Туземцы, как и повсюду в Океании, представляют собой компанию

непредубежденных циников, чьи религиозные убеждения определяются их интересами

или чувством юмора - или тем и другим вместе. Рядом действуют протестантские и

католические священники, и между двумя сектами непрерывно идет своего рода

гражданская война, в которой Библия заменяет пушечные ядра, а святая вода - картечь.

Каждый слуга божий с недоверием относится к своему ближнему, списки обращенных

ревниво охраняются... Поистине смехотворное соперничество, и каких только потешных

осложнений не бывает. Вот пример:

Простодушный маркизец, дитя дебрей, великолепный в своей живописной наготе,

роскошной татуировкой напоминающий итальянскую мозаику, встречает на пороге своего

дома благодушного, откормленного патера, достойного посланника и рьяного

приверженца римской церкви. После долгой беседы о христианской вере следует

предложение принять истинную веру. Маркизец колеблется. Чтобы отвечать требованиям

новой веры, он должен отказаться от «длинных свиней», надеть брюки, отвергнуть все

традиции своего рода.

Чем священник компенсирует эту жертву? Патер запинается. Но его начальники

велели ему ничего не жалеть ради спасения душ язычников. Он раскрывает красивый,

обитый латунью сундук и демонстрирует коллекцию шалей, ножей, часов и тому

подобное. Довод достаточно убедительный, чтобы и не такой остров, как Хиваоа, заманить

на верный и узкий путь. Као-ха! Ладно. По рукам. Простодушный опускается на колени и

приобщается к католической вере.

Проходят месяцы. Является протестантский миссионер. Он

изящнее, чем

католический патер, щеголяет латунными пуговицами и золотой цепочкой. Обращенный

туземец беседует с ним и с удивлением узнает, что избрал неверный путь на небо. Нет-нет!

Католики не попадают в рай, никогда. К тому же полученное от патера красное одеяло -

награда за обращение - давно износилось, а нового не видать. Простодушный решает

незамедлительно стать протестантом.

- Скажи по чести, О Хаке Лао, - спросил один любопытный капитан-новозеландец

обращенного маркизца-людоеда, - сколько раз тебя крестили?

Несколько глотков рома развязали язык вождю, и он, смеясь, ответил:

- Четыре раза католики и четыре раза протестанты.

- Теперь уж ты точно будешь в раю, - пробурчал капитан.

При всем том миссионеры на Маркизских островах великие труженики: они готовы

пройти много миль под палящим солнцем, чтобы принести утешение верующему, без

колебания отправляются даже в пораженные проказой селения в самых глухих долинах,

если их туда зовет долг перед Всевышним». Когда Гоген поехал на Маркизский архипелаг,

население составляло всего 3500 человек и продолжало быстро уменьшаться. Апатичные

туземцы, которым удалось выжить, мечтали только поскорее упиться до смерти. И когда

власти наконец запретили, продавать красное вино и спиртные напитки, туземцы все

оставшиеся силы обратили на то, чтобы гнать самогон и делать апельсиновое вино. А так

как на островах хватало лесистых долин и труднодоступных горных плато, где

злоумышленники могли спрятаться, единственным представителям власти - несчастным

жандармам - редко удавалось кого-либо поймать.

К 1900 году все - и не без основания - были убеждены, что окончательная гибель

маркизцев лишь вопрос времени**213**. Правители колонии видели один выход: заменить

обреченных туземцев поселенцами из Франции. Но немногие французы, которые

отправлялись в Южные моря, оседали на Таити, где жизнь была куда приятнее. Из двухсот

неполинезийцев, живших на Маркизских островах в 1901 году, среди белых преобладали

сбежавшие с кораблей американцы, немцы и англичане; всего около пятидесяти были

французы, примерно столько же насчитывалось китайцев. Действовали две крупные

торговые фирмы - немецкая и английская. Кстати, именно с немецкой фирмой Гоген перед

отъездом из Папеэте договорился, что она берет на себя роль его банка. Отныне Воллар

вносил ежемесячный аванс в главную контору фирмы в Гамбурге.

Самое глубокомысленное предложение, как решить маркизскую проблему, исходило

от адвоката Леона Бро, представлявшего архипелаг в генеральном совете. Он считал, что

прискорбное нежелание его соотечественников заселять Маркизские острова объясняется

запретом продавать напитки. Вот выдержка из его речи в торговой палате: «Запрещать

продажу вина на французской территории - величайшая нелепость, против которой мы не

перестанем возражать. Конечно, правительство обязано бороться с пьянством. Но совсем

запрещать пить вино - это уже слишком, и ведь это губительно для французского экспорта.

Далее, это делает французскую территорию непригодной для французов, чье место будет

занято пьющими чаи иностранцами»**214**.

Стоит, пожалуй, добавить, что запрет ввозить вино и водку или покупать их на

приходящих шхунах касался лишь туземцев, а французские поселенцы (почти все они

были торговцами) могли пить вволю и испытывали только финансовый урон. О том, как

эти люди вели деловые операции, откровенно рассказывал один жандарм, много лет

служивший на Маркизах: «Торговцы, что белые, что китайцы, беззастенчиво грабили

туземцев. Тогда все канаки были неграмотны, и если они приносили 150 килограммов

какого-нибудь товара, весы показывали 100. Цена составляла,

к примеру, 40 сантимов

килограмм, а торговец умножал 100 на 30, вместо 150 на 40»**215**.

Как и в июне 1891 года, когда Гоген впервые прибыл в Папеэте, столкновение мечты с

действительностью обернулось страшным разочарованием. Правда, теперь он быстрее

расстался с иллюзиями. С 1899 года сообщение между Таити и Маркизами осуществлял

субсидируемый государством пароход водоизмещением 554 тонны. Хотя он принадлежал

новозеландской компании, но назывался французским именем «Круа дю сюд» («Южный

крест»). Много раз Гоген на страницах «Ос» разносил губернатора за покровительство

иностранному пароходству, однако (как теперь оказалось, на свое счастье) и в этом случае

не смог ничего изменить. «Южный крест» был не только на редкость крупным по

здешним меркам, но и быстроходным судном, со всякими удобствами. Маленькие шхуны в

лучшем случае за десять дней одолевали семьсот пятьдесят морских миль, отделявших

Маркизы от Таити; «Южный крест» регулярно и без заминок совершал этот рейс в пять

дней, причем на полпути заходил на атоллы архипелага Туамоту. Кстати, этот рекорд не

побит по сей день.

Впрочем, и на «Южном кресте» были свои недостатки. Один автор, который

совершил это путешествие незадолго до Гогена, нашел каплю дегтя в бочке меда: «Боже

мой, до чего нас качало на этом пароходишке, и какое невероятное количество муравьев,

крыс, тараканов и иных бесплатных пассажиров оказалось на борту! Моя койка была мне

коротка на целый фут, и пришлось спать в салоне, где я каждую ночь просыпался от того,

что тараканы кусали меня за ноги и забирались в волосы. Мы, наверно, съели каждый по

полфунта муравьев, которыми кишел не только сахар, но и прочие продукты»**216**.

Благодаря тому, что власти так гордились своим замечательным новым пароходом

(пусть даже он юридически не принадлежал им), местные «Официальные ведомости»

подробно писали о каждом рейсе. Поэтому мы точно знаем, что Гоген был на борту

«Южного креста», когда тот 10 сентября 1901 года вышел из гавани Папеэте. Как и в наши

дни в Южных морях, груз состоял преимущественно из муки, галет, мясных консервов,

мыла, крепких напитков, красного вина и миссионеров**217**. Сверх того, в углу грузового

трюма лежала вся мебель Гогена и три мольберта. Переезд обошелся ему в 250 франков -

135 за билет первого класса, остальное за багаж.

В первый маркизский порт - Таиохае на Нукухиве - «Южный крест» пришел по

расписанию, 15 сентября. Уже по виду встречающих Гоген мог бы догадаться, что жизнь

здесь далеко не так первобытна, как он себе представлял. На каменной пристани в бухте

Таиохае стояли жандарм в мундире и белом тропическом шлеме, подвыпившие торговцы,

несколько миссионеров в черных сутанах и укрощенные туземцы - мужчины в рубашках

на выпуск и белых брюках, женщины в длинных мешковатых платьях. Стоит попутно

заметить, что на этом самом острове, в шести-семи километрах к востоку от Таиохае,

Герман Мелвилл (об этом можно прочесть в его книге «Тайпи») шестьюдесятью годами

раньше нашел именно то, о чем мечтал Гоген, то есть простую и счастливую жизнь среди

свободных и неиспорченных дикарей, гордившихся своей исконной культурой. Хотя

Мелвилла теперь считают виднейшим из авторов, писавших о Южных морях, мы

напрасно будем искать ссылки на него или цитаты из его книг в письмах и сочинениях

Гогена. А так как Гоген бесспорно согласился бы с панегириком своего предшественника

примитивной жизни и с его безоговорочным осуждением всех проводников западной

цивилизации, остается только заключить, что он не читал ни одной из книг Мелвилла. И

это вовсе не удивительно, потому что в начале двадцатого

века Мелвилл был забыт, а

«Тайпи» вообще не переводилась на французский язык.

В Маркизском архипелаге «Южный крест», кроме Таиохае, заходил лишь в еще один

порт - Атуону на острове Хиваоа. Сюда он прибыл рано утром 16 сентября**218**. Все, кто, подобно Гогену, направлялись на «каннибальский» остров Фатуива, сходили здесь и

дальше добирались на одном из небольших катеров, скупавших на островах копру для

немецкой фирмы. Бухта, на берегу которой лежит поселок Атуона, мелка и открыта

восточному пассату, поэтому суда тогда, как и теперь, бросали якорь в более защищенном

заливе Тахауку по соседству (номер 1 на карте 3). Толпа, встретившая Гогена, когда он

выскочил из прыгающей на волнах шлюпки на крутой скалистый берег, лишь в одном

отличалась от виденной им в Таиохае. Она включала молодого аннамского князя, который

учтиво приветствовал Гогена на безупречном французском языке и вызвался быть его

гидом.

Этот необычный и неожиданный гид, по имени Нгуен Ван Кам, более известный как

Ки Донг, тремя годами раньше был выслан из новой французской колонии Индокитай за

«революционную» деятельность. Благодаря счастливой оплошности в одном из

многочисленных отделов министерства колоний Ки Донг вместо Дьявольского острова во

Французской Гвиане попал в Южные моря. В первом месте ссылки, на Таити, он

почувствовал себя слишком хорошо, поэтому власти отправили его на Маркизы и

назначили санитаром; учитывая скудные медицинские познания аннамского князя, это

было карой скорее для его пациентов, чем для него самого. Как и многие националисты из

французских колоний тогда и потом, большинство своих революционных идей он усвоил,

учась во французском лицее, где горячо полюбил искусство, музыку и литературу

Франции**219**. Занимался Ки Донг основательно и прилежно, это видно из того, что он даже

писал стихи по-французски. Его сочинения включают написанную александрийским

стихом «совершенно правдивую» поэму, в которой автор изображает прибытие Гогена на

Маркизы**220**. В поэме полторы тысячи строк, я буду милосерден и просто скажу, что речь

идет главным образом о забавных осложнениях, которые возникли, едва женщины Атуоны

узнали о прибытии богатого холостяка-француза. Как и подобает санитару, Ки Донг

подробно описывает все болячки Гогена; по его словам, вид этих язв насторожил даже

самых бывалых маркизянок. Показательны комические эпизоды, основанные на том, что

Гоген теряет свои очки и не может отличить молодых красоток от безобразных старух.

Вскоре после приезда Гоген нанес визиты вежливости двум местным представителям

власти - жандарму Шарпийе и военному врачу Бюиссону; он познакомился с ними еще на

Таити и всегда отлично ладил. Оба приняли его хорошо, но это было ничто перед

восторженным приемом, который ему оказали постоянно проживающие в Атуоне десять-

двенадцать французских торговцев и плантаторов и столько же католических монахинь и

миссионеров. Причину понять нетрудно: все они упивались «Осами». Один из

плантаторов, бывший жандарм по фамилии Рейнер, был даже католическим депутатом в

генеральном совете, пока из-за реформы Галле не потерял свой мандат в 1899 году.

Вторым депутатом от Маркизских островов был Милло из аптеки Карделлы. Возможно,

Гоген привез рекомендательное письмо от Карделлы или Милло.

Со своими пятьюстами жителями, двумя миссионерскими станциями (тут были и

кальвинисты), пятью-шестью лавками и двумя китайскими пекарнями Атуона несомненно

была самым цивилизованным местом на всем Маркизском архипелаге. Впрочем, Гоген,

наверно, уже понял, что на Маркизах вообще больше не осталось примитивных дикарей.

Зачем стремиться на Фатуиву? Тем более что цивилизованная Атуона сулила много

преимуществ. Во-первых, у него тут явно будет много друзей, а на других островах он в

большинстве долин вообще не найдет никого говорящего по-французски. Немногие

таитянские слова и фразы, которые Гоген выучил, не могли пригодиться ему на Маркизах,

так как между маркизским и таитянским языками почти такая же разница, как между

французским и итальянским. Во-вторых, кроме Таиохае, только Атуона располагала

прямым сообщением с Таити, а это было ему очень важно, ведь он зависел от денег,

присылаемых из Европы. Наконец, едва ли не самый веский довод - здесь жил

единственный на всем архипелаге врач. И Гоген сразу решил обосноваться в Атуоне; Ки

Донг помог ему снять комнату в доме полукитайца по имени Матикауа.

Посреди поселка на главной улице был свободный участок площадью около половины

гектара, очень устраивавший Гогена, который не мог ходить далеко из-за своей больной

ноги. Лучшая лавка в городе - ее держал молодой американец Бен Варни - находилась как

раз через улицу. Оказалось, что участок принадлежит крупнейшему землевладельцу на

острове - католической миссии. (Дело в том, что туземцы, по совету миссионеров, часто

покупали себе отпущение грехов, завещая свои участки церкви, а смертность, как мы уже

говорили, была чудовищной.) Только епископ мог благословить сделку, но он в середине

сентября как нарочно был на соседнем острове Тахуата, проверял работу миссионеров.

Пришлось ждать, когда он вернется. Ожидание Гоген использовал, с умом, каждое утро он

вместе с жандармом и военным врачом посещал мессу. И когда епископ возвратился, то,

конечно, не раздумывая пошел навстречу столь праведному и благочестивому человеку.

Правда, цену он заломил безбожную - шестьсот пятьдесят франков. На счастье Гогена, он

мог позволить себе такой расход, и 27 сентября была подписана купчая**221**. Проект составил

жандарм, который помимо блюстителя порядка, сборщика налогов, начальника тюрьмы,

капитана порта и руководителя общественных работ был еще и нотариусом.

Торопясь поскорее въехать в собственный дом, Гоген нанял двух лучших плотников

Атуоны - Тиоку и Кекелу, дав им в помощь столько людей, сколько они пожелали. Он не

скупился на красное вино, и за месяц они управились со строительством. Подвиг

немалый, если учесть, что речь шла о двухэтажном доме длиной в двенадцать и шириной

около шести метров, к тому же необычной конструкции**222**. Правда, на Таити были

двухэтажные постройки - с железной крышей, дощатыми стенами и резными

балюстрадами. В отличие от них, уникальный дом Гогена представлял собой

продолговатое строение с крышей из пальмовых листьев и легкими стенами из

бамбуковой плетенки, опирающееся обоими концами на два деревянных куба. В этих

кубах размещались мастерская для резьбы по дереву и кухня; двери запирались на засов и

замок, чтобы уберечь от воров инструмент, утварь и прочие соблазнительные предметы.

Пространство между кухней и мастерской Гоген оставил неогороженным, получилась

отличная прохладная столовая. Единственный доживший до наших дней приятель Гогена,

коммивояжер Луи Греле (ему было двадцать два года, когда он впервые зашел в Атуоне к

художнику, чтобы предложить свой товар, главным образом коньяк и ликеры), не только

помог мне сделать приводимый рисунок, но и превосходно описал помещения второго

этажа: «Сюда, на высоту двух с половиной метров, поднимались по наружной лестнице,

установленной у торца. Сперва вы попадали в переднюю, где из мебели была только

шаткая деревянная кровать Гогена, которую он украсил, вырезав фигуры и листья... Тонкая

перегородка отделяла переднюю от мастерской, очень просторной, но из-за полного

беспорядка напоминающей захламленный чулан. Посреди комнаты стояла маленькая

фисгармония, мольберты он поставил у широкого окна в дальнем конце. У Гогена было

два шкафа с ящиками, но в них не поместилось все его имущество. И он развесил на

стенах полки из обыкновенных досок. Все драгоценное он, по примеру туземцев, хранил в

тяжелых сундуках с замками. На стенах висели репродукции картин и сорок пять

порнографических фотографий, купленных им в Порт-Саиде на пути из Франции в

Южные моря. Кроме фисгармонии, у него была мандолина и гитара, но играл он скверно.

Больше всего Гоген любил «Колыбельную» Шумана и «Грезы» Генделя»**223**.

Прямо под торцовым окном мастерской Гоген велел вырыть колодец, где мог черпать

чудесную родниковую воду. Вскоре он придумал способ утолять жажду не отходя от

мольберта: в колодце постоянно охлаждался кувшин с водой, который можно было

поднять на второй этаж удочкой**224**.

Гораздо меньший восторг вызвала у друзей и соседей другая его выдумка - резьба,

которой он украсил торец с дверью. Тщательно и любовно Гоген сделал пять деревянных

панно длиной от полутора до двух с половиной метров, шириной около сорока

сантиметров. Вровень с порогом, горизонтально, он слева от двери поместил панно с

надписью «Будь загадочным», справа - с надписью «Будь любящим и будешь счастлив».

Три остальных панно обрамляли дверь, причем на верхнем он большими буквами вырезал

MAISON DUJOUIR - ДОМ НАСЛАЖДЕНИЙ. Если учесть, какое наслаждение

подразумевает француз, употребляя слово jouir, более верным переводом будет

«ВЕСЕЛЫЙ ДОМ».

Название меткое, ибо вскоре, привлеченные радушием Гогена, который не скупился на

ром и красное вино, сюда повалили туземцы. Они глазели на порнографические

фотографии, пели и играли до полуночи. А кто-нибудь из женщин оставался на всю ночь.

Немало маркизянок прошло в эти дни через его мастерскую, но он не спешил выбрать

себе постоянную подругу, уж очень все они были пожилые и поблекшие. Ограниченный

выбор объяснялся не тем, что здешние родители следили за своими юными дочерьми

строже, чем таитяне, - скорее, напротив, - а тем, что католические миссионеры почему-то

объявили девочек до пятнадцати лет детьми и разными способами убедили родителей

отдать их в интернат в Атуоне.

С каждым днем Гоген все более жадно поглядывал на юных красавиц, которые

стайками порхали мимо его дома, охраняемые монахинями в черных сутанах. А вскоре он

выяснил, что хотя католический интернат приравнивался к государственным школам,

миссионеры кривили душой, утверждая, будто все родители обязаны посылать в него

своих детей. Французский закон, который применялся и на далеких Маркизских островах,

распространял обязательное обучение только на детей, живущих в радиусе четырех

километров от школы! И Гоген быстро убедил одну чету, жившую в долине Хекеани, в

десяти километрах к востоку от Атуоны, забрать из интерната свою четырнадцатилетнюю

дочь Ваеохо, чтобы она могла прийти к нему и разделить его отрадное существование в

«ВЕСЕЛОМ ДОМЕ». Родители и невеста получили роскошный свадебный подарок: шесть

метров бумажной ткани, семь метров ситца, восемь метров муслина, десять метров

коленкора, три дюжины лент, дюжину кусков тесьмы, четыре катушки ниток и швейную

машину, за которую жених уплатил Варни двести франков. Варни очень тщательно вел

учет и из его бухгалтерской книги, сохранившейся до наших дней, видно, что новая

любовная сделка Гогена была заключена 18 ноября 1901 года.

Судя по всему, Ваеохо
обрадовалась неожиданному повороту, который приняло ее европейское образование, так
как она охотно осталась жить у Гогена. В число домочадцев входили также двое веселых и
ленивых слуг - повар Кахуи и садовник Матахава, которые получали по десяти франков в
месяц и большего не заслуживали.
Не впервые Гоген начинал новый этап своей южноморской жизни лихими и
дорогостоящими попойками. Но на сей раз благодаря ежемесячным авансам от Воллара
это не грозило ему тяжелыми денежными осложнениями. И когда он, найдя Ваеохо,
прекратил гульбу и всерьез занялся живописью, на душе у него было спокойно и
работалось хорошо, как никогда в жизни. Пора - ведь ему шел уже пятьдесят четвертый
год, и он потратил много сил и нервов, чтобы добиться этого.
Верно, маркизская культура погибла и сами туземцы вымирали. Но среди выживших
еще попадались мужчины и женщины, оправдывающие давнюю славу маркизцев, как
самых красивых среди народов Южных морей. (От таитян их прежде всего отличал
высокий рост, стройное сложение, длинная голова.) Многие по старинке украшали себя с
ног до головы изумительной татуировкой с замысловатейшими геометрическими узорами.
Если как следует расспросить и поискать, можно было найти туземца, готового расстаться
с той или иной фамильной драгоценностью - великолепной резной деревянной миской,
изящной серьгой из китовой кости. Наконец, природа здесь была куда более девственной,
чем на Таити. Словом, Гоген был доволен переменой обстановки. Как обычно, он
предпочитал работать дома. Туземцы охотно приходили в «Веселый дом» и позировали,
получая за это кусок ткани, флакон духов или несколько банок консервов из лавки Варни.
Но любимой моделью Гогена была не Ваеохо, а рыжеволосая Тохотауа с соседнего
острова Тахуата. Любопытно, что из-за древнего смешения

рас не только на Маркизских
островах, но и в других частях Полинезии ко времени открытия их европейцами было
много рыжеволосых туземцев. И сколько помнили люди, в роду Тохотауа всегда были
рыжеволосые. Она позировала, в частности, для интересной картины Гогена «Варварские
сказания» (экспонируется в музее Фолькванг в Эссене), одной из его самых загадочных
вещей: полуобнаженная прекрасная женщина контрастирует с написанным по памяти,
тоже рыжим, но горбатым и безобразным другом Гогена по Бретани - Мейером де Хааном.

Как ни толкуй символ, заложенный в этом полотне, одно несомненно: нет никаких причин
искать прототип рыжеволосой женщины на картине у Боттичелли, как это делают многие.

Старые воспоминания отразились и на другом полотне, для которого позировала Тохотауа.

Портрет в половину роста, где она сидит с веером в руке, очень похож на портрет
Теха'аманы, написанный в 1893 году. Он тоже экспонируется в музее Фолькванг, и вместе
с репродукцией я решил поместить в книге фотографию, снятую Луи Греле в мастерской
Гогена во время сеанса (илл. 55). Тохотауа вышла замуж за Хаапуани из Атуоны, который
был лучшим танцором селения и одновременно самым опасным колдуном; люди верили,
что он может любого извести своими чарами. Хаапуани пришелся по душе Гогену так же
сильно, как Тохотауа, и он написал с него известный портрет (ныне хранится в Музее
изящных искусств в Льеже), который правильно называют «Колдун». Впрочем, хотя
картина датирована 1902 годом, иногда можно встретить совсем неподходящее название
«На Таити».

Дружбу Гогена с прекрасной Тохотауа вернее всего назвать интимной, однако никаких
раздоров с ее мужем не возникало, так как супруги были верны маркизскому взгляду,
поощряющему полиандрию. Эта форма брака, чрезвычайно редкая в других концах земли,

искони существовала на Маркизских островах; многие брачные союзы такого рода дожили

почти до наших дней. Через девять лет после смерти Гогена в Атуо-не несколько месяцев

провел человек, который тоже был дружен с Тохотауа и Хаапуани, и он рассказывает

характерную историю: «Хаапуани, распорядитель танцев, лучший резчик и лучший

барабанщик в Атуоне, был чистокровный маркизец, но безупречно говорил по-французски

и рьяно отстаивал доктрину о непогрешимости папы, он даже схватился из-за этого с

одним протестантом на террасе моего дома. Вот как он объяснял взгляды маркизцев:

«Если у меня есть друг и он на время пожелает мою жену Тохо, я не против, лишь бы она

хотела. Но моему врагу нечего рассчитывать на мое согласие. Я буду рад, если она вам

понравится»**225**.

Из двух десятков картин, которые Гоген написал в первые, на редкость продуктивные

месяцы 1902 года, многие стоят наравне с лучшими вещами 1892 года, когда ему было так

хорошо в Матаиеа с Теха'аманой. Самые известные из них, конечно, - «Золото их тел»,

висящая в гогеновском зале Лувра, и два варианта «Всадников на берегу» (один

принадлежит греческому судовладельцу Ставросу Ниархосу, второй экспонируется в

Фолькванге). Зато некоторые другие вещи можно назвать лишь неудавшимися набросками,

и Гоген, наверно, уничтожил бы их, если бы не контракт с Волларом. Примечательнее

всего разнообразие мотивов. Среди этих двадцати картин есть не только обычные пейзажи

и мифологические сцены, но и портреты, натюрморты, библейские сюжеты. Одна вещь

совсем уникальна для полинезийского периода Гогена, ибо главное место отведено

европейской женщине, больше того - монахине в черном. И еще одна интересная деталь

бросается в глаза, если присмотреться к маркизским полотнам: Гоген только двум из них

дал названия, и оба французские.

Трудовой день Гогена прерывался лишь для аперитива и завтрака около одиннадцати

(считая с восхода солнца, он к этому времени успевал уже поработать пять-шесть часов) и

на обед, когда приходили самые близкие друзья; к ним теперь кроме Ки Донга и Рейнера

относился Эмиль Фребо, бывший сержант, а ныне торговец, без особого успеха

пытавшийся конкурировать с Варни. Любимым напитком всей четверки был абсент, а

собирались они обычно в прохладной столовой внизу. Из маркизцев Гоген приглашал, да и

то иногда, только своего ровесника и ближайшего соседа, плотника Тиоку, с которым

очень сдружился. Других туземцев, заслуживших его благодарность, он угощал ромом или

красным вином на кухне; они и сами чувствовали себя там непринужденнее. Если к обеду

не ожидалось гостей, хозяин распоряжался, чтобы Кахуи ставил все кастрюли и

сковородки на стол, и собственноручно делил приготовленное на три равные доли: одну

себе и Ваеохо, другую двум слугам, третью собаке Пего (названной по его инициалам) и

безымянной кошке**226**. Хотя туземцы часто предлагали ему рыбу и овощи, закупки у Варни

и в немецкой лавке на Тахауке показывают, что Гоген по-прежнему верил в превосходство

французской кухни. Так, в декабре 1901 года и марте 1902 года он купил в обеих лавках

следующее**227**.

Декабрь 1901

2 декабря 32 литра красного вина 35.20 франков
20 кг картофеля 12.00
5 кг лука репчатого 3.50
6 банок рубца 7.80
4 декабря 1 банка консервированного 2.50 масла
12 декабря 1 мешок риса 13.00
0,5 кг крахмала 0.40
16 декабря 1 литр уксуса 3.00
1 банка консервированного 2.50 масла
3 банки спаржи 6.00
2 банки бобов 5.00
1 пачка соли 0.45

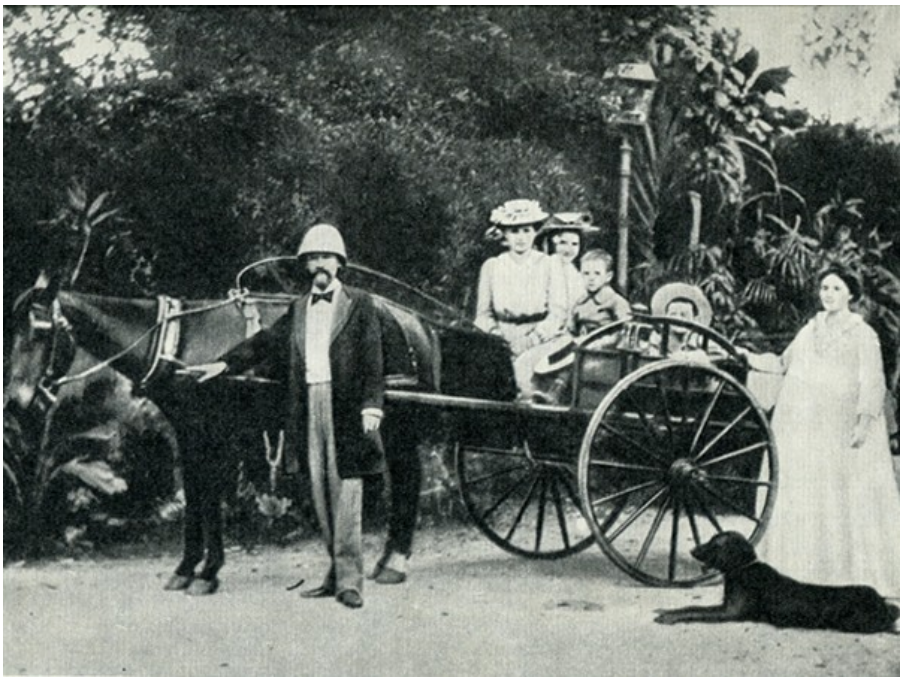
1 бутылка томатного соуса 2.00
2 пачки чая 2.00
2 банки анчоусов 4.00
18 декабря 10 кг картофеля 5.00
5 кг лука репчатого 3.50
32 литра красного вина 35.20
26 декабря 18 литров красного вина 19.80
16 литров рома 56.00
6 банок консервированного 14.40 масла
6 банок спаржи 10.80
12 кг сахара 15.60
1 мешок риса 13.00
16,5 литра красного вина 18.15
5 кг лука репчатого 3.50
2 кг чеснока 3.00
4 банки спаржи 7.20
1 литр оливкового масла 5.00
Итого 309.50 франков

Март 1902
3 марта 20 кг картофеля 12.00
12 банок сардин 8.60
5 кг лука репчатого 3.50
4 кг чеснока 6.00
10 банок спаржи 18.00
12 кг сахара 15.60
10 марта 1 мешок риса 12.00
3 пачки чая 4.50
6 бутылок томатного соуса 12.00
5 банок масла 7.50
12 марта 3 головки сыра 24.00
2 банки спаржи 3.60
5,6 кг вяленой трески 9.24
1,9 кг сыра 11.40
22 марта 12 банок рубца 28.80
1,4 кг сосисок 13.30
24 банки сардин 17.00
24 банки зеленого горошка 31.20
2 литра абсента 15.40
27 марта 1 банка какао 3.50
1 кг табака 13.00
10 пачек сигарет 6.50
Итого 276.64 франков

Эти покупки (к ним, наверно, следует добавить то, что он брал у Фребо и китайских

лавочников, чьи бухгалтерские книги не сохранены) убедительно показывают, что Гоген наконец-

то обрел заслуженное довольство. Материальному благополучию отвечало также редкое для него



счастливое и спокойное состояние духа, это видно из его письма Даниелю в марте 1902 года: «Ты

себе не представляешь, как мирно я живу здесь в моем уединении, совсем один, окруженный

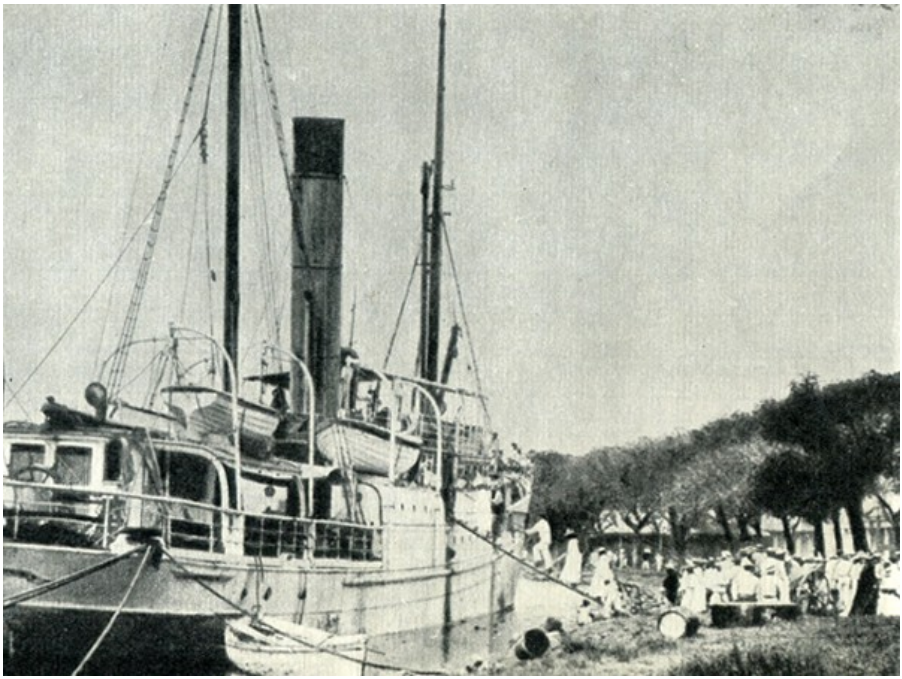
лишь листвой. Мне был очень нужен этот отдых, вдали от колониальных чиновников на Таити.

Каждый день я хвалю себя, что решился».

57.

Импозантного крепыша Галле сменил на посту губернатора кроткий юрист Эдуард Пети, который

обычно ходил в штатском и часто сам был кучером своего экипажа.



58.

Вместе с двадцатью шестью другими пассажирами Гоген 10 сентября 1901 г. в порту Папеэте

поднялся на борт роскошного парохода «Южный крест», решив навсегда поселиться «на

примитивном людоедском острове» в Маркизском архипелаге.



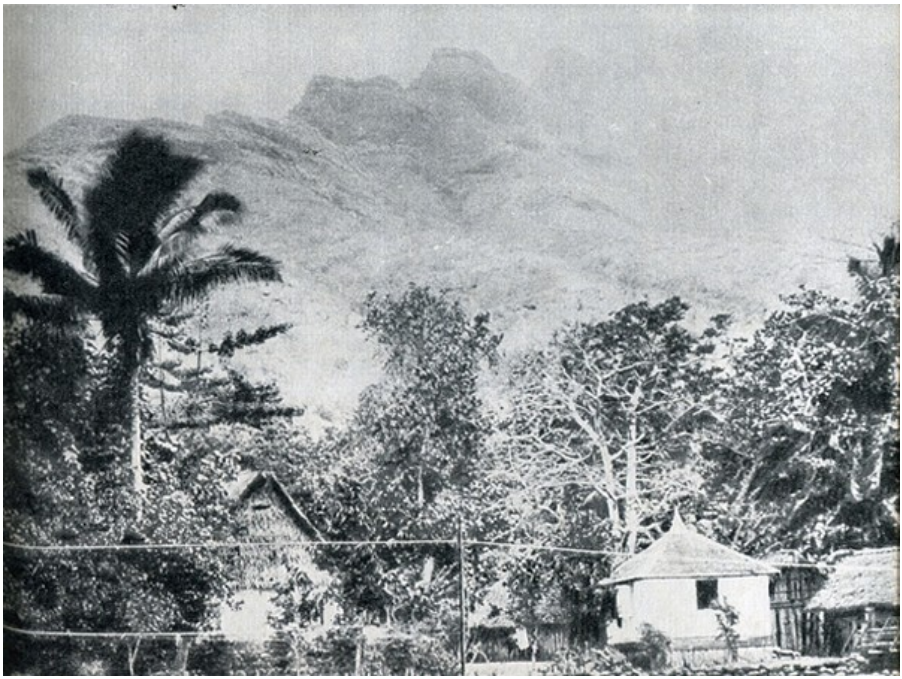
78. Как и в прошлом,

жизнерадостность таитян и маркизцев находит свое выражение в танце, песни, музыке. Если

сравнить с тем временем, когда Гоген веселился в своем «Веселом доме», изменилось лишь то,

что гитара сменила гармонь как самый популярный инструмент.





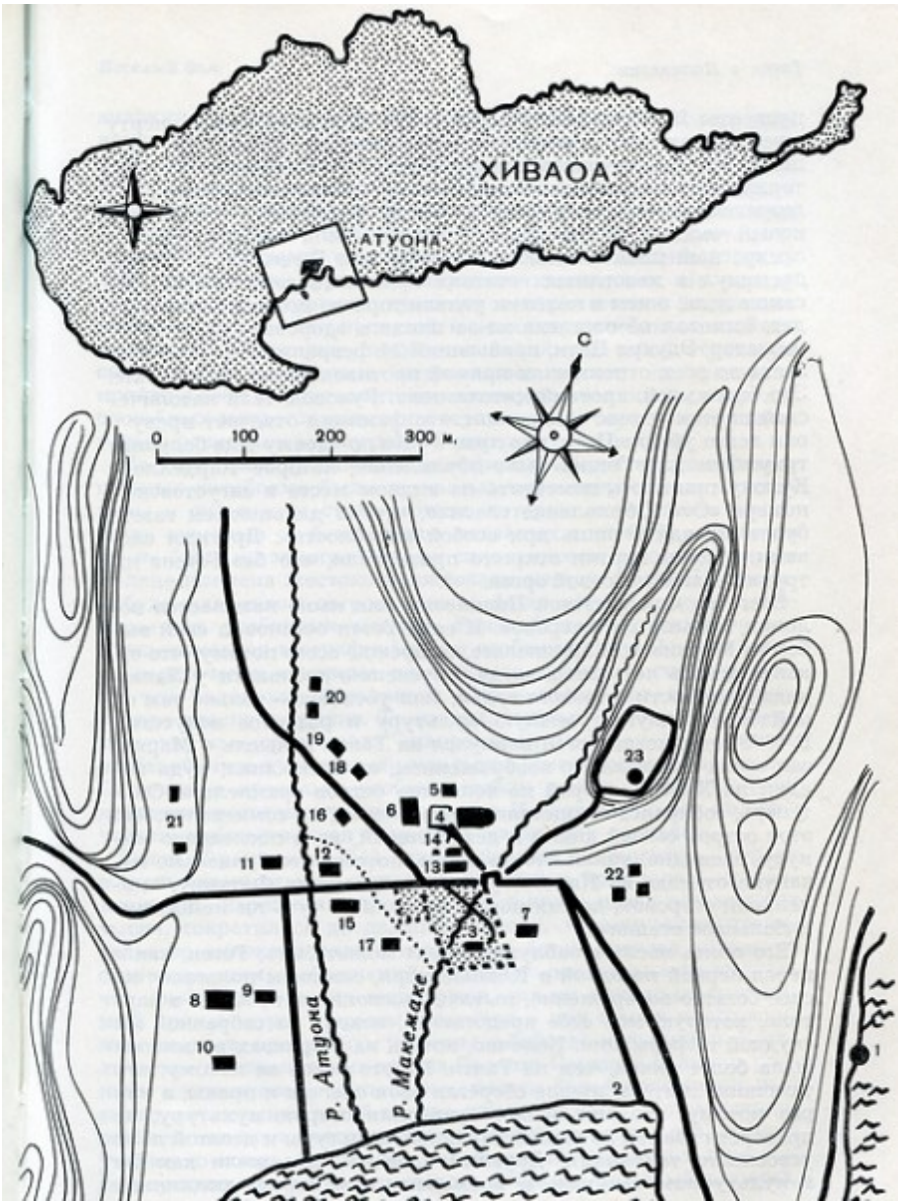
59.

Уже по одежде тех, кто встречал Гогена в Атуоне, было видно, что миссионеры, увы, раньше него

поспели и на Маркизские острова.

60.

Каменные дома, лавки и школы делали Атуону самым цивилизованным поселком архипелага.



IV. Карта Атуоны 1.

Пассажирская пристань 2. Грузовая пристань 3. Участок Гогена и «Веселый дом» 4. Католическая

церковь и маленькая 5. Резиденция католического епископа 6. Католический интернат для девочек

7. Католическая школа для мальчиков 8. Протестантская школа и церковь 9. Дом пастора Вернье

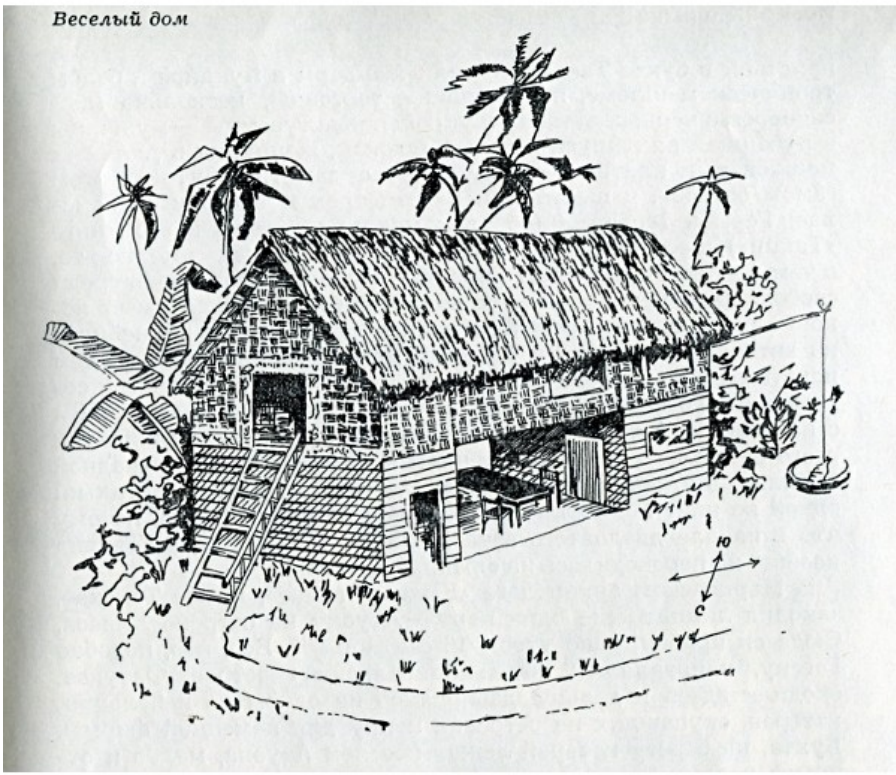
10. Дом дьякона Кекелы 11. Дом и приемная военного врача 12. Дом и контора жандарма 13. Лавка

Бена Варни 14. Дом Матикауа 15. Лавка Эмиля Фребо 16. Пекарня и трактир китайца Айю 17.

Хижина друга Гогена, Тиоки 18. Дом аннамского князя Ки Донга 19. Лавка китайца Лам-Кеу 20.

Туземные хижины 21. Туземные хижины 22. Туземные хижины 23. Кладбище с могилой Гогена

площадь



V.

«Веселый дом» Гогена в Атуоне В нижнем этаже были - слева мастерская для резьбы по дереву,

справа кухня. Неогороженное помещение посередине служило столовой, здесь же в последние

годы жизни Гогена стояла его двуколка. На втором этаже слева была маленькая спальня, справа

просторная мастерская. Дверь окружали крашеные резные деревянные панно. Из окна мастерской

Гоген удочкой доставал из колодца кувшин с водой.



55.

Любимая модель Гогена, рыжеволосая Тохотауа, сфотографирована в мастерской в «Веселом

доме» другом художника, коммивояжером Луи Греле. В это время она позировала для картины,

которая теперь экспонируется в музее Фолькванг в Эссене. 56. Видно, что Гоген изобразил свою

модель более молодой и одухотворенной, чем она была на самом деле.

ГЛАВА XI. Последнее слово

Не успел Гоген отправить это письмо, как обретенное им счастье было нарушено

приездом людей, которых он меньше всего хотел видеть. Восемнадцатого марта в бухту

Тахауку вошел французский крейсер с новым губернатором и его свитой на борту. У

губернатора Пети была весьма похвальная цель - самолично познакомиться с жизнью и

проблемами Маркизских островов**228**. Вообще-то он знал эти места, так как провел здесь

около шести месяцев в 1881-1882 годах, когда служил на флоте в должности эконома. Его

первые путешествия в Южных морях описаны в двух книгах - «В Океании» и «Вдалеке».

которые он выпустил под псевдонимом Айлик Марин**229**.

Разумеется, французские торговцы и плантаторы не преминули воспользоваться

случаем и заготовили ворох жалоб на имя губернатора. И, разумеется, своим делегатом

они выбрали доблестного патриота Гогена. Смысл жалоб (ироническое совпадение)

сводился к тому самому, из-за чего двумя годами раньше Галле затеял свои реформы:

внушительные суммы, поступавшие в виде налогов, поборов и штрафов в кассу колонии с

Маркизских и других удаленных островов, по-прежнему тратились прежде всего на

благоустройство Папеэте. Наскоро составленная петиция была написана пышным и

патетическим слогом, что видно и по эффектному заключительному абзацу:

«Воспитанные в христианском духе, мы до сей поры покорно повиновались, хотя в душе

мы говорим себе, что бог явно отрекся от нас»**230**. Естественно, в свите губернатора был

глава правовой системы колонии, а именно, злейший враг Гогена, прокурор Эдуард

Шарлье. Так что Пети был заранее подготовлен, и когда делегат попросил принять его,

ответил отказом. Свое возмущение Гоген облек в протест логичный, но довольно

рискованный: он отказался платить налоги за 1902 год (144 франка) и в письме

администратору Маркизского архипелага обосновал свой шаг. Ответ был кратким и

суровым**231**.

«Сударь,

Настоящим подтверждаю получение Вашего письма от 25 марта 1902 года. Что

касается Вашего ходатайства, могу только переслать его губернатору. В качестве

представителя прави тельства на этих островах я обязан обеспечить беспрекословное

выполнение всех законов и постановлений. В ожидании решения губернатора по поводу

Вашего отказа я вынужден потребовать, чтобы Вы неукоснительно исполняли налагаемые

на Вас законом обязательства.

С почтением *Морис де ла Ложе де Сен-Бриссон*».

Примерно в это же время напомнил о себе другой враг Гогена - присмиревшая было

болезнь. Как всегда, главными симптомами были сильная боль в ноге, перебои сердца,

общая слабость. До сих пор он мог хоть, опираясь на толстую трость, совершать

ежевечерние прогулки по селению, а то и спускался к морю пострелять птиц, что не

только его развлекало, но и позволяло разнообразить стол**232**. Теперь нога так разболелась, что он вообще перестал выходить из дому. Ездить верхом, по примеру других островитян?

Об этом нечего и думать. И чтобы не оказаться узником своего «Веселого дома», он

попросил Бена Варни заказать для него в Папеэте двуколку.

На беду, доктора Бюиссона, единственного на всем архипелаге врача, в феврале 1902

года отозвали в Папеэте, так как власти сочли, что он там нужнее. На скорую замену

надеяться не приходилось**233**. Сановный поэт Ки Донг, как вскоре убедился Гоген (если не

убедился уже), на чьи плечи легла забота о здравоохранении на Маркизах, гораздо лучше. -

разбирался в литературе, чем в медицине.

Пришлось незамедлительно вызывать единственного в поселке человека, который мог

помочь, - ревностного молодого главу французской кальвинистской миссии Поля Вернье;

наряду с теологией он во Франции и в Эдинбургском университете изучал медицину.

Менее двух лет назад Гоген поместил в «Осах» обидную статью об этом самом

миссионере; о духе ее можно судить по следующей выдержке: «С поразительным

самоотречением Поль Луи Вернье поселился на уединенном островке (в трех днях пути от

Таити, где живет его отец, и в восьми днях пути от Сан-Франциско), в превосходном

новом доме, выстроенном из леса, привезенного из Америки. «Я живу здесь с «моей

любящей молодой женой и прелестным ребенком, - сообщает он в письме, которое

евангелический журнал счел достойным опубликования, - и отсюда я начинаю свою

борьбу с дикостью, борьбу огромной важности, потому что

католические миссионеры не

разбираются в средствах. Я слаб и еще молод, но я уповаю на то, что господь услышит

мои молитвы и заметит мои страдания». Читая это письмо, я едва не прослезился, потом

мне представился Данте, ведущий Вергилия в ад. И я сразу воспрянул духом»**234**.

Несмотря на такой укол, Вернье с христианским милосердием откликнулся на призыв

Гогена и щедро наделил его как лекарствами, так и добрыми советами. Возможно,

готовность Вернье помочь Гогену в какой-то мере объяснялась тем, что он годом раньше

потерял свою любимую жену и чувствовал себя очень несчастным и одиноким среди всех

этих более или менее враждебных католиков**235**. Навещая больного, он всякий раз

задерживался, чтобы потолковать о литературе, искусстве, музыке, этнографии. Конечно,

Гоген был только рад собеседнику, которого занимали не одни лишь последние сплетни и

скабрезные анекдоты. Связь между ними с радостью поддерживал добрый друг и сосед

Гогена, плотник Тиока; он был одним из членов немногочисленной паствы Вернье и даже

получил недавно звание дьякона за свою приверженность вере.

Естественно, католический епископ не одобрял такой выбор друзей. Уже то, что Гоген

через несколько недель после приезда перестал посещать церковь и увлекся веселыми

девицами, вызвало его гнев. Но это еще куда ни шло, потому что девицы были католички и

время от времени получали отпущение грехов. К тому же, взяв в дом Ваеохо, Гоген повел

вполне пристойный семейный образ жизни. Поэтому епископ милостиво решил не

придираться к тому, что эта неравная пара пренебрегла всякими церковными и

гражданскими формальностями. Он отлично знал, что тотчас потеряет самых ревностных

прихожан и щедрых пожертвователей, если потребует, чтобы все белые на Маркизских

островах узаконили свои браки. Снисходительность епископа

объяснялась еще и тем, что

у него много сил отнимала борьба с еретическим учением пастора Вернье. К приезду

Гогена эта борьба как раз особенно обострилась, ибо пастору Вернье удалось обратить в

свою веру с десяток туземцев-католиков в маленькой долине Ханаиапа на севере Хиваоа.

Епископ Мартен лично возглавил контратаку и к началу января 1901 года сумел вернуть

заблудших овец на путь истинный. Но когда он с победой возвращался домой из

Ханаиапы, его конь на крутом склоне оступился, седок упал и так ушиб правое плечо, что

рука отнялась. Когда с очередным рейсом пришел «Южный крест», епископ чувствовал

себя настолько плохо, что вынужден был поехать на лечение в Папеэте, где провел целый

месяц**236**. (Вернулся он в марте, как раз перед приездом в Атуону губернатора Пети.) Естественно, несчастный случай еще более настроил епископа и прочих католических

миссионеров против главного виновника всех бед - пастора Вернье.

О возмущении, владевшем католической миссией, лучше всего говорит то, что

юбилейные празднества, которые долго готовились и наконец состоялись 8 июня 1902

года, вылились в пламенный протест против сатанинских чар еретика Вернье.

Гогена - он к этому времени получил свою двуколку (вместе со сбруей она обошлась

ему в пятьсот пятнадцать франков**237**) и снова появлялся в селении - это событие

заинтересовало еще и по другой причине. Вот как описывает праздник один из

участвовавших в нем миссионеров-католиков: «Рано утром колокольный звон и звуки труб

и барабанов призвали верующих на мессу. Церковь была мала, чтобы вместить всех.

Поэтому в саду воздвигли грандиозный алтарь высотой около пяти-шести метров... Я

решительно утверждаю, что это была самая торжественная месса на открытом воздухе,

какую когда-либо отслужили на Маркизских островах. Прочтя соответствующее место из

Библии, отец Давид объявил, что эта месса, и вечерняя тоже, должна рассматриваться как

громогласный и необходимый протест не только против тех, кто отрицает присутствие

Иисуса Христа в Евхаристии, но и против тех, кто, веруя в этот тезис, тем не менее

остается бездеятельным. Будем надеяться, что его красноречивое порицание возымеет

действие, ибо апостолы «свободомыслия» проникли и сюда, на край света, чтобы

провозгласить, что каждый сам вправе решать, чему верить, - подразумевая, что мы

принимаем тезис их вождя, Лютера, воспринятый им, по его собственному признанию, от

отца лжи, Сатаны! Против этой лжи мы и протестуем.

В два часа все население опять замечательно проявило свою сплоченность, приняв

участие в крестном ходе. Впереди шел крестоносец, за ним хоругвеносцы, дальше, под

балдахином, выступал носитель остии. Пока длилось шествие, те же хоры, что утром,

пели псалмы. Между псалмами играл духовой оркестр школьников. Его преосвященство

епископ Мартен благочестиво шел за остией, которую нес один из миссионеров. От начала

до конца поведение всех участвующих было безупречным и образцовым. Наши

маркизские «дикари» понимают, что в шествии надлежит вести себя пристойно - или

вовсе не участвовать. И уж им никак не придет в голову нелепая мысль затеять

беспорядки, чтобы помешать церковной процессии; такие идеи осеняют только

«прогрессивных» людей, чья так называемая свобода направлена исключительно на то,

чтобы лишить свободы своих противников...

Вечером состоялось торжество, которое навсегда останется в памяти. Наш Святой

Отец в Риме повелел отпраздновать конец века, и епископ Мартен решил воздвигнуть в

Атуоне монумент во славу нашего Спасителя Иисуса. Богоугодное рвение, которое

проявили прихожане, чтобы заслужить приуроченное к юбилею отпущение грехов,

показывает, сколь верно рассудил Его Преосвященство. Из Парижа для монумента

прибыла скульптурная группа, изображающая Христа на кресте, Иоанна, указующего

рукой на небо, и Магдалину, с несказанной скорбью глядящую вверх. Все три фигуры

чугунные, в натуральную величину. . Они стоят на продолговатом каменном цоколе с

пятью ступенями, его объем семьдесят кубических метров. Подходящий камень здесь

такая же редкость, как ваятели, и мы должны были искать породу, которая могла быть

обработана имеющимися у нас орудиями. Лучшие камни получены из Ваитаху, похуже - из

Ханаупе и Таоа. Еще несколько были представлены жителями Атуоны. Господь

вознаградит тех, кто в поте лица своего доставил строительный материал, а также Готеве

Тико, искусного труженика, столь умело выложившего цоколь... Епископ благословил

монумент и посулил отпущение грехов на сто дней за каждую благочестивую молитву,

прочтенную на этом месте. Итак, первый художественный монумент, официально

воздвигнутый на Маркизских островах, как и подобает, представляет собой распятие с

нашим Спасителем, коий с небес правит миром»**238**.

Было бы интересно услышать мнение Гогена об этом чудном памятнике, который

стоит и ныне, причем три шоколадного цвета фигуры банальностью и уродством

превосходят даже крашеных итальянских гипсовых святых, обычно украшающих

католические церкви в Южных морях. К сожалению, в переписке Гогена с конца мая по

конец августа 1902 года есть пробел, так как 27 мая роскошный «Южный крест» постигла

судьба, рано или поздно постигающая все суда во Французской Полинезии: он наскочил на

коралловый риф и разбился вдребезги**239**. Прошло три месяца, прежде чем на линию вышло

другое судно, а за это время у Гогена появились для писем темы поважнее, чем

католический юбилей. Впрочем, в одной из его книг есть

язвительный выпад против
европейцев, не способных ценить туземное искусство; можно думать, что он предпочел бы
памятник в маркизском стиле. Но поручить Гогену изваять первый официальный
монумент на Маркизах - такая безумная мысль, разумеется, никому не пришла бы в
голову...
Учитывая непримиримую вражду между двумя соперничающими миссиями, не так-то
странно, что католический епископ, который полгода смотрел сквозь пальцы на
«безнравственное поведение» Гогена, вдруг вознегодовал, прослышав о его знакомстве с
пастором Вернье. Но до открытой вражды дошло только в середине июля, и повод был
архипустяковый. Французский национальный праздник 14 июля и на Маркизских
островах считался крупнейшим событием года. Как и на Таити, его отмечали большими
конкурсами танца, песни и музыки, собиравшими всех жителей Хиваоа и ближайших
островов, кто только держался в седле или мог сесть в лодку. В Атуоне всем заправлял,
естественно, официальный представитель республики, жандарм Шарпийе. Лучшие
исполнители, как положено, награждались денежными премиями. Чтобы распределить их,
требовался знающий и беспристрастный судья. Шарпийе решил, что лучше всего
подойдет Гоген; казалось бы, это означает, что они по-прежнему ладили между собой.
Однако другой вывод напрашивается, когда читаешь превосходный рассказ Дэвида Холла
о том, как проходил национальный праздник в Атуоне в 1901 году: «В день нашего
приезда начали прибывать жители соседних долин и ближайших островов; зрелище было
очень живописное. Сойдя с лодок на берег, они первым дело мылись и надевали свои
наряды. Потом с вождями во главе, под громкий барабанный бой, шли по деревенской
улице на площадь перед домом жандарма и докладывали о своем прибытии, после чего

расходились по друзьям. Наверно, это было не малым бременем для местного населения,

если учесть, что все жители семи-восьми долин собрались на праздник, происходивший на

просторной площади посреди Атуоны. Здесь была сооружена столовая для белых,

попросту длинный навес на столбах. Нас всех пригласили принять участие и повеселиться

за счет республики...

Празднества начались около одиннадцати часов, и меня познакомили с белыми

жителями архипелага, их было около двадцати, в том числе человек шесть жандармов.

Если исключить последних, об остальных скажу, что более жалких и опустившихся

бичкомберов я в жизни не видел. Впрочем, учитывая, что многие из них держат лавки на

глухих островках и живут без всякой сзязи с окружающим миром и им не с кем

поговорить, кроме туземцев, не удивительно, что они роняют себя и нередко начинают

пить. Большинство привезли с собой жен, одетых так, чтобы всех «убить наповал». Нам

подали превосходный обед, который мы запили дешевым красным вином, потом добавили

коньяк. После обеда, как и следует быть, когда собрано вместе много французов,

последовала бездна речей, и комплименты сыпались градом.

Дальше было самое главное. Танцевальные группы разных долин по очереди

подходили к столовой и выстраивались в четыре длинные параллельные колонны по

двадцать человек; две колонны женские, две - мужские. Группы танцевали под

руководством своего дирижера, одетого в добытую на каком-нибудь судне изношенную

флотскую форму. У кого не было формы, тот щеголял в имитирующем ее самодельном

костюме из крашеной бумажной ткани с желтым галуном.

Соперничающие группы, ожидая своей очереди, толпились кругом и весьма

откровенно делились впечатлениями. На мою долю выпала честь возглавить жюри,

призванное определить лучших танцоров. Мне почудилось,

что Варни улыбнулся, когда я

дал свое согласие, и вскоре я понял причину: это было потруднее, чем судить футбольный

матч. Во-первых, туземцы со всех сторон осаждали меня, разъясняя замечательные

достоинства и тонкости исполнения своих групп; во-вторых, каждый из жандармов

подходил ко мне, чтобы сказать, что я поступлю в высшей мере несправедливо, если не

присужу первую премию «его» долине. Жандармы особенно горячились. Двое из них так

повздорили, что принялись колотить друг друга по голове; вмешался строгий сержант и

посадил их под арест.

... Танцы продолжались всю вторую половину дня; мы сидели и смотрели.

Большинство белых прилежно накачивались вином и коньяком, и когда вечером подали

обед, все были пьяны в стельку. После обеда во всем жюри не оказалось ни одного

достаточно трезвого человека, с кем бы я мог посоветоваться, как распределить премии.

Потом начался конкурс песни. Певцы каждой долины садились в круг по-турецки и

исполняли свои причудливые, довольно мрачные *papu*. В свете больших бамбуковых

факелов это было очень красивое, живописное зрелище.

Не меньше двух-трех тысяч человек собралось в Атуоне, постоянное население

которой не превышает пятисот. Нужно ли говорить, что, учитывая маркизские нравы,

позднее разыгрались не поддающиеся описанию сцены.

Придя домой около двух часов ночи, я застал свое жилище оккупированным пятью-

шестью мужчинами и девушками, которые собирались провести в нем ночь. Даже моя

постель была захвачена, на ней крепко спали двое. Уговорить кого-либо уйти было

невозможно. Не видя другого выхода, я послал за жандармом, и он их живо выдворил...

Забыл сказать, что католическая и протестантская миссии на острове дико

соперничают между собой, и это особенно проявилось во время праздника. Добиваясь

премии, каждая миссия выставила труппу танцоров из своей паствы. Единственный

способ, каким я мог угодить обеим сторонам (говорю «я», потому что члены жюри, не

говоря уже об их нетрезвости, относились друг к другу так подозрительно, что всецело

положились на меня, чужака), - присудить каждой труппе по первой премии. Но и то два

аскетических священника-иезуита смотрели на меня далеко не ласково»**240**.

Гоген попытался выйти из затруднительного положения, в которое попал то ли по

недомыслию, то ли по незнанию, точно таким же способом. Другими словами, он тоже

присудил в конкурсе песни две первые премии - одну католическому хору за красивое

исполнение «Гимна Жанне д'Арк», другую протестантскому хору, который великолепно

спел «Марсельезу»**241**. Но эта уловка никого не устроила; больше всех недоволен был

католический епископ.

К сожалению, вскоре у него появился повод обвинить Гогена в вещах куда более

серьезных, чем заурядная предвзятость. В это время кончилась тихая семейная жизнь

Гогена - Ваеохо, как и многие ее предшественницы, забеременела; к июньским

празднествам она была уже на седьмом месяце. Ни она, ни Гоген не считали это большой

бедой, но дело в том, что Ваеохо после праздника уехала с родителями в родную деревню,

чтобы рожать среди своих. (Ребенок - девочка - появился на свет в долине Хакеани 14

сентября 1902 года**242**.) И возникла проблема, потому что на сей раз епископ твердо

вознамерился не допустить, чтобы еще кто-нибудь из юных учениц миссионерской школы

проходил следующую ступень у нечестивого художника. Его запрет вызвал сардонический

комментарий Гогена. «Епископ - престарелый кролик, я же - жесткий и хрипловатый

старый петух. Если я скажу, что первым начал кролик, это будет правдой. Требовать с меня

обета невинности - это уж слишком».

На беду для Гогена, уже начались летние каникулы, и большинство девочек

разъехались к родителям в другие, уединенные долины или на другие, еще более

уединенные острова. А те немногие, которые жили в Атуоне, настолько боялись епископа,

что в лучшем случае могли прийти в «Веселый дом» поздно вечером и уйти на рассвете.

Гоген придумал искусную месть - он вырезал из дерева и поставил около лестницы своего

дома две полуметровые фигуры, тотчас опознанные всеми жителями Атуоны. Одна, с

надписью «Отец Пайяр» («Отец Распутник»), внизу, весьма походила на епископа, если не

считать сатанинские рога во лбу. Вторая, с надписью «Тереза», изображала почти нагую

туземку, в которой легко было узнать служанку епископа; по неподтвержденным слухам,

она была любовницей святого отца, пока не вышла скоропалительно замуж за туземца**243**.

Наверно, в рогах епископа содержался намек не только на его дьявольскую натуру.

Видимо, в это же время Гоген вырезал и третью фигуру, чуть побольше, которую окрестил

«Сен-Оранг», - безобразного мужчину, обхватившего руками свое толстое брюхо. Имя

«Сен-Оранг» дало повод для многочисленных догадок. Несомненно, опущена вторая

половина последнего слова, так что подразумевается «Орангутан». Но кого в Атуоне Гоген

решил обозвать орангутаном? Ответить нетрудно, если учесть, что правой рукой епископа

Мартена в это время был священник с необычным именем Оран Сен-Крик, ужасно

некрасивый**244**. Впрочем, католические миссионеры не остались в долгу. В дальнейшем они

неизменно величали Гогена «Кокен», что, как известно, означает «Негодяй».

Когда начался новый учебный год, Гоген нанес миссии еще более мощный удар.

Придя на берег с кодексом законов в руках, он объяснял прибывающим из других долин

родителям, что они вовсе не обязаны, как им до сих пор внушали, посылать своих детей в

атуонский интернат. В итоге число учеников в каждом классе сократилось почти

наполовину. Не пришли даже многие юные жители Атуоны, которым, по правилам, надо

было явиться[245]. После этого, как и следовало ожидать, Гоген нажил себе еще одного врага

в лице добродушного Шарпийе; не только потому, что жандарм был убежденным

католиком, но и потому, что из-за школьного инцидента у него сразу прибавилось хлопот.

Первая попытка Шарпийе досадить Гогену выглядит, скорее, смешной: он взял с него

штраф за то, что тот вечером выехал на коляске без фонарей. Словно это могло угрожать

движению на острове, где двуколка Гогена была единственным экипажем! Но вслед затем

Шарпийе предпринял куда более грозный шаг. Двадцать восьмого августа он написал

администратору Маркизского архипелага длинный рапорт, обвиняя Гогена в том, что он:

1. Подстрекал родителей (имярек) не посылать своих детей в школу в Атуоне.

2. Подстрекал туземцев (имярек) не платить налогов.

Из приложенных данных следовало, что доходы от налогов составили всего 13 тысяч

против 20 тысяч в прошлом году. Рапорт Шарпийе заканчивался словами: «Помимо этих,

главных, нарушений мсье Гоген повинен и в других; так, его нравы эпикурейца

показывают туземцам пример, в котором они вовсе не нуждаются»[246].

Чистая случайность спасла Гогена. Ревностного блюстителя законов Мориса де ла

Ложа де Сен-Бриссона только что сменил старый друг Гогена, человек мягкий и разумный,

а именно Франсуа Пикено[247]. Его самого перевели из Папеэте за «неповиновение», и он

отлично понимал людей, которые иногда проявляли строптивость. Пикено до самого конца

благоволил Гогену, это видно не только из сказанных им после смерти художника слов:

«Хотя я разделял не все его взгляды, у нас были отличные отношения»[248], - но и из его

действий. В частности, отвечая Шарпийе, он постарался его

утихомирить. По поводу

школьного инцидента посоветовал никаких мер не принимать, ведь закон в самом деле

оправдывал Гогена. Но мириться с неуплатой налогов он не мог и разрешил Шарпийе в

крайнем случае пойти на опись имущества.

Вскоре Гоген уразумел, что напрасно затеял всю эту бучу и приобрел себе столько

врагов. К сентябрю здоровье его настолько ухудшилось, что у него не было ни сил, ни

желания искать замену Ваеохо. Боли стали невыносимыми, и снова пришлось, чтобы хоть

немного уснуть, прибегать к морфию. Когда он увеличил дозу до опасного предела, то,

боясь отравления, отдал шприц Варни и перешел на лаудан (опийная настойка), от

которого его все время клонило в сон. Понятно, в таких условиях он писал «мало и

скверно». Здесь к месту привести и слова Фребо, что Гоген часто, «когда смеркалось,

сидел в мастерской за фисгармонией и своей игрой исторгал у слушателей слезы». **249**

Одним из немногих, кого Гоген в эти тяжелые дни пускал к себе в мастерскую, был Ки

Донг. Как-то раз, не видя другого способа поднять дух своего друга, Ки Донг сел за

мольберт и начал писать. Как он и думал, Гоген заинтересовался и вскоре, хромая,

подошел, к мольберту посмотреть, что получается. Он увидел, что Ки Донг пишет его

портрет. Не говоря ни слова, Гоген принес зеркало, занял место Ки Донга, взял кисти и

завершил портрет**250**. Беспощадно реалистичное полотно показывает нам седого, одутловатого, измученного человека, который смертельно усталыми глазами смотрит на

нас сквозь очки с тонкой оправой (илл. 70). Естественно, некоторые знатоки, ссылаясь на

стиль, долго сомневались в подлинности этого неподписанного и недатированного

портрета, экспонируемого теперь в Музее искусств в Базеле, но необычная история этой

картины вполне объясняет ее отличие от всех других вещей Гогена.

На какое-то время Гоген почти убедил себя самого, что

искусный специалист сможет
исцелить его, если он вернется в Европу. Он даже решил, что поселится после
выздоровления - в Испании! И, возможно, он был прав, подозревая, что за красочными
сценами боя быков и восхитительными сеньоритами - обычные сюжеты картин
французских художников - крылась другая Испания, совсем неизвестная и бесконечно
более интересная. Узнав об этих планах, Даниель де Монфред постарался возможно
деликатнее объяснить Гогену, что тот зря надеется на излечение. Удивительно прозорливо
он назвал важную причину, из-за которой Гогену следовало оставаться в Южных морях:
«Если ты вернешься теперь, есть угроза, что ты испортишь процесс инкубации, который
переживает отношение публики к тебе. Сейчас ты уникальный, легендарный художник,
который из далеких Южных морей присылает нам поразительные, неповторимые вещи,
зрелые творения большого художника, уже, по-своему, покинувшего мир. Твои враги (как
и все, раздражающие посредственность, ты нажил много врагов) молчат, они не смеют
нападать на тебя, даже подумать об этом не могут. Ты так далеко. Тебе не надо
возвращаться... Ты уже так же неприступен, как все великие мертвые; ты уже
принадлежишь *истории искусства*».
Пока Гоген получил этот ответ Даниеля, он и сам давно пришел к тому же выводу. С
трогательным смирением он пытался утешить себя тем, что «даже если нельзя вернуть
здоровье, это еще не беда, только бы удалось прекратить боли. Мозг продолжает работать,
и я снова примусь за дело, чтобы трезво попробовать завершить то, что начал. Кстати, в
самые тяжелые минуты это - единственное, что мешает мне пустить себе пулю в лоб».
Как и раньше, когда живопись не давалась, Гоген, чтобы скоротать время, взялся за
перо. Большая часть написанного неизбежно носила отпечаток ожесточения, боли и

горечи. Так, он сочинил два длинных эссе для печати, в которых атаковал своих злейших

врагов. Две трети более длинного эссе были попросту вариантом путаного труда

«Современный дух и католичество», вышедшего из-под его пера в конце 1897 года, в еще

более мрачную пору, когда он помышлял о самоубийстве. Заговорив опять о тирании

католической церкви, - вопрос, который вновь приобрел для него такую актуальность, - он

теперь добавил двадцать страниц. Сразу видно, что опыт журналистики и редактирования

пошел ему впрок - язык стал живее и вразумительнее**251**. Для начала он вспоминает сцену, виденную им в 1888 году, и сразу завладевает вниманием читателя: «Придя однажды на

казнь, автор увидел, как в свете раннего утра к гильотине идет группа людей. И ощутил

непроизвольную антипатию, разглядев *бледное лицо, понурую голову, полную*

удрученность, словом, вид самый жалкий. Он ошибался. Это жалкое лицо принадлежало

капеллану, несомненно, выдающемуся артисту, ведь за жалованье он так искусно

изображал великое страдание!

Рядом шел молодой человек, который, несмотря на цепи на руках и ногах, ступал

решительно, с отвагой, чуть ли не с улыбкой на лице. Наклонив голову над рычагом, он

спросил: «Что это?» И кивнул сперва на ящик впереди, потом на нож. «Это корзина для

головы». «А это?» - кивок на большой ящик справа. «Это ящик для вашего тела». «Ну, так

начинайте!» - крикнул он. И все. Со зловещим звуком сомкнулся «воротник», потом упал

нож. Красное зарево рассвета залило небо; красная кровь хлынула на камни мостовой.

Поблизости стояло несколько человек во фраках - *полиция*. Капеллан тоже был в черном:

братство церкви и правосудия. Были тут и военные - сержанты, которые оттесняли своей

цепочкой зевак. Вдоль оцепления первыми толпились зрители особого склада -

проститутки, сутенеры, бывшие арестанты. Они кричали: «Да здравствует убийца, долой

правосудие!» ... Неправда ли, потеха для зрителей, которые смеются над гримасами

несчастного и *дружно прикидываются чистенькими*- разве не ходят они в церковь на

мессу? После многочисленных краж под сенью *закона, начальной школы преступности*,

они доживают до пенсии, веря в проповедь церкви, проповедь, которая освобождает от

необходимости мыслить и рассуждать. *Где тут праведность, какое тут братство, где*

милосердие!

Вот причины, которые побуждали автора столь настойчиво

углубляться в текст

проповедей, неустанно их повторять, стараться проникнуть в их смысл в надежде

улучшить мир, не уповая ни на какое вознаграждение, кроме сознания выполненного

долга. С одной стороны, любовь к прекрасному и разумному, с другой, ненависть к

деспотичной и пагубной церкви, ненависть к суеверию, врагу прогресса и счастья людей».

Явно опять вдохновленный горьким личным опытом, Гоген с не меньшим жаром

обрушивался на другую великую общественную несправедливость: «И если институт

брака, представляющего собой *попросту торг, объявляется единственно нравственным*

видом сексуального союза, выходит, что нравственности нет у тех, кто *не хочет* или не

может сочетаться браком. Для любви, для здорового чувства места не остается... В итоге

женщина обречена на рабство, приговорена к браку, *если позволяет состояние*, или же она

останется девственницей, нездоровым и противоестественным чудовищем, столь чуждым

природе и противным подлинному чувству, какова любовь... Если и было на свете

общество жестокое и варварское, то это современное общество, ханжеское общество,

которое во имя *христианской морали*распоряжается судьбой женщины и причиняет ей

столько страданий.

Утешьтесь, бедные молодые женщины, священник ждет, чтобы ввести вас в рай; от

Лазаря, от тюрьмы, от гильотины рукой подать до небес, и священник вас проводит.

Но мы восклицаем: «Женщина, которая, что ни говори, наша мать, наша дочь, наша

сестра, *вправе зарабатывать на жизнь*, вправе любить мужчину, который ей по душе,

вправе сама распоряжаться своим телом и своей красотой, вправе производить на свет

детей и располагать *возможностью* их *вырастить*, минуя священника и законника,

вправе пользоваться таким же уважением, как женщина, которая *продает себя только в*

браке. Больше того, брак повинен в том, что с колыбели складываются два различных

класса, дети законные и дети внебрачные, и последние вечно обречены на порицание,

жертвы греха, мнимого *греха, выдуманного* церковью, которая повелевает: «Твое тело

должно быть продано только в супружестве».

Но это ничто перед другим преступлением, в котором Гоген обвинял католическую

церковь: «Все эти беспорядки в колониях, ведущие к войнам, вызываются, как

это *признано* уже много лет, несомненно религиозными причинами. Вот почему поездки

миссионеров представляют собой опасность - все возрастающую опасность, с которой

государства ничего не могут поделать. Китай закрывает миссионерам доступ в свою

страну, даже убивает их. Европа возмущена бесцельным кровопролитием во имя этих

миссий. Неужели никто не видит безнравственную несправедливость всего этого? Не

видит, что речь идет о наступлении на свободу совести? Прекратим отправку миссионеров

в Китай, и тотчас установится мир».

Отражая анархистские взгляды многих художников и писателей, с которыми он водил

дружбу в далекую зиму 1890/91 года, когда еще был молод и полон надежд, Гоген дальше

отводит страницу безоговорочному осуждению государства. Он признает, что армия на

какое-то время еще может сохранить существующий порядок. Но рано или поздно

бюрократическую махину и монополию власти сметет восставший угнетаемый люд.

Основой нового «доброго и разумного» общества, создаваемого на развалинах прошлого,

Гоген с завидной простотой предлагал сделать «рассудок, человечность, братство и

милосердие», заверяя читателя, что «вне этого учения спасения нет».

Видимо, переписывая и дополняя это длинное и полное неясностей эссе, Гоген понял,

что ни один издатель его не напечатает, и решил найти ему другое применение. Он

уговорил торговца Эмиля Фребо, единственного из своих близких друзей, кто ладил с

католической миссией, при случае с невинным видом подсунуть это сочинение самому

епископу. Тот ответил очень изящно, дав, тоже с каменным лицом, Фребо почитать

красивое издание с золотым обрезом, описывающее триумфальное шествие католических

миссий. Как и полагал епископ, книга вскоре попала в руки Гогену. Эта своеобразная

дуэль завершилась, когда Гоген тем же путем вернул книгу владельцу со своими

критическими заметками**252**.

Второе эссе было намного короче, проще и интереснее. Хотя Гоген не удержался от

соблазна включить в него пестрые воспоминания, оно, по сути, представляло собой

остроумную и хорошо документированную атаку на французских критиков искусства с

многочисленными примерами их невероятной слепоты к могучей революции, которая в

это время происходила в французской живописи. Название, данное Гогеном этой критике

критиков - «Сплетни мазилы», - отлично подходило к непринужденному слогу и

прихотливому построению книги. С волнением отправил он рукопись в «Меркюр де

Франс». Она была напечатана через пятьдесят лет.

Затем Гоген написал три длинных и сердитых послания. Первое, особенно резкое,

представляло собой открытое письмо губернатору, и направил он его Карделле и Кулону

для новой газеты «Независимый», которую они задумали выпускать**253**. К великому

недовольству католической партии, губернатор Пети вел в общем ту же протуземную

политику, что его предшественник Галле; поэтому партия готовила широкое наступление

против него. Едкое письмо Гогена начиналось саркастическим рассказом о состоявшейся

полгода назад инспекционной поездке Пети на Маркизские острова: «Были все причины

надеяться и верить, что Вы прибыли сюда собрать сведения о здешней жизни, дабы потом,

руководствуясь этими сведениями, править колонией мудро и в пределах возможного

провести давно желаемые реформы... Надежды и ожидания растаяли вместе с дымом из

труб военного корабля. Вы нанесли визит епископу миссии и в свою очередь приняли в

правительственной конторе жандарма. Явно утомленные этой чрезвычайно трудной

работой, Вы для отдыха занялись фотографией. Например, снимали красавиц с крепкой

грудью и нежным животом, плескавшихся в потоке... Насколько интереснее и полезнее

(для нас всех) было бы, если бы Вы отказались от высокомерия, которое напустили на

себя, прибыв на Таити (видимо, чтобы избежать подлинного контакта с поселенцами), и

пожелали посоветоваться с единственными людьми, способными вас информировать, то

есть с теми, кто живет на Маркизских островах и своим интеллектом, трудом и капиталом

пытается помочь их освоению. Тогда Вы смогли бы узнать, что мы (вопреки Вашему

очевидному мнению) не лакеи, вроде Ваших конюхов, и еще многое, чего Вы либо не

знаете, либо не хотите знать».

Этот по видимости гневный протест в защиту страдающих от небрежения островитян

многое теряет от того, что в конце слишком ясно видна главная причина негодования

Гогена: после крушения «Южного креста» он три месяца сидел без писем и без продуктов.

Вот его слова: «Мы часто оказываемся без хлеба, риса, галет, соли и картофеля, и

единственные блага цивилизации, которые мы получаем, - дурацкие декреты и

предписания. Не будет преувеличением сказать, что нас не оставили бы без продуктов,

будь на наших островах размещена каторга. Не получая вестей, наши семьи во Франции

изводятся от тревоги. Наши корреспонденты заключают, что мы попали в беду, не

решаются завершать начатые сделки и посылать нам деньги, покуда не знают, что мы

живы. Без судов для вывоза товаров, без судов для

пополнения своих запасов торговцы

вынуждены сидеть в пустых помещениях и ждать полного разорения... Но крушение

«Южного креста» - случай единичный и редкий, скажете Вы в свое оправдание. Нет, мсье

губернатор, это несчастье так легко предусмотреть, что страховые компании страхуют

суда, следующие через Туамоту, только под неслыханно высокие взносы. Так или иначе,

возражение не умаляет вины. Ибо что помешало Вам, пусть даже у Вас не было под рукой

военного корабля, послать нам шхуну с продуктами, прежде всего с мукой? Повторяю: с

каторжниками Вы бы не посмели так обращаться! Слышу возражение: «Но на это нет

денег» - и отвечаю: «Как Вы можете жаловаться на отсутствие денег, коль скоро мы

платим огромные налоги и поборы и ничего не получаем взамен?»

Второе письмо было адресовано в генеральный совет, где теперь председательствовал

старый недоброжелатель Гогена, Огюст Гупиль; темой были «некоторые соображения по

поводу постановления о бродячих свиньях»**254**. Гоген считал, что существующее

законодательство, основанное на условиях Франции, непригодно для Маркизских

островов, так как ведет лишь к «повседневному избиению ради избиения, без всякой

пользы, если не считать, что с каждой головы уплачивается администрации два франка».

Он очень здраво заключал: «Почему не отнести свиней, как лошадей, к домашним

животным, которых нельзя убивать кроме как для утилитарных нужд?» Генеральный совет

решил переслать письмо в канцелярию местной колониальной администрации, где оно

лежит до сих пор.

В отличие от двух первых, третье полемическое письмо Гогена не было открытым. Он

написал его в начале декабря 1902 года и адресовал начальнику жандармерии в Папеэте**255**.

Хотя и на этот раз им прежде всего руководила оскорбленная гордость и жажда мести,

сама по себе критика Гогена была вполне обоснованной. В основном он порицал

Шарпийе, который принуждал заключенных правительственной тюрьмы работать на себя:

ухаживать за огородом, колоть дрова и так далее. Хуже того, когда не было заключенных,

жандарм эксплуатировал туземного тюремщика. Не успел Гоген отправить это письмо, как

Шарпийе отозвали. Не потому что он провинился, а потому что согласно действующему

порядку пришла его очередь переезжать на другой остров. Но Шарпийе, как неохотно

признавал Гоген, «был хоть чуточку образован и учтиво обращался с нами, поселенцами».

Его преемник, Жан-Пьер Клавери, прибывший четвертого и официально приступивший к

службе шестнадцатого декабря, был грубый, неотесанный служака, любитель

покуражиться. К тому же он заранее был настроен против Гогена, так как одиннадцать лет

назад служил в Матаиеа, где миссионеры не давали ему покоя своими жалобами, пока он

после долгой и утомительной слежки не поймал Гогена, когда тот купался в костюме

Адама, и не обложил его штрафом за нарушение общественных приличий**256**.

Заступив на должность, Клавери прежде всего отчитал своего предшественника за

снисходительность и попустительство. Чтобы показать, как надо обращаться с наглыми

склочниками, он на глазах у жителей Атуоны нарочно повернулся спиной к Гогену при их

первой встрече. Тот не мог сразу дать отпора и в ожидании удобного случая замкнулся в

своей скорлупе. Другими словами, он заперся в своем «Веселом доме» и принялся

лихорадочно исписывать один лист за другим исступленными протестами и обвинениями

против всех и вся. «От этого легче на душе», - объяснял он просто и откровенно. Мало-

помалу получился своего рода дневник, где он записывал все, что думал и делал. Тут и там

беспорядочно были вкраплены воспоминания. Это произведение Гоген назвал «До и

после». Подразумеваемой линией раздела была, разумеется, его первая поездка на Таити в
1891 году.

Первый случай дать сдачи Клавери и обратить против него общественное негодование
выдался в середине января 1903 года. Толчком послужило редкое в этой части Тихого
океана стихийное бедствие: вечером 13 января с севера на архипелаг надвинулся циклон.

Так как Атуона лежит на южном берегу Хиваоа, высокие горы прикрыли ее от бешеного
ветра. Но от последовавшего затем ливня спасения не было, и к полуночи обе речушки в
долине разлились. Потом западная речка, тоже Атуона, перегороженная в устье камнями и
стволами, совсем вышла из своего русла и соединилась с восточной, Макемаке, как раз
возле дома Гогена (см. пунктир на карте Атуоны). Поток смыл хижину Тиоки и дом
жандарма, где в это время была только мадам Клавери; муж отправился с проверкой в
другую долину. Мадам Клавери с трудом спасла свою жизнь и кассу. Мостик,
переброшенный Гогеном через Макемаке, унесло, он оказался отрезанным от всей деревни
и провел очень неприятную ночь без света в своем щелеватом доме.

Когда наконец рассвело, воды еще было столько, что он не решился спасаться вплавь.

Единственными в поле зрения были двое туземцев на веранде лавки Варни, а они делали
вид, будто не слышат его зова. Но Гоген по опыту знал, как привлечь внимание
островитян. Он достал несколько бутылок рома и помахал ими в воздухе. Тотчас оба
туземца прыгнули в воду и переправили его на себе. Благодаря своей высоте «Веселый
дом» устоял против паводка. На следующий день вода спала, и оказалось, что
причиненный ущерб незначителен. Во всей Атуоне утонул только один ребенок, а
разрушения были пустяком перед тем, что происходило в других долинах, не говоря уж о
низких островах Туамоту, где погибло 517 человек[257].

Правда, и в Атуоне были серьезные последствия: буря уничтожила посадки хлебного

дерева, бананов, ямса и батата, от которых зависели местные жители. Гоген предложил

Клавери отложить отработку атуонцами обязательных десяти дней на строительстве дорог

(заменяемых уплатой двадцати франков), пока не удастся раздобыть продовольствие. Но

жандарм наотрез отказал, возможно, потому, что совет исходил из столь

предосудительного источника. Гоген разумно ограничился тем, что велел своему повару

Кахуи не ходить на работы и не платить никаких денег**258**. Его искреннее сочувствие

туземцам выразилось и в том, что одновременно он сделал щедрый подарок своему соседу

Тиоке, уступив ему часть своего участка (квадратик в северо-западном углу, обозначенный

на карте прерывистой линией). Тиока не хотел заново строиться на старом месте, боялся,

что его там опять затопит.

Гогену не пришлось долго ждать, когда Клавери снова подставит себя под удар. В

конце января жандарм совсем опростоволосился. Еще при Шарпийе из ревности была

убита женщина, и Гоген с помощью Тиоки, Рейнера, Варни и Ки Донга, которые владели

местным языком и хорошо знали атуонцев, терпеливо собирал все сведения и слухи.

Самое важное свидетельство представил Ки Донг, лечивший убитую за несколько недель

до ее гибели. Он клятвенно заверял, что кроме двух ножевых ран у женщины были

внутренние повреждения половых органов. Шарпийе наскоро провел поверхностное

расследование и поспешил арестовать мужа убитой, беглого матроса-негра, хотя все улики

указывали на ее любовника**259**. Клавери усугубил ошибку своего предшественника - он

отказался выслушать Гогена и всячески старался обличить арестованного.

Должность мирового судьи, которой Гоген безуспешно добивался в 1892 году, по-

прежнему оставалась вакантной; власти решили, что

достаточно «при надобности»

присылать судью из Папеэте. В этом случае было ясно, что столь трагическое

преступление должен расследовать человек квалифицированный, и 5 февраля 1903 года на

новом роскошном пароходе с гордым и многообещающим названием «Эксцельсиор»

(«Превосходный») прибыл молодой судья Орвиль**260**. Гоген заблаговременно составил

длинный доклад, изложив все известные факты; заодно он обвинил «заносчивого,

ограниченного и деспотичного» Клавери в том, что тот возмутительно небрежно вел дело.

Этот доклад он не мешкая вручил судье. К его великому и естественному негодованию,

проходили дни, а Орвиль не вызывал ни его, ни других поименованных в документе лиц,

которые могли дать ценные сведения. Очевидно, судья был доволен расследованием

Шарпийе и Клавери и собирался отправить все бумаги в Папеэте; только тамошнему суду

были подсудны убийства. А пока Орвиль наскоро разбирал множество мелких дел,

входивших в его компетенцию. Одно из них, как считал Гоген, основывалось на ложном

доносе. Двадцать девять туземцев из долины Ханаиапа на севере острова обвинялись в

пьянке. Донес на них метис по имени Морис, которого не раз штрафовали не только за то

же самое преступление, но и за ложную присягу и лжесвидетельство. Все двадцать девять

обвиняемых клялись, что они ни в чем не повинны и что Морис попросту хочет отомстить

им за какие-то мнимые обиды. Гоген и на этот раз знал все подробности, так как с одним

обвиняемым, объяснявшимся по-французски, говорил сам, а большинство остальных

были протестанты и исповедовались пастору Вернье.

Горя желанием постоять за правду, а заодно крепко досадить Клавери, Гоген решил

выступить защитником двадцати девяти, что вполне допускалось законом. Процесс

начался неудачно для него. Он пришел на суд в будничной одежде - полосатой и не очень

чистой рубахе и цветастой набедренной повязке - и сел на пол по-туземному, скрестив

свои распухшие, покрытые язвами ноги. Судья отказался утвердить защитника, который с

таким явным пренебрежением относился к суду. Ворча себе под нос, Гоген захромал

домой, чтобы надеть брюки. Но все его усилия пропали даром, потому что Клавери,

представлявший обвинение, неожиданно вызвал еще одного свидетеля, самого вождя

долины Ханаиапа, по имени Тумахуна. Правда, вождь не видел пьяных, но уверял,

что *слышал* их, дескать, они в ту ночь подняли такой шум, что несомненно были пьяны в

стельку. В итоге всю компанию приговорили к пяти дням заключения и ста франкам

штрафа с каждого. Возмущенный Гоген громогласно возразил, что судья неверно

применил закон, судья в ответ заорал, что он может, если недоволен, обжаловать приговор

в Папеэте, а так как защитник продолжал негодовать, Орвиль велел жандарму,

исполнявшему роль пристава, вывести его. Гоген пригрозил дать жандарму хорошего

тумака, если тот его коснется, но в конце концов ушел сам. Однако сперва он заверил

своих двадцать девять клиентов, что напишет жалобу и покроет все связанные с этим

расходы.

А через несколько часов один из самых первых поселенцев, баск по фамилии Гийту,

который занимался охотой и забоем одичавшего скота и лучше других знал маркизский

язык и жителей Ханаиапы, передал Гогену, что вождь Тумахуна в указанное доносчиком

время был в восьми километрах от того места, где, по его словам, происходила пьянка. И

Гийту обещал немедленно доложить Клавери, что Тумахуна солгал. Но когда Гоген

торжествующе явился к жандарму, чтобы проверить, записаны ли показания Гийту,

Клавери, к его удивлению, заявил, что ничего не знает. И это была правда, потому что баск

в последнюю минуту испугался, как бы ему не повредило

сотрудничество с Гогеном, и

ушел на охоту в горы. Рейнер и Варни вызвались подтвердить, что они слышали, как

Гийту в разговоре с Гогеном разоблачил Тумахуну. Прошло еще несколько дней, а Клавери

не вызывал ни Гийту, ни вождя. Разъяренный Гоген добрел до жандармерии и потребовал

разъяснений. Клавери зло ответил, что Гоген ему не начальник. Последовал «бурный

спор», который так взволновал Гогена, что дома у него было легочное кровотечение**261**.

Случилось так, что всего через несколько недель, а именно 10 марта 1903 года,

прибыли два инспектора; так было заведено, что из Парижа время от времени наезжали

чиновники, чтобы проверить, как управляется колония. Гоген тотчас составил новую

пространную жалобу, в которой опять критиковал Клавери и резко нападал на получателя

его предыдущей жалобы, судью Орвиля**262**. «Из экономии, - писал он, - блюстителей

правосудия присылают сюда только раз в полтора года. И когда прибывает судья, ему бы

только поспеть рассмотреть все накопившиеся дела, хотя о туземцах и о самих делах он

знает лишь то, что есть в материалах, подготовленных жандармом. Увидит татуированное

лицо и говорит себе: «Это бандит и каннибал». Тем более что жандарм его заверил, что это

так и есть. Или жандарм выдвигает против тридцати человек обвинение, основанное *на*

простом доносе, что они пели и танцевали и будто бы даже пили апельсиновое вино. Всех

тридцать приговаривают к штрафу - сто франков с каждого (сто франков здесь равны

пятистам в других странах), итого три тысячи франков плюс судебные издержки... Я

должен также обратить ваше внимание на то, что 3 тысячи франков плюс издержки - это

выше всего годового дохода целой долины, причем большая часть долины даже не

принадлежит этим туземцам... Итак, прибывает судья, останавливается не в гостинице,

а, *по собственному почину*, у жандарма, ест у него и общается

только с ним - с человеком,

который вручает ему материалы по всем делам со своими комментариями. Мол, такой-то и

такой-то, а проще говоря, все как один - настоящие бандиты. И жандарм добавляет: «Вы

понимаете, мсье судья, если не держать их в ежовых рукавицах, нас всех перебьют». Судья

не сомневается в его словах».

Дальше Гоген вполне справедливо осуждал нелепейший порядок, когда

непросвещенными жителями далекого полинезийского острова пытались управлять на

основе *французских* законов и постановлений. «На допросе обвиняемого опрашивают

через переводчика, не знающего тонкостей языка, не говоря уже о всех юридических

терминах, которые очень трудно перевести на туземный язык, разве что с помощью

описательных оборотов. Например, туземца спрашивают, выпил ли он. Он отвечает «нет»,

и переводчик заявляет: «Он говорит, что никогда не пил». На что судья восклицает: «Но

ведь его уже судили за пьянство!» Туземцы чувствуют себя очень связано при европейцах,

которых привыкли считать куда более знающими и осведомленными. Язык *пушек* не забыт

ими, и они приходят на суд, изрядно запуганные жандармом, предыдущими судьями и т. д.

А потому предпочитают признать свою вину, даже если ни в чем не повинны, ибо знают,

что отрицание повлечет за собой еще более строгую кару. Словом, метод

террористический».

Перечислив ошибки и несправедливости, допущенные Клавери и Орвилем, Гоген под

конец формулирует три вполне разумных и обоснованных требования:

1. Чтобы судьи впредь не останавливались у жандарма.

2. Чтобы судьи старались вести самостоятельное расследование и проверяли

утверждения жандармов, опрашивая других лиц.

3. Чтобы штрафы были снижены и лучше отвечали доходам туземцев.

К сожалению, инспекторы спешили так же, как губернатор

Пети год назад. В день
приезда они потолковали с жандармом Клавери, на следующий день были почетными
гостями католического епископа и уже в пять вечера отправились дальше. Принять Гогена
и его жалобу им было просто некогда**263**. Зато они несомненно наслушались жалоб на его
поведение. Судя по докладу, представленному в министерство колоний старшим
инспектором Андре Салле, особенно недовольны были Клавери и епископ; это видно по
следующей выдержке: «Маркизские туземцы постоянно предаются пьяным оргиям в
глухих закоулках своих долин. Группы по сорок-пятьдесят человек наполняют самые
брльшие вместилища в деревне апельсиновым вином, иногда тарой служат даже лодки.
Затем и мужчины и женщины, совсем нагие, пьют без меры, дерутся и обнимаются.
Жандармы знают, что лучше не появляться в разгар такого празднества. Художник Гоген,
который живет в Атуоне и защищает все безобразия туземцев, считает эти дикие сцены
всего-навсего развлечением, необходимым для благополучия туземцев. Между тем
поселенец Гийту из долины Ханаиапа в письме на мое имя сообщил, что не смеет никуда
ходить без револьвера.
Просто пытаться подавить эти безобразия мало толку, мы должны повлиять на детей,
чтобы они осудили дикарское поведение родителей. Только школы, включая интернаты,
могут выполнить эту двойную задачу. Администраторы, а также врачи и миссионеры,
работавшие на Маркизах, быстро это поняли. И они собрали всех или почти всех детей
архипелага в наличных школах. Туземцы смирились с тем, что надо отдавать своих детей
на попечение монахинь ордена св. Иосифа де Клюни и монахов из христианского
братства, и обязались раз в неделю снабжать их нужным количеством туземной пищи.
За последние два года все переменилось. Больной художник-импрессионист, мсье

Гоген, поселился в Атуоне, в постройке, которую назвал «Веселым домом». С первой

минуты он принялся подстрекать туземцев против властей, подбивает их не платить

налогов и не посылать детей в школу. С целью добиться последнего он, хотя ему как

инвалиду трудно ходить, приходил на берег и уговаривал жителей Тахуаты возвращаться с

детьми на свой остров. Это подтверждается жандармскими донесениями.

Результат налицо. Четыре-пять лет назад в католических школах Атуоны и Пуамау

училось больше трехсот детей. Теперь осталось только семьдесят. В монастырской школе

(в Атуоне) в сентябре прошлого года было шестьдесят учениц. Теперь я увидел только

тридцать пять»**264**.

Естественно, губернатор и начальник жандармерии восприняли доклад инспекторов

как прямой призыв обуздать опасного анархиста, и они не мешкая дали понять Клавери,

что он всецело может рассчитывать на их поддержку и одобрение. А Клавери уже точно

знал, как обезвредить своего неугомонного противника. В начале февраля Гоген

потребовал расследовать ходившие в Атуоне слухи, будто подчиненный Клавери жандарм

Этьен Гишенэ на острове Тахута брал взятки и участвовал в контрабанде, когда приходили

американские китобои. Ограждая интересы местных торговцев-французов, закон

воспрещал иностранным (и некоторым французским) судам при заходе на острова

продавать что-либо туземцам и платить им товарами. Между тем упомянутые китобои

вели оживленную торговлю, и многие туземцы из Атуоны ездили на Тахуату за товаром.

Похоже, что Гогена подбили написать заявление его друзья Фребо и Варни; сами они, не

располагая убедительными доказательствами, не решились этого сделать. Так как судья

Орвиль начисто пренебрег предыдущей жалобой Гогена, он теперь обратился к

администратору Пикено, который как раз собирался посетить

Хиваоа, Тахуату и Фатуиву.

Пикено пообещал разобраться, но во время своего короткого визита на Тахуату не застал

Гишенэ и оставил ему письмо, требуя объяснения. Через день-два администратор снова

попал на Тахуату, и ему вручили ответ жандарма, почему-то опять отлучившегося по

срочным делам. В своем письме Гишенэ возмущенно отвергал обвинения Гогена и

решительно утверждал, что китобои не свозили на берег никаких товаров, если не считать

разной мелочи, переданной ему капитаном. К письму прилагалась квитанция,

показывающая, что Гишенэ при этом уплатил пошлину таможеннику, должность которого

исполнял... он сам!

Пикено еще раз доказал свое расположение к Гогену, зайдя к нему в Атуоне и

посоветовав взять обратно заявление. При этом он добавил, что Клавери вне себя, так как

считает это непозволительным вмешательством в его дела и не упустит даже малейшего

повода отыграться. Гоген послушался доброго совета и письменно отказался от своих

обвинений**265**.

Но Гишенэ уже успел переслать Клавери служебную записку Пикено, к которой была

приложена копия заявления Гогена. И, списавшись с начальством в Папеэте, Клавери

решил подать в суд на Гогена за оскорбление жандарма при исполнении служебных

обязанностей. Повесткой, датированной 27 марта 1903 года, Гогену предлагалось во

вторник тридцать первого числа явиться в атуонский суд. Отвергнув его требование

провести тщательное и беспристрастное расследование действий Гишенэ, а также просьбу

об отсрочке, чтобы подготовить защиту, Орвиль принял все доводы обвинителя Клавери и

приговорил Гогена к пятистам франкам штрафа и трем месяцам тюремного заключения**266**.

Несправедливость этого молниеносного суда становится еще очевиднее, если учесть

(Гоген обнаружил это только позже), что статья, по которой

его осудили, касалась только

оскорблений личности в печати.

Окончательно выведенный из себя, Гоген совсем забросил живопись и все силы

обратил на то, чтобы добиться реабилитации. С первым же пароходом, 2 апреля, он послал

жалобу в Папеэте, в следующую инстанцию. Одновременно он написал своему бывшему

политическому противнику, адвокату Леону Бро (он был одним из новых представителей

Маркизских островов в генеральном совете), прося его обжаловать дело**267**. Затем, в

ожидании пересмотра, он принялся сочинять длинное письмо начальнику жандармерии.

Как это не раз бывало раньше, Гоген обратился также к Шарлю Морису и попросил его

повлиять на общественное мнение во Франции резкими газетными статьями о

скандальном положении на Маркизском архипелаге. Впрочем, уже через несколько

абзацев он перевел разговор на искусство и, в частности, очень верно оценил свое

собственное творчество: «Ты ошибся, когда сказал однажды, будто я неправ, называя себя

дикарем. Каждый цивилизованный человек знает, что это так, ведь в моих произведениях

их поражает и озадачивает именно то, что я поневоле дикарь. Кстати, потому-то мое

творчество и неповторимо... Все, чему я учился у других, только мешало мне. Поэтому я

могу сказать: меня никто ничему не учил. Верно, я мало знаю! Но я предпочитаю то

малое, созданное мною, что действительно мое. И кто ведает, быть может, это малое, став

полезным для других, когда-нибудь вырастет во что-то большое?»

К сожалению, со всеми этими судами и хлопотами Гогену некогда было работать, и он

задолжал Воллару столько картин, что боялся, как бы тот не прекратил ежемесячные

выплаты. Да еще он был должен немецкой торговой фирме тысяча четыреста франков, то

есть почти столько же, сколько требовалось на поездку в Папеэте за справедливостью.

Порывшись в своих сундуках и ящиках, Гоген отыскал девять старых картин; среди них

преобладали вещи 1899 года, но была и одна бретонская. Часть этих полотен он хранил

потому, что дорожил ими, часть - потому, что считал их неудавшимися. Теперь он

отправил все девять Воллару, присовокупив одну из четырех картин, которые написал

недавно**268**. Остальные три Гоген послал открытому Даниелем де Монфредом богатому

коллекционеру, прося за них полторы тысячи франков.

Одна из картин 1903 года изображает коня Гогена под манговым деревом перед окном

мастерской, две - виды деревни с кладбищем на заднем плане, и последняя представляет

собой сильно уменьшенный вариант его духовного завещания 1897 года: «Откуда мы? Кто

мы? Куда мы идем?»

В это время, когда ему особенно нужны были силы, снова резко ухудшилось здоровье.

Гоген опять послал за Вернье, но тот мог только сменить ему перевязку и посоветовать

быть осторожнее с лауданом. Совет разумный, но как его выполнишь, если нога болит все

сильнее? И когда лаудан перестал помогать, Гоген даже попросил Варни вернуть ему

морфий и шприц, которые нарочно отдал лавочнику на хранение. Памятуя уговор, Варни

сперва упирался, но Гоген не успокоился, пока не настоял на своем**269**. Морфий принес

облегчение, и к следующему пароходу, который выходил 28 апреля, он смог закончить

свое письмо начальнику жандармерии. На тринадцати исписанных убористым почерком

страницах Гоген красноречиво защищался и яростно нападал.

Судя по этому важному, прежде не публиковавшемуся документу, поворотным

пунктом явилось прибытие Клавери. До сих пор, по словам Гогена: «Немощный, занятый

своим творчеством, не зная ни слова по-маркизски, я жил уединенной жизнью здесь на

островах, вдалеке от дороги, редко встречаясь с людьми». Потом приехал Клавери, и... «с

самого начала я подвергаюсь непрерывным преследованиям.

Стоит мне дать отпор, как

меня осыпают бранью, причем в общественных местах, на глазах у европейцев и

туземцев. Моя жизнь становится невыносимой, идет борьба наподобие той, которую

описал Бальзак в «Крестьянах».

Рассказав о стычке с Клавери после суда над двадцатью девятью жителями Ханаиапы,

Гоген продолжает: «Вот почему необходимо известить вас, мсье, что хотя ваши жандармы

исполняют много административных обязанностей, они находятся здесь прежде всего для

того, чтобы бороться с преступностью и нарушениями закона, и нельзя обращаться с

поселенцами как с подчиненными солдатами. Надеюсь, чувство справедливости не

позволит вам стать на сторону ваших жандармов. Если со мной и впредь будут так

обращаться, я попрошу вас заставить этого наглого мерзавца драться со мной на дуэли.

Счастье туземцев, что в моем лице они обрели защитника, потому что до сих пор

поселенцы, люди небогатые, кормящиеся торговлей, боялись пойти против жандармов и

помалкивали. В итоге жандармы, никем не контролируемые (вы далеко, и вряд ли вас

правильно информируют), здесь полные хозяева... Меня осудили только за то, что я

защищал бедных беззащитных людей. Животные хоть охраняются специальным

обществом».

Дальше следовал длинный и яркий обзор всех оскорблений, которые пришлось

выслушать Гогену. Он заключал: «Однако хочу довести до вашего сведения, что я прибуду

на Таити, чтобы защитить себя, и что моему адвокату будет что порассказать. .. Пусть

даже меня отправят в тюрьму, что я считаю позором (это нечто неслыханное в нашем

роду), я всегда буду высоко держать голову, гордясь репутацией, которую заслужил. И я

никому, каким бы высоким ни был его чин не позволю говорить что-либо унижающее мою

честь»**270**.

Судя по задиристому тону и ясному слогу, можно подумать, что у Гогена было вдоволь

и здоровья и душевных сил. На самом деле это письмо стоило ему больших усилий: по

сохранившимся черновикам и заметкам видно, что он его много раз переписывал. Гоген

настолько ослаб, что, едва ушел пароход, снова заперся в своем доме, чтобы как следует

отдохнуть. Целую неделю он никого не приглашал, но рано утром 2 мая послал Тиоку за

пастором Вернье. Поднявшись по крутым ступенькам в примолкший «Веселый дом»,

Вернье застал хозяина, в кровати. Слабым голосом Гоген спросил, что сейчас - день или

ночь, и пожаловался, что у него «все болит». Сказал, что два раза терял сознание. Потом

вдруг принялся толковать об искусстве и литературе, остановился на романе Флобера

«Саламбо». Как это бывало и раньше, беседа явно ему помогла, боли скоро прекратились.

Гоген не знал, где его слуги, да его это и не очень занимало. Посидев еще, Вернье пошел в

школу, чтобы продолжать урок**271**.

В одиннадцать часов благодарный друг Гогена, Тиока, который показал себя куда

более преданным и надежным, чем платные слуги, решил опять навестить его. Как

полагалось по местному обычаю, он издали дал знать о себе криком «Коке! Коке!», однако

не дождался приглашения войти. Тиока нерешительно поднялся по лестнице и увидел, что

Гоген лежит на краю кровати, свесив вниз одну ногу. Он подхватил его и побранил за

неосмотрительную попытку встать. Ответа не было. Вдруг Тиоку осенило, что его друг,

возможно, умер. Чтобы удостовериться, он прибег к испытанному маркизскому способу:

сильно укусил Гогена за голову. Тот оставался нем и недвижим. Тогда Тиока

пронзительным голосом затянул траурную песнь. На тумбочке возле кровати стоял пустой

флакон из-под лаудана. Может быть, Гоген принял чрезмерно большую дозу. Намеренно -

говорили одни жители поселка; нечаянно - думали другие. А

может быть, флакон давно

был пуст. Нам остается только гадать**272**. Если в этом вообще есть смысл.

Наконец явились два нерадивых лодыря - слуги Гогена. Они не замедлили оповестить

всю деревню, и через четверть часа маленькая душная спальня была битком набита

любопытными. Потом подошли пастор Вернье (он попытался применить искусственное

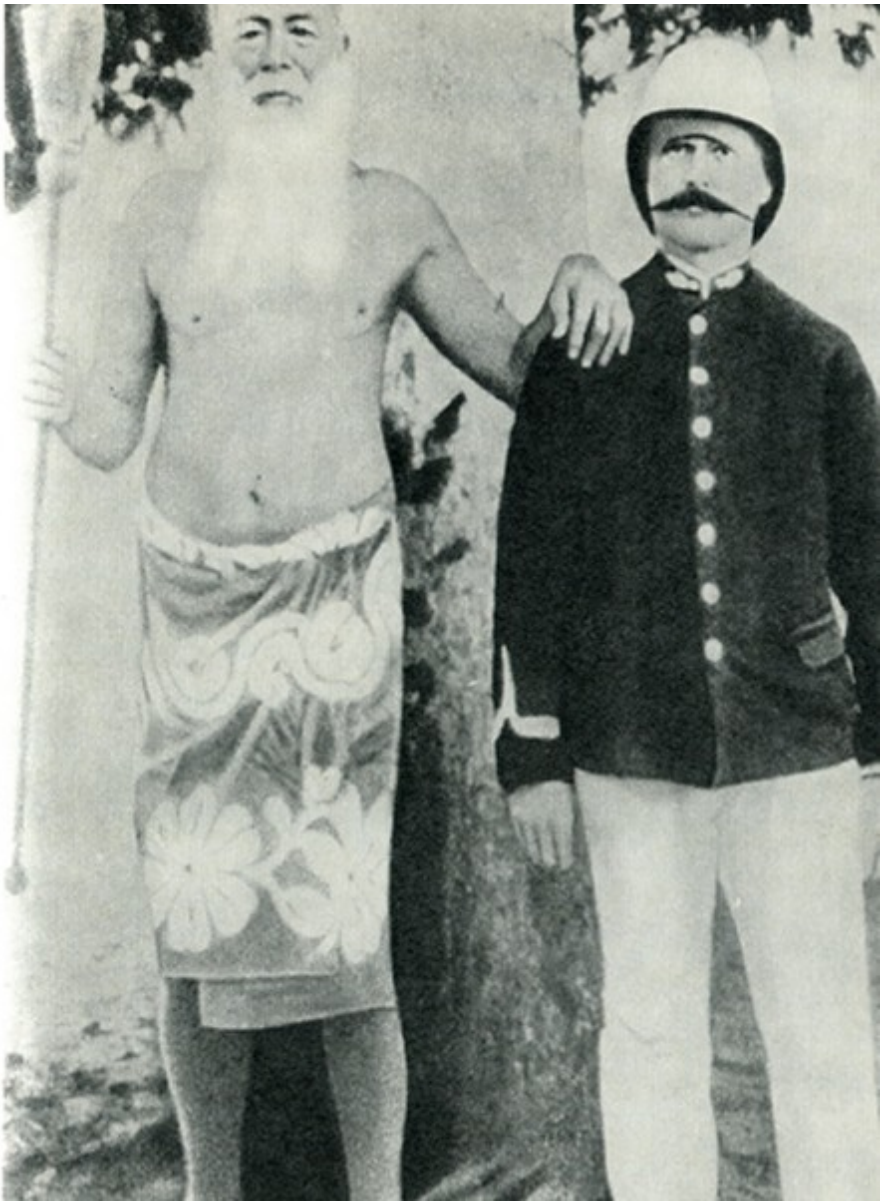
дыхание) и, всем на удивление, епископ, которого сопровождали два монаха из мужской

школы. Впрочем, у епископа была уважительная причина нанести своему павшему врагу

последний визит: Гогена крестили в католической церкви, и полагалось схоронить его в

освященной земле. По долгу службы явился и Клавери - проследить, чтобы Гоген и после

смерти не нарушал правил. Выяснив, что первыми нашли покойного Тиока и Фребо, он



тут же заполнил свидетельство о смерти и попросил их расписаться. Неисправимый

педант, он приписал следующие слова, в которых звучит явный укор: «Он был женат и был

отцом, но имя его жены неизвестно».

Как и в большинстве тропических стран, правила предписывали похоронить

покойного в двадцать четыре часа. Однако, к великой досаде Клавери, последний раунд

выиграл Гоген: лишь около двух часов следующего дня, с

опозданием на три часа, грубый,

наскоро сколоченный гроб опустили в могилу, вырытую в красной вулканической почве

католического кладбища на холме Хуэакихи, в километре с небольшим к северу от

Атуоны. Кроме четырех туземцев, несших гроб, в эту жаркую пору дня один Эмиль Фребо

дал себе труд подняться на крутой холм[273]. Речей не было, эпитафии тоже, если не считать

нескольких строк в письме, которое три недели спустя епископ Мартен отправил своему

начальству в Париж: «Единственным примечательным событием здесь была

скоропостижная кончина недостойного человека по имени Гоген, который был известным

художником, но врагом Господа и всего благопристойного»[274].

В это же время другой официальный представитель на Маркизских островах, администратор

Пикено, жаловался в докладе своему начальству: «Я просил всех кредиторов покойного

представить в двух экземплярах свои счета, но уже теперь не сомневаюсь, что долги значительно

превысят активы, ибо немногие картины, оставшиеся после покойного, художника декадентской

школы, вряд ли найдут покупателей».

72. Типичные



представители старого и нового порядка: туземный вождь (он нарочно принарядился) и

французский жандарм (в своем обычном мундире).

65.

Натюрморт. 1902 (Попугаи. ГМИИ, инв. № 3371). Когда Гоген хворал и не мог выходить из-за

больной ноги, он часто писал натюрморты. Птицы - маркизские попугаи, а скульптура на заднем

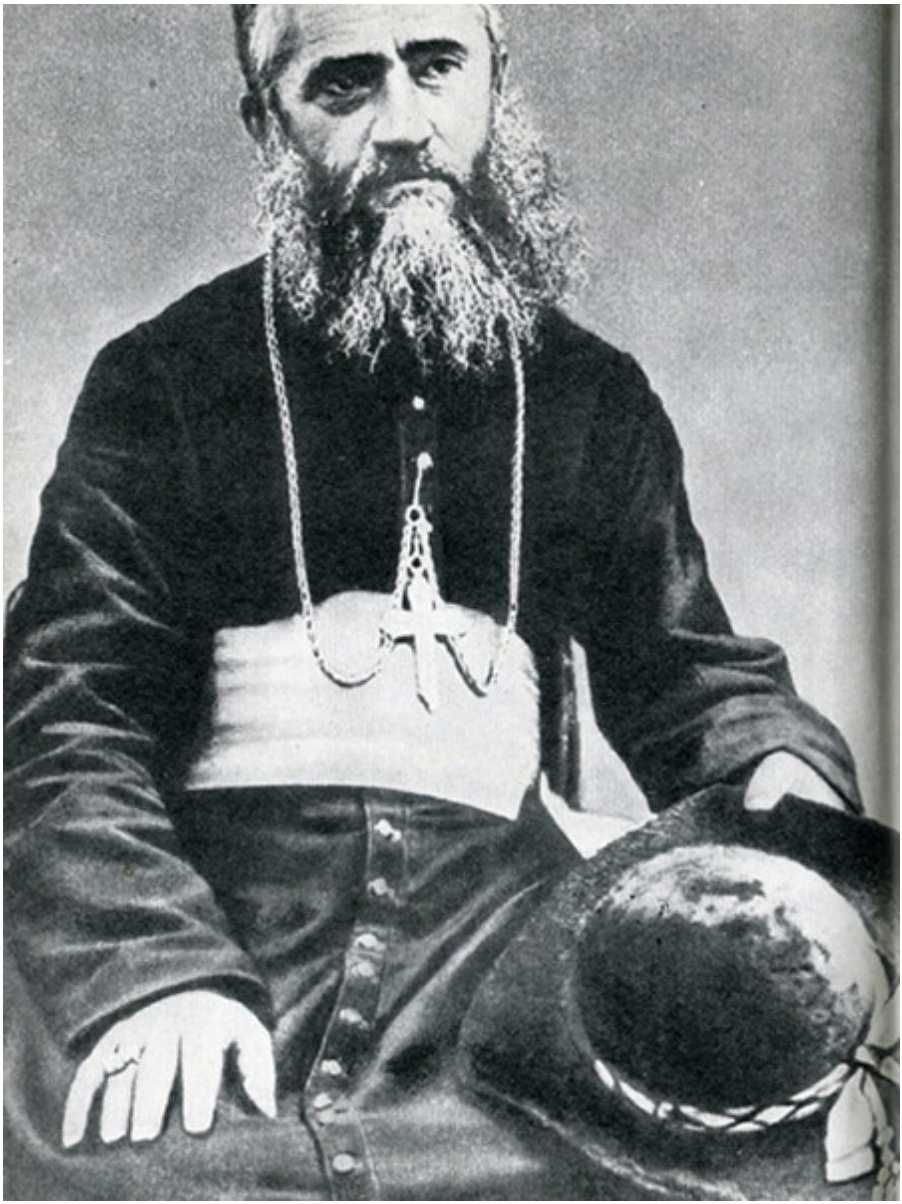
плане - своего рода Будда, которого Гоген задолго до того вырезал из дерева; она никак не связана

с туземным искусством.



61. Отец Пайяр (Распутник)

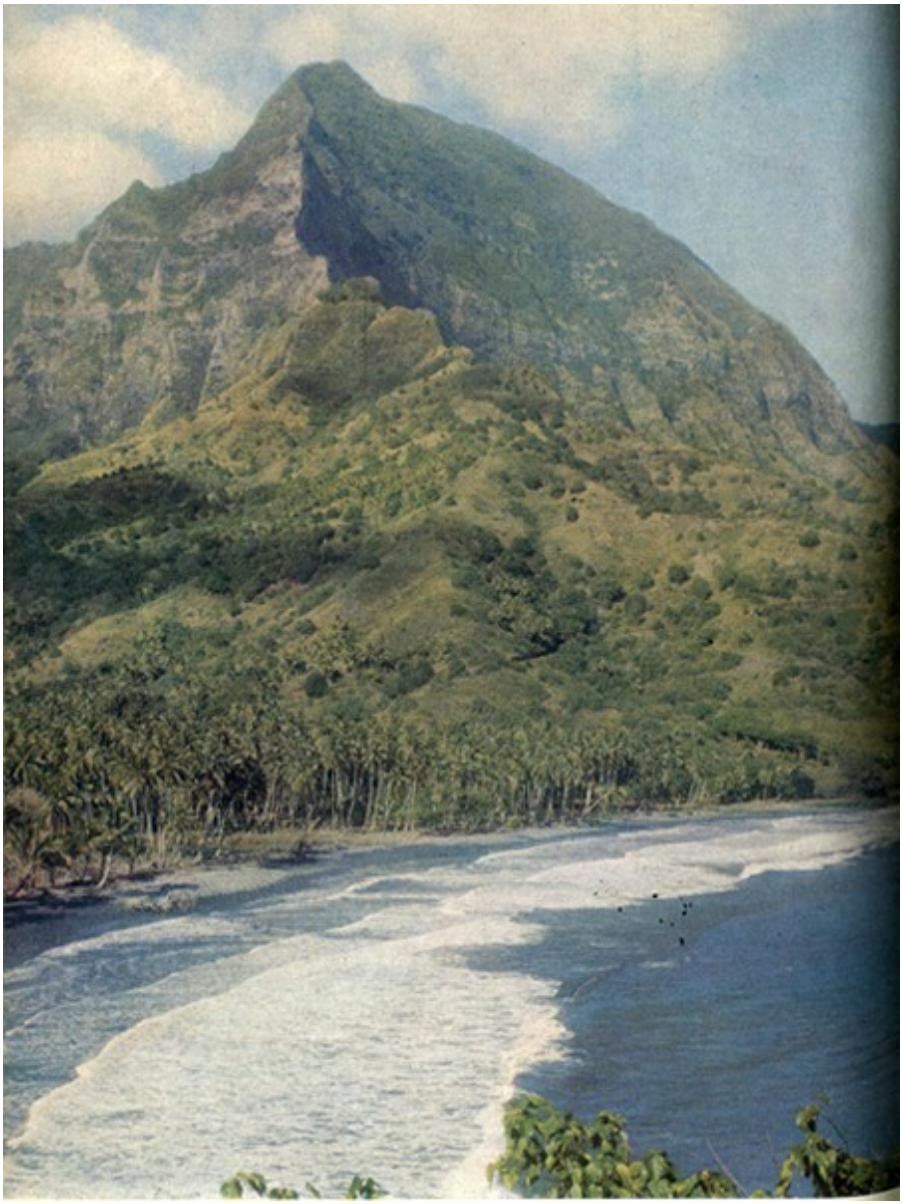
- скульптура епископа Маркизских островов, упоминаемая в этом посте.



71. Но самым

могущественным лицом в Атуоне был Его Преосвященство епископ Жозеф Мартен, который

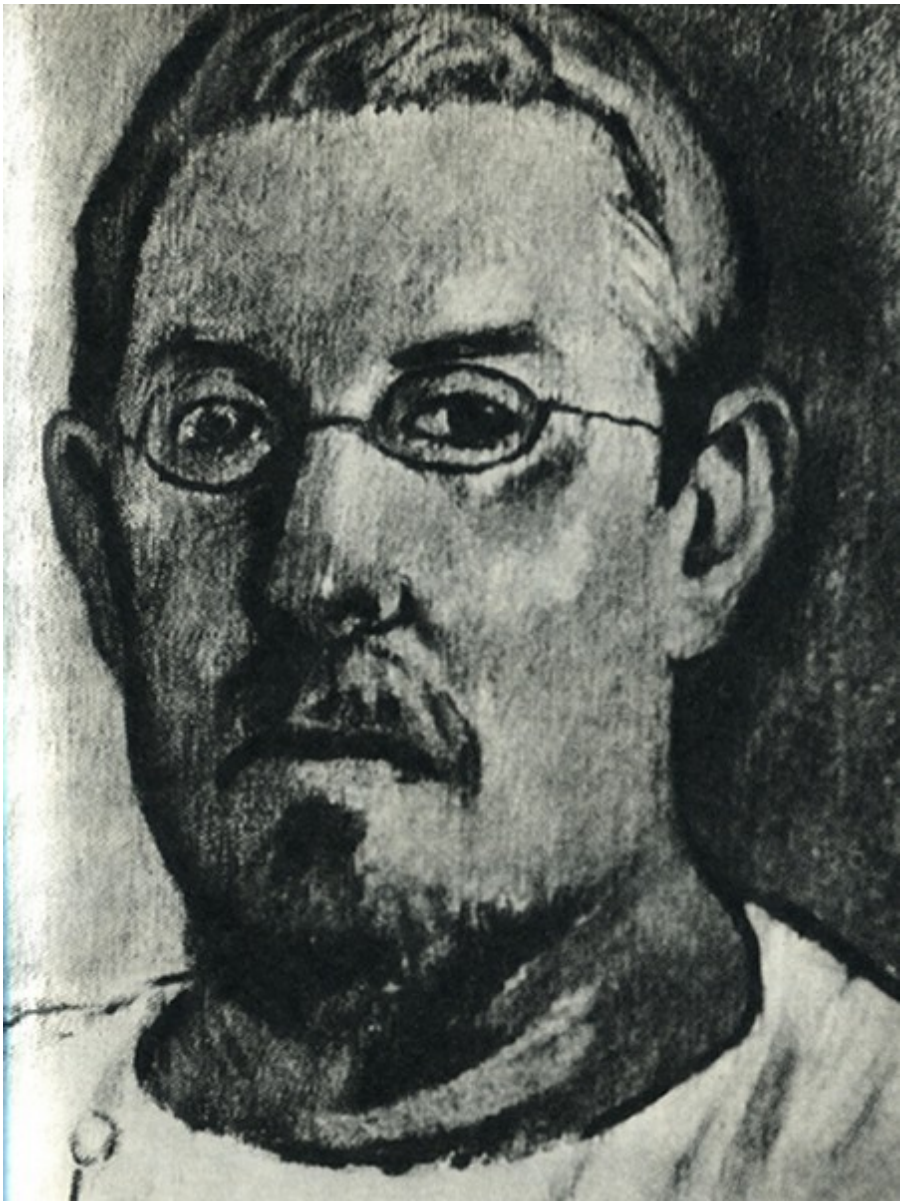
совсем не одобрял аморальное поведение и богопротивные взгляды Гогена.



69. Тесная долина Атуона

на острове Хиваоа (Маркизский архипелаг) снята здесь с мыса, куда обычно приходил по вечерам

Гоген. Поселок и теперь, как в то время, совсем закрыт пальмами.



70. Больной, усталый,

измученный человек, который не мог уже писать без очков... Последний автопортрет Гогена,

написанный в 1902 г., когда ему было всего пятьдесят четыре года.

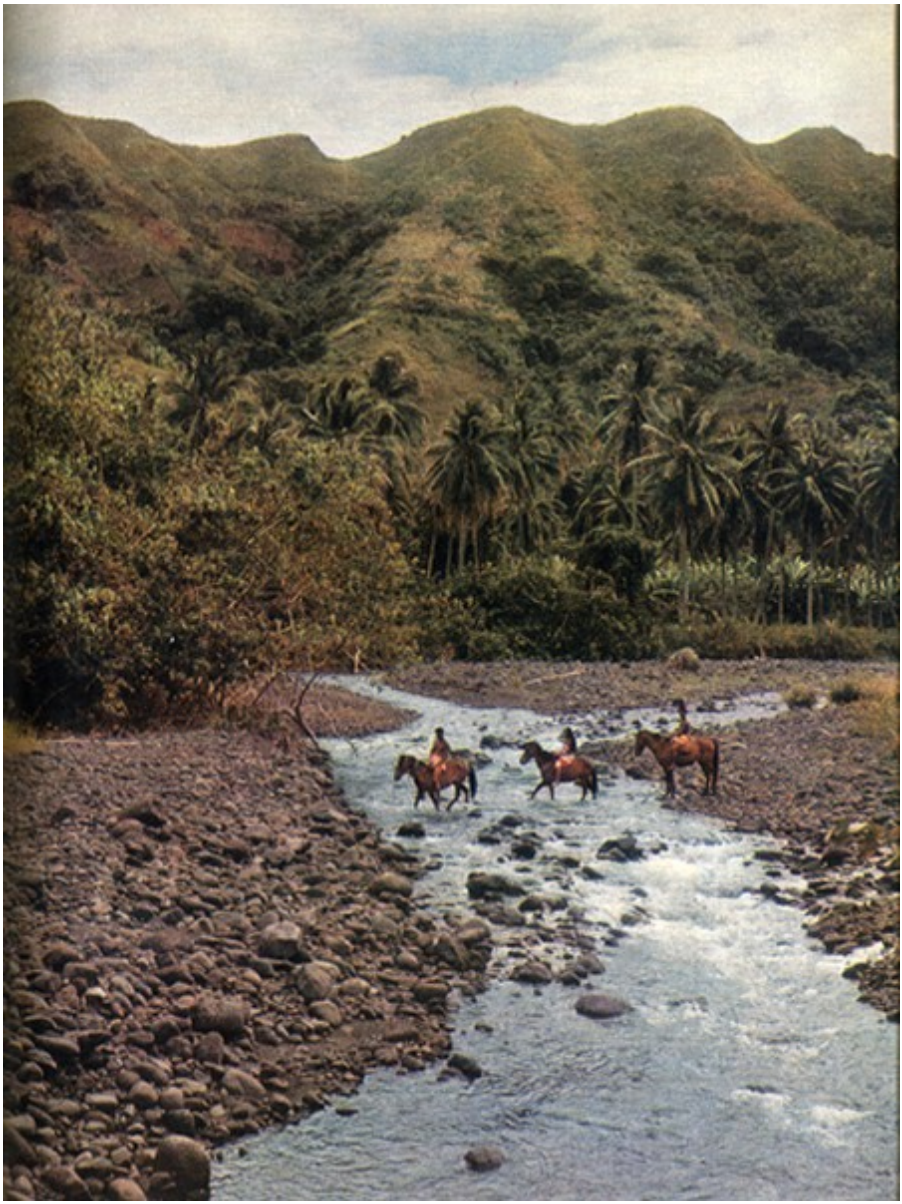


75. Дочь Гогена и Ваеохо,

родившаяся 14 сентября 1902 г., ведет скромный образ жизни в глухой долине на Хи-ваоа. Если

говорить об искусстве, то ее привлекают только лоскутные покрывала, которые ничем не

выделяются среди покрывал, изготовляемых другими маркизянками.

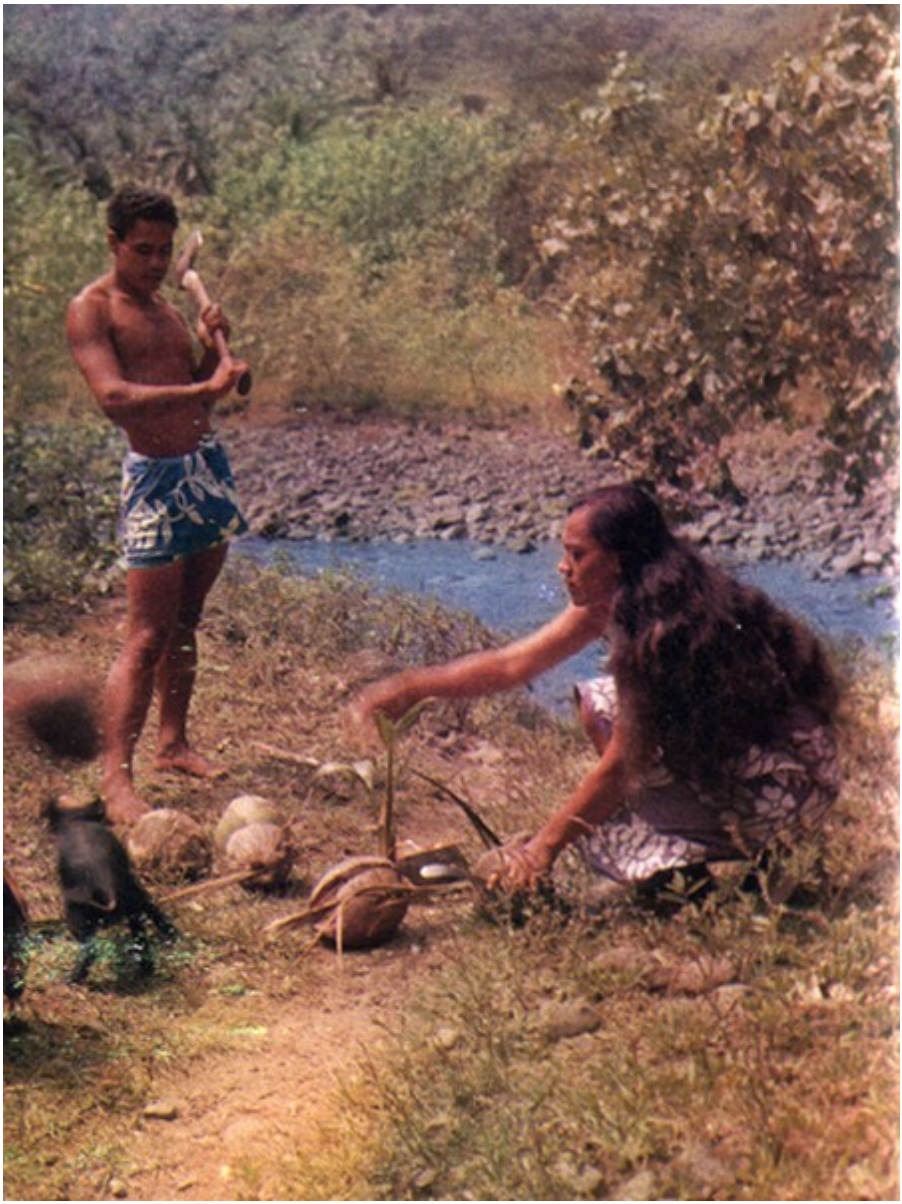


80. На Маркизских островах нет дорог, нет мостов, и все, от епископа до самого маленького туземного карапуза, путешествуют верхом. Но после ливня речки становятся такими бурными, а тропы настолько скользкими, что даже маркизским лошадям трудно пробраться из долины в долину.



73.

Соседи Гогена - американец Бен Варни (верхом) и плотник Тиока перед лавкой Варни.



79. Кто не узнает черных

полинезийских свиней с картин Гогена? Их на островах множество, и они причиняют большой вред,

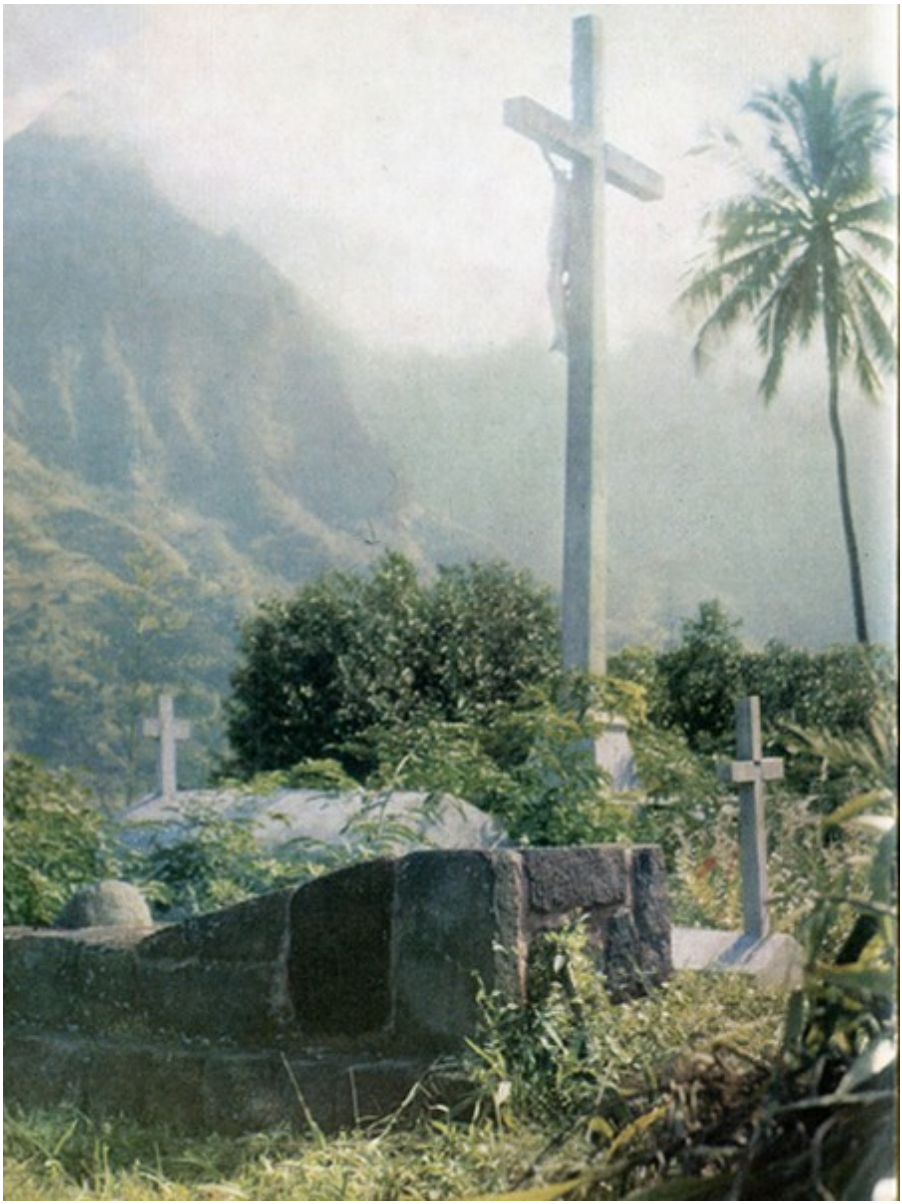
роясь на огородах. Стоит туземцам приняться за заготовку копры, и они тут как тут.



74.

На одной из последних картин Гогена, написанной в начале 1903 г., вверху ясно видно распятие на

том самом кладбище, где его похоронили через несколько месяцев.



81. Долго могила Гогена

была скрыта сорняками, много лет на ней лежала уродливая цементная плита. Недавно

установлено более приглядное каменное надгробие. Его ближайший сосед по кладбищу - его

злейший враг: с 1912 г. в земле около распятия покоится епископ Мартен.



Cubierto casi por las románticas flores que sus amigos y admiradores le habían colgado de los hombros a la manera tahitiana, Eric de Bisschop se despide cariñosamente de Bengt Danielsson, el autor de este libro, poco antes de partir de Tahiti

Автор книги ГОГЕН В
ПОЛИНЕЗИИ Бенгт Даниэлльсон (слева) и Тор Хейердал

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Упоминание Винсента Ван Гога ясно показывает, что это письмо (№ 68) было написано в
Арле, а не в Понт-Авене, как утверждает Маленг.

2 Официальный еженедельник «Всемирная выставка», особенно номера 24 и 25 от 3 и 10
августа 1889 г., содержит хорошее описание французских колониальных павильонов и

яванской деревни, а также иллюстрации. Таитянская секция подробно описана в

таитянском JO 6.II. 1890.

3 MT 16. XI. 1889.

4 Это письмо (№ 106) написано не в июне 1890 г., как предполагает Маленг, а осенью 1889

г. Это видно как из его содержания, так и из ссылок Гогена на его статьи в «Модернисте»

за 1889 г.

5 Мерете Бодельсен убедительно показала (1957, 202), что это письмо (№ 82) было

написано в ноябре, а не в июне 1889 г., как указывает Маленг.

6 Ревалд, 1961, 272.

7 Лоти, часть I, глава XXIII, и часть II, глава X.

8 Речь идет, бесспорно, о справочнике Энрике и других «Французские колонии», Париж, 1889. Это видно по тому, что в трех письмах Гогена есть дословные выдержки из него.

(См. прим. 11, 12 и 13 со ссылками на эти письма). Цитаты на этой и следующих

страницах взяты из Энрике и других, 24-25, 48.

9 Веене, 305-323. Доклад Ван дер Веене, который Гоген упоминал в своем письме Е.

Виллюм-сену осенью 1890 г., был ему известен только по этой краткой выдержке в

справочнике Энрике.

10 Основываясь на статьях, появившихся во французских газетах в 1891-1895 гг., Перрюшо

(43-44) утверждает, что Гоген побывал на Таити еще в 1867 г., когда был вторым

помощником капитана на «Чили», и тоска по острову повлияла на его решение в 1890 г.

Это логически невероятно, так как ни слова об этом не сказано в собственных письмах и

книгах Гогена, тем не менее я на всякий случай просмотрел Таитянский морской регистр

за 1867 г. В нем нет данных о заходе такого судна.

11 Виллюмсен, 73-74. Лёвгрен, 1959, 163-65.

12 Редон, 193.

13 Дорра, 197-98.

14 Редон, 194-95.

15 Жоаян, 1, 118.

16 Делесемм, 25-51.

17 Морис, 1920, 25-26.

18 Ротоншан, 84-85.

19 Маркс-Ванденбрук, 34.

20 Александр, 154.

21 Долан, 43.

22 Машковский, 24.

23 Виллюмсен, 74; Ревалд, 1961, 286-87.

24 Неопубликованные воспоминания Юдифи Жерар и письмо № 54 Даниэлю.

25 «Эко де Пари», 16.11.1891; «Фигаро», 18.11.1891.

26 MF, март, 1891.

27 ***

28 Роструп, 78; Пола Гоген, 142. 53.

29 Это важное письмо № 99 тоже явно написано после возвращения Гогена из Копенгагена, а не в январе, как указывает издатель.

30 Рей, 49.

31 Морис, 1920, 29-30.

32 Ротоншан, 89-90.

33 MF, май 1891, 318-20.

34 Annuaire, 1891, 164-166.

35 Сведения об «Океании» взяты из архивов французского пароходства «Мессажери Мари-

тим» в Париже. Хорошее описание такого плавания и условий на борту корабля в те

времена есть в статье Шарля Дегра, названной среди источников.

36 JO, 28. V. 1885; Котто, 279.

37 JO, И. VI. 1891.

38 Котто, 279-80.

39 Точные данные о дне и часе прибытия указаны в JO от 63. 11. VI. 1891. Получается, что

плавание из Франции длилось 70 дней, а не 63, как уверяет Гоген в знаменитых первых

строках его книги «Ноа Ноа».

40 Жено, 11-18, а также устная информация от Александра Дролле.

41 Адамс, 478. Рассказ о таитянском этапе кругосветного путешествия Генри Адамса и

Джона Лафаржа можно найти во вступлении Марии-Терезы и Бенгта Даниельссонов к

«Воспоминаниям Арии Таимаи».

42 Repertoire, 247-48.

43 JO, 11. VI. 1891.

44 Точную дату этого письма (№ 125, Маленг датирует его 4

июня) легко определить, так

как оно написано «на третий день после нашего прибытия».

45 JO, 16. VI и 18. VI. 1891; .IME, 1891, 387-89.

46 Эренборг, 2.

47 Repertoire, 186. Доклад Салле от 15 мая 1903 г.

48 Пеллендер, 299.

49 Клавери, 130-33. Отличное описание этих вечеров можно найти у Мативе, 44-46, 92-93.

50 Дефонтен, 118.

51 Клавери, 133-35.

52 Агостини, 1905, 31-32.

53 Письмо № 126 неверно датировано Маленгом. Оно было написано 29 июня, это видно и

по словам: «прошло двадцать дней, как я приехал», и по тому факту, что упоминаемая

почтовая шхуна пришла на Таити в этот день.

54 Следующее дальше описание основано на JO от 11. VI. 1891, заметках в MT от 11. VII и

18. VII. 1891, на Жено, 124, и на устной информации, полученной от Александра Дролле.

55 Пеллендер, 288-89.

56 Пеллендер, 295-97.

57 Устная информация от родственника Сусанны, Тони Бем-бриджа, и от Анри Бодина.

58 Лоти, часть II, глава 20.

59 Курте, 215-16.

60 Холл - Осборн, 53-54.

61 Гарнье, 353.

62 Курте, 208.

63 Все прежние биографы считали, что это произошло в марте 1892 г., потому что до марта

Гоген нигде не упоминал об этом в своих письмах. Однако его слова о том, что до сего дня

у него не было рецидивов, а также тот факт, что он «время от времени» принимал

дигиталис, ясно говорит, что случай не был недавним. Данные Жено, 125, и устная

информация от Александра Дролле окончательно показывают, что кровотечение

произошло в августе 1891 г.

64 Пола Гоген, 158.

65 Annuaire, 1891, 147; устная информация от Александра Дролле.

66 № 430 по каталогу Вильденштейна, обозначенный Гогеном

в его «Таитянской записной
книжке» как «Дровосек у Пиа». Так как название области Паеа обычно произносят Паиа,
упомянутая в перечне Гогена картина «Пейзаж вечернего Паиа», очевидно, была написана
там же. О его пребывании в Паеа свидетельствует рассказ в «Ноа Ноа» о закате за Мооpea,
наверно, написанный, когда он гостил у Гастона Пиа, так как Мооpea не видно из Матаиеа
на южном берегу, куда он вскоре перебрался.

67 Repertoire, 453; Агостини, 1905, 83.

68 Устная информация от сына Анани и от Путоʼура а Таʼитерефаʼатоʼа, церковного
старосты в Матаиеа. Через несколько лет бамбуковая хижина исчезла, и когда я в 1953 г.
впервые посетил участок, он был весь покрыт густым кустарником. Зато дом Анани, как
ни странно, еще стоял на месте, его снесли только в 1957 г.

69 Дориваль, 1951, 118, и иллюстрации 15-16.

70 № 491 по каталогу Вильденштейна.

71 Объявления в «Таитянском вестнике» за 1891-1893 гг.

72 Эти сведения сам Гоген сообщил в 1903 г. в длинном автобиографическом письме
лейтенанту жандармерии Бонмезону.

73 Намеренно или нечаянно хронология в «Ноа Ноа» Гогена (приложение к первому
варианту, опубликованное только в 1954 г.) здесь очень запутана. Однако не может быть
никакого сомнения, что этот случай произошел в начале 1892 г., так как заметка в ВО, № 1,
1892, показывает, что именно в это время освободилась должность судьи (и
администратора) Маркизских островов. Из ВО № 3 мы узнаем, что вакансияʼ была
заполнена 1 марта 1892 г и удрученный Гоген написал письмо (№ 130) вскоре после этого
(в начале мая, а не в июле, как ошибочно указывает Маленг) Метте: «Два администратора
- Маркизов и Раиа-теа - только что отбыли в отпуск и прибыли их заместители».

74 МТ, 5. III. 1892.

75 Можно добавить, что упомянутый здесь почтовый ящик был установлен на экипаже
только 4 октября 1892 г. (Annuaire 1897, 168). До той поры

все жители области вынуждены

были ездить за своей почтой в Папеэте.

76 Курте, 193-96.

77 Repertoire, 439, Гинье, и устная информация от Александра Дролле, который

присутствовал, когда Гоген писал эту картину. Аристид Сюха похоронен в Типаэруи около

Папеэте, надпись на его надгробии еще можно прочесть.

78 Repertoire, 16. Некролог в «Осах» от 18. VII. 1901 и устные сведения от Мэй Вильмот, приемной дочери капитана Арно. Информация о плаваниях капитана Арно в эту пору есть

в JO от 24. III и 7. IV. 1892 г.

79 Грей в изданном недавно каталоге «Скульптура и керамика Поля Гогена» в большой

мере основывает свои толкования на широко известном труде Теуиры Генри «Древнее

Таити», но этот метод сомнителен. Большинство обычаев и верований, описанных в этом

труде на основе записок 1820 - 1830 гг., исчезли задолго до приезда Гогена, а сама книга

была напечатана только в 1928 г. И Гоген не мог консультироваться с Теуирой Генри, так

как она жила в Гонолулу с 1890 по 1905 г.

80 В написанном Марией-Терезой и Бенгтом Даниельссонами вступлении к

«Воспоминаниям Арии Таимаи» рассказано о ее литературном сотрудничестве с Р. Л.

Стивенсоном и Генри Адамсом.

81 Общество ариои описано у Даниельссона в книге «Любовь в Южных морях», глава 8.

82 JO, 12. V. 1892, и квитанция Гогена, хранящаяся у доктора Пьера Кассио. Скорее всего

Гоген в это время совершил экскурсию в долину Пунаруу, о которой говорит в «Ноа Ноа»,

когда описывает свою жизнь в Матаиеа.

83 Моэм, 1949, 130-31. Хотя Вильденштейн (а скорее, Раймон Коньят) цитирует в своем

«Каталоге» (227-28) рассказ Моэма, из которого ясно следует, что недатированная картина

на стекле была найдена в доме Анани, в 40 км от Папеэте, а значит, могла быть написана

только в указанное мною время, он без всяких объяснений относит ее к произведениям

Гогена 1896 г., когда художник жил на западном берегу

Таити, всего в 12 километрах от

Папеэте.

84 Заметка в JO от 2. VI. 1892 показывает, что капитан Арно вернулся с Мангаревы 29 мая и

что почтовая шхуна пришла 1 июня.

85 Устные сведения от Мэй Виль-мот. Она же сообщает, что Гоген (дата неизвестна) написал утерянный потом портрет капитана Арно.

86 Рей, 55.

87 Свидетельство о смерти в отделе записи актов гражданского состояния Папеэте, а также

устные сведения от супруга Теха'аманы - Ма'ари а Техеи-ура и ее сына Техеура а Ро'о.

88 Письмо (№ 129) было написано гораздо позднее июня (дата, предложенная Маленгом), это ясно видно из слов Гогена, что отправка картин 14 мая состоялась «три месяца назад».

89 Второй вариант «Ноа Ноа», 1893-1895, в сотрудничестве с Шарлем Морисом, факсимильное издание, 1947, 48-50. Английский перевод сделан с таитянского оригинала,

так как французский перевод Гогена и Мориса очень неточен. Примечательно, что Гоген,

став редактором «Ос», перепечатал из «Ноа Ноа» только эту песню (№ 15, 1900).

90 Роструп, 79-82.

91 Это письмо (№ 128), которое Маленг датирует маем 1892 г., вероятнее всего было

написано в сентябре 1892 г., ведь Гоген говорит, что позади «одиннадцать месяцев

плодотворного труда», то есть период, начавшийся, когда он в октябре 1891 г. поселился в

Матаиеа. Другое верное указание - число картин, написанных им к тому времени, когда он

отправил письмо, а именно 44. К маю 1892 г. было написано только тридцать две.

92 Это письмо (№ XII) тоже было написано в сентябре 1892 г. (а не 31 марта), это видно как

по числу готовых картин, так и по упоминанию об отправке картины 14 мая, о прибытии

которой Гоген теперь успел узнать.

93 Грей, № 98.

94 Описание рыбной ловли, приводимое Гогеном, близко совпадает с Курте, 211-15, и

Дефонтеном, 157-63. Лучше и полнее всех рассказал о таитянском лове тунцов Чарльз

Нурдхофф. Лов всегда происходит в октябре, что позволяет датировать случай,

приводимый здесь в версии Гогена, по факсимильному изданию первого варианта «Ноа

Ноа».

95 Устные сведения от Тераие-хоа Лекерр, род. 1875, и Путоʼура а Таʼитерефаʼатоʼа, род.

1877. Они жили в Матаиеа одновременно с Гогеном и принадлежали к той же группе

молодежи, что Техаʼамана.

96 О дате этого письма см. примечание 92.

97 Рей, 53-55.

98 MT, 15. X. 1892.

99 JO, 15. XII. 1892.

100 Муренхут, I, 428.

101 Repertoire, 432. Позднее Шпиц включил эту фотографию в альбом, изданный в Париже.

Американский исследователь Ричард Филд недавно анализировал источники вдохновения

и методику Гогена в этом и сходных случаях.

102 Написано не в начале апреля, как указывает Маленг, а в начале февраля 1893 г. Это

видно, если сравнить с легко датируемым письмом Х Даниелю де Монфреду.

103 Письмо Метте пришло на Таити не в апреле или мае, как полагает Маленг (№ 136), а

месяцем раньше, так как упомянутые 700 франков были отправлены 10 февраля (Луаз,

1951, 94), а почтовая шхуна пришла 21 марта.

104 MT, 22. IV. 1893.

105 Биографические данные о мадам Шербонье представлены Франс Бро и Пьером

Лёвёрго. Сведения о картине на стекле представлены как английским, художником

Стефаном Хау-эйсом, купившим ее у мадам Шербонье в 1913 г. (Хауэйс, 124), так и

Фредериком О'Брайеном, 1920, 226-27, и 1922, 446-47. Как правило, в редких случаях,

когда она воспроизводилась, показывали только верх, причем половины меняли местами.

Есть полная репродукция в каталоге Виль-денштейна (№ 509), под рубрикой «Париж» (!),

причем следует странное и ошибочное утверждение, что картина «написана Гогеном для

его таитянской хижины». Она четко датирована 1893 г., и Гоген назвал ее «Рупе Тахи-ти» -

первые слова очень популярной в то время песни «Прекрасный Таити».

106 Рей, 51-53.

107 Письмо от Тати Салмон Генри Адамсу, датированное 2 июля 1893 г.

108 Что Гоген в самом деле выехал с Таити на «Дюшаффо» в это время, а не 1 мая на

«Дюрансе», как считали до сих пор, подтверждается его рассказом в приложении к

первому варианту «Ноа Ноа» и заметкой в JO от 22. VI. 1893.

109 Сведения об' этом плавании Гогена взяты из рапорта капитана Пуадено.

110 Газетная заметка, вклеенная в «Тетрадь для Алины», 42, и письмо от 3 октября 1893 г.

Камилла Писсарро сыну Люсьену.

111 Личное сообщение Иржи Мухи, который готовит биографию отца. Позднее в том же

доме была мастерская Модильяни.

112 Все письма Гогена этой поры написаны, во всяком случае, неделей позже тех дат, которые указывает Маленг, ибо «Арман Бехик» пришел в Марсель только 30 августа (см.

примечание 109).

113 Роструп, 79-82; Пола Гоген, 183-86; Саттон, 1956, 91-92; Стрёмбум, 48.

114 Единственный сохранившийся пригласительный билет № 112 из коллекции автографов

Альфреда Дюпона, проданный в 1958 г., доказывает необходимость пересмотреть

общепринятую хронологию, что и сделано.

115 Две деревянные скульптуры - скорее всего, №№ 94 и 97 из каталога Грея, если учесть, что их фотографии воспроизведены в статье Роже Маркса о выставке, написанной для

«Ревю Энциклопедик» от 1 февраля 1894 г. Полный перечень выставленных картин можно

найти, скажем, у Ротоншана, 136-38.

116 Морис, 1920, 31-32.

117 Письмо от Камилла Писсарро Люсьену, датированное 23 ноября 1893 г.

118 Гоген сам собирал цитированные газетные отклики. Они вклеены в конец «Тетради для

Алины». Другие отклики, которые мне удалось найти, были в газете Клемансо «Жюс-тик»

от 12 ноября (автор Гю-став Жефрой) и в январском выпуске «Фигаро Иллюстре».

119 Ротоншан, 141-42, а также устные сведения от Герды Чельберг, Стокгольм. Статья

Артура Мёллера в шведском еженедельнике «Векко-Журнален» иллюстрирована

отличным фотоснимком этого дома.

120 Леклерк, 1895, 121, а также мемуары Юдифи Жерар. Малоизвестная фотография

Вильяма Молара, сидящего на обитом тапой сундуке в мастерской Гогена,

репродуцирована Гердой Чельберг (между страницами 56-57).

121 Чельберг, 40-42. Ида Эриксон родилась в 1853 г., Вильям Молар - в 1862.

122 Здесь и дальше я цитирую рукописи Юдифи Жерар, любезно предоставленные мне

доктором Гердой Чельберг.

123 Воспоминания Юдифи Жерар.

124 Юдифь Жерар, «Жюльен Леклерк, спутник Гогена».

125 Без каких-либо обоснований Маленг датирует это письмо 5.II.1894, хотя оно

несомненно было написано в начале января, когда, как мы знаем благодаря бережно

сохраненному дневнику Даниеля де Монфреда (Луаз, 1951, 19), Гоген был серьезно болен.

126 И здесь терпеливые изыскания Луаза (1951, 19, 58) позволяют нам исправить неверную

датировку письма де Монфреду (№ XVII), которое, бесспорно, было написано 22 февраля,

а не в сентябре 1893 г.

127 Воллар, 199-202. Дневник де Монфреда показывает, что это произошло не раньше конца

февраля.

128 Вильденштейн, № 506-507; Грей, № 109; рукопись Юдифи Жерар «Разлука с Гогеном».

129 Вильденштейн, № 508. Название отчетливо видно на фотографии, представленной

французской фирмой Жиродон. Гоген разделил слова на две группы так, что это

подтверждает избранное мною написание; к тому же это отвечает строению таитянской

фразы.

130 Личное сообщение сына Юдифи - Жиля Жерар-Арльберга.

131 Эдварде, 4-5.

132 Первый самостоятельный вариант Гогена был обнаружен в начале 50-х гг. французским историком и литератором Жаном Луазом и опубликован малым тиражом, факсимильным изданием в 1954 г. (английский перевод - в 1962 г.). К сожалению, сквозь все английское издание проходит ошибка - Теха'аману называют Техаурана.

133 Гиг, 1951.

134 Лоти, часть I, глава 43.

135 Муренхут, I, 434.

136 Он не ошибся, потому что многие из скульптур недавно были проданы почти за 300 тысяч франков.

137 Мортимер Менпес, 931; Редон, 196.

138 Дороти Менпес, 139, 141.

139 Каталог О'Конора, 1-2; Сат-тон, 1960; Белл, 163-67.

140 Незадолго до своей кончины Сегэн напечатал в журнале «Оксидан» рассказ о своем пребывании вместе с Гогеном в Понт-Авене летом 1894 г. Саттон, 1964, дополняет этот рассказ письмами Сегэна, дающими хорошее представление о характере их автора.

141 Большинство отчетов о драке в Конкарно и о Кенперском суде полны домыслов и прикрас. Моя версия основана на единственных известных первоисточниках - письме Филижера своему другу Блуа, отправленном через несколько дней после стычки, и статье Рене Мориса, где приведен приговор и отклики газет.

142 Слова Гогена, что приговор вынесен «в прошлый четверг», ясно показывают, что это письмо (№ 152) было написано в последнюю неделю августа, а не в сентябре.

143 Написано 20 сентября (см.: Луаз, 1951, 98).

144 Указания на то, что Гоген хотел поселиться на Самоа, косвенны, но достаточно вески, потому что он не только просил Молара (письмо № 152) купить ему самоанский словарь, но и написал по-английски на подаренной О'Конору гравюре: «Моему другу О'Конору, самоанцу» (Каталог О'Конора, № 17).

145 Перрюшо, 287-88.

146 Альстрём, глава 6.

147 Хотя Стриндберг хорошо знал французский язык, он

написал письмо по-шведски и

попросил Вильяма Молара перевести его (сообщено издателем Альбертом Боньером,

Стокгольм).

148 В издании Маленга в письме о продаже (№ 158) допущена ошибка: «464 Fr 80 dans ma poche», а надо: «464 Fr 80 de ma poche».

149 Луаз, 1951, 25, и Перрюшо, 293-94. Симптомы, в общих чертах описанные друзьями

Гогена, нисколько не спорят с моей гипотезой в главе IV, что он заразился сифилесом еще

до 1891 г. Далее, его ответ (если сведения верны) на предупреждение о риске, инфекции:

«В моем возрасте больше нечем заражаться», - приобретает смысл только, если принять,

что Гоген уже был болен.

150 Грей, № 113; Бодельсен, 1964, 146-52; Морис, 1896, 4. Большинство искусствоведов

проходило мимо недатированной, но очень важной статьи Мориса, так как неверно

исходили из того, что она была напечатана в 1891 г. Но слова Мориса о том, что Гогену 48

лет, доказывают, что статья была написана в 1896 г. Та же фигура *овири* есть на картине

«Раве те хити раму» (Вильденштейн, № 570), написанной в 1898 г.

151 Это утверждение, приводимое Перрюшо (43), как будто доказывает, что Гоген побывал

на Таити до 1891 г. Однако опровергающие это свидетельства, приведенные в примечании

10, по-моему, достаточно убедительно показывают, что репортер неверно понял Гогена,

если только тот не ввел его в заблуждение нарочно.

152 Вышло два факсимильных издания этой рукописи, последнее в 1947 г. (Издательство

Ян, Стокгольм). Но иллюстрации представляют собой последующее добавление.

Особенно много сделал, чтобы решить сложные проблемы, связанные с созданием «Ноа

Ноа», Луаз (1962).

153 Мажер, 1902, превосходно описывает такое плавание через Окленд. Сведения о

плавании «Австралии» взяты из рапорта капитана Дидье, хранящегося в архивах

пароходства «Мессажери Маритим», Париж. Дата прибытия «Ричмонда» приведена в Ю

от 12. IX. 1895. Письмо № 159 (Маленг датирует его концом июня) должно отнести к

концу августа.

154 MT, 10-25. VIII. 1895; Агости ни, 1905, Ш-12.

155 Пеллендер, 289-90.

156 Все исследователи проходили мимо этого недатированного письма Молару. Правда, оно

было опубликовано в литературном ежемесячнике «Ле Гулан» (1 марта 1938 г.). Но это

провинциальное издание, которое выпускалось одним поэтом в Бретани, имело очень мало

читателей и быстро прекратило свое существование. Чисто случайно именно этот номер

попал мне в руки, когда я изучал документы о пребывании Гогена в Бретани.

157 Repertoire, 86-87, 342. Прочная симпатия Гогена к этому своему другу и поэту-

любителю ясно видна из того, как он хвалит «Цветы коралла» в «Осах», № 15, 1900.

158 Лемассон, 1950; Агостини, 1905; устные сведения от Александра Дролле.

159 JO, 31, X и 21. XI. 1895.

160 Сегэн, 160.

161 Саттон, 1961, 173.

162 Устная информация от Ма'ари а Техеиура.

163 Неопубликованная переписка между Жюльеном Леклерком и Вильямом Моларом

(приложение: Юдифь Жерар, Жюльен Леклерк, спутник Гогена) поназывает, что Гоген

перед отъездом оставил также много картин на хранение последнему и эти картины вскоре

были переданы Воллару для продажи на комиссионных началах.

164 Устные сведения от Анри Тейсье и А.-Ц. Брильянт.

165 Неопубликованное письмо из коллекции автографов, принадлежащей Альфреду

Дюпону (№ 115), продано на аукционе в Париже 3 декабря 1958 г.

166 Repertoire, 186, и устная информация от дочери Огюста Гупиля, Мадлен Сигонь, род.

1882. Жанна, род. 1887, таитянское имя - Байте, умерла в 1943. Рене Хамон воспроизводит

фотографию Жанны Гупиль, снятую в 1938 г.

167 Врагге, 262-63.

168 Repertoire, 31, Мишель Бешу.

169 Ремсден в газетной статье и устная информация от родственника Пау'уры, Поара'и а

Таи.

170 Продано на аукционе в Отеле Друо, Париж, 5 июня 1962 г.

171 Холл - Осборн, 54-55.

172 Маленг напечатал отрывки из этого письма, но не опубликовал вымышленное

интервью, которое Шарль Морис слегка отредактировал и безуспешно пытался

пристроить в газеты. В конце концов Морис ограничился тем, что включил интервью во

вторую часть «Ноа Ноа», помещенную в радикальном проанархистском журнале «Ревю

Бланш» (номер от 1 ноября 1897 г.). Подробно о войне на Раиатеа рассказано у Кайо, 1909,

и Агостини, 1905.

173 Купчая в земельной конторе Папеэте.

174 Лемассон, № 2, 1950, 19.

175 После смерти Гогена рукопись была приобретена Александром Дролле. Теперь

хранится в Городском музее искусств, Сен-Луи, США.

176 Гоген ясно говорит в письме Даниелю (№ XL), написанном в феврале 1898 г., что

пытался покончить с собой месяцем раньше, «как только пришла почтовая шхуна».

Судовой регистр указывает дату прибытия шхуны - 30 декабря 1897 г. Это позволяет с

большей уверенностью датировать важное происшествие, которое большинство

биографов Гогена относят к концу января или началу февраля 1898 г.

177 Лемассон, № 2, 1950, 19; ВО № 12, 1895, 260.

178 ВО, № 1, 1898, 37.

179 Смотри § 17 и 19 устава (ВО, № 12, 1895, 266-67). Документ о ссуде, ныне хранящийся

в музее Папеэте, был опубликован Жакье, 1957, но без приложений с датами взносов

Гогена.

180 Устные сведения от Тераиехоа Лекерр.

181 Агостини, 1905, 28-31.

182 ВО, № 1, 4, 5, 1898; Repertoire, 20; Дорсенн, 134-35; Лемассон, № 3, 32. А также устная

информация от дочери Жюля Оф-фрэ - Элен Оффрэ.

183 Письмо Пикено Даниелю де Монфреду. Устные сведения от Пьера Лёвёрго и Тераиехоа

Лекерр.

184 Леблон, «Ревю Универсель», 536-37; Дорсенн, 139; Repertoire, 86. Устные сведения от

А.-Ц. Брильянт.

185 Repertoire, 318-19. Устная информация от дочери Амбруаза Милло - Марсель Пель-тье.

186 Ссудный документ в музее Папеэте и архив больницы Папеэте за 1898 г.

187 Свидетельство о рождении в отделе актов гражданского состояния Папеэте, датированное 21 апреля 1899 г. и подписанное Полем Гогеном, который, однако,

формально не мог признать ребенка, так как не был разведен с Метте.

188 Приводимый рассказ основан на версии, сообщаемой самим Гогеном в его открытом

письме и дополненной информацией из Леблон «Ревю Универсель», 537, Лемассон, № 2,

1950, 19, а также устными сведениями от А.-Ц. Брильянт.

189 Оригинал принадлежит Элизабет Монтроз, Папеэте.

190 Этот экземпляр теперь находится в Лувре, Париж, Кабинет рисунка, Р. Ф. 28, 844.

191 Repertoire, 74-75, 102, и устная информация от Марсель Пельтье.

192 Это было не первое журналистское предприятие Карделлы и Рауля. В 1884-1889 гг. они

вместе владели «Таитянским вестником», но не справились с этим делом, и вестник

перешел в руки их противника, Леона Бро. См. Repertoire, 56, 395.

193 Мативе, 108.

194 «Круа», 14. XII. 1899.

195 ВО, № 10, 1899, 199-206.

196 ВО, № 12, 1899, 327.

197 В художнический талант своего нового сотрудника Карделла верил гораздо меньше; его

портрет той поры; висящий в мэрии Папеэте написан не Гогеном.

198 Эту сумму Гоген называет сам в письме L1X Даниелю, не уточняя, подразумевает ли он

французские или чилийские франки (и те и другие были тогда в ходу на Таити, причем за

один французский давали около двух чилийских франков). Объявление, воспроизводимое

нами (фото 39), показывает, что номер «Улыбки» стоил полтора чилийских франка. Если

верить Гогену, выходит, что он продавал не меньше 30-35 экземпляров каждого выпуска,

или вдвое больше, если он, говоря о месячном доходе в 50 франков, подразумевал

французскую валюту.

199 Часто Гоген писал меню и украшал их забавными рисунками. Одиннадцать таких меню

сохранились и были опубликованы в 1950 г. с вступлением Роберта Рея. Основываясь на

сравнении стиля с рисунками в одном из альбомов Гогена, Рене Гиг (1952, 115) очень

точно заключает, что эти меню были разрисованы «между декабрем 1899 г. и июнем 1901

г».

200 Запись беседы, любезно предоставленная Ивом Мартеном, Папеэте.

201 Коньят, «Гоген», 72; Лоуренс и Элизабет Хансон «Благородный дикарь», 255. Издатель

факсимильной публикации «Улыбок», Л. Буг, в своем вступлении тоже утверждает, что

главной целью Гогена, когда он начал выпускать свою газету, было защищать таитян, хотя

в воспроизводимых выпусках ничто не подтверждает такого взгляда.

202 «Осы», февраль 1901, 1.

203 «Осы», декабрь 1900, 50.

204 «Осы», декабрь 1900, 49.

205 Открытое письмо учителя Жоржа Дормой в «Осах», август 1901, 3. Единственный

беспристрастный гость на острове, отметивший существование этой газеты, - Дуглас

Холл. Он ограничивается насмешливым замечанием (Холл - Осборн, 75), что она в

основном «ограничивается грубой бранью по адресу губернатора и властей вообще».

206 1900 г. - единственный год, за который в каталоге Вильденштейна не названо ни одной

картины.

207 Запись Пьера Лёвёрго, хранится у Гийома Леброннека.

208 Кибл, 771.

209 Как и предвидел Гоген, Пау'ура и ее семья хорошо позаботились о ребенке. Сын Гогена

до сих пор благополучно здравствует. Примерно до пятидесяти лет он жил в Панаауиа на

таитянский лад, но затем произошло неизбежное: он решил, что выгоднее перебраться в

Папеэте и за небольшую плату разрешать туристам фотографировать его. Потом он стал

делать рисунки вроде воспроизведенного на илл. 77. Спрос на них был так велик, что

теперь предприимчивые посредники помогают ему изготовлять и сбывать рисунки и

картины в большом количестве.

210 Луаз, 1951, 164.

211 Ссудный документ в музее Папеэте.

212 Repertoire, 357-58; «Осы», февраль 1901, 1-2.

213 Об истории, культуре и географии Маркизских островов полнее рассказано в моей

книге «Позабытые острова» (русское издание - М., изд. «Наука», 1965).

214 Протокол заседания 13 апреля 1901 г.

215 Гийо, 63.

216 Холл - Осборн, 81.

217 JO, 21. XI. 1901.

218 В литературе о Гогене Хиваоа обычно называют Доминикой. Но это название, данное

острову открывшим его испанцем в 1595 г., не употребляется во Французской Полинезии

и совсем неизвестно туземцам. Часто делают еще две грубейшие ошибки, когда вместо

«Атуона» и «Хиваоа» пишут «Атуана» и «Хивахоа».

219 Repertoire, 470-71; BO, № 5, 1899, № 1, 1900, и № 7, 1900. Постановление, подписанное

французским генерал-губернатором в Ханое 24 января 1898 г. (Находится у Рауля Тейсье,

Папеэте.)

220 Рукопись, принадлежащая сыну Ки Донга, Пьеру Ван Каму, а также устные сведения от

него же.

221 Жакье, 1957, 13.

222 Не сохранилось никаких фотографий этого дома, а рисунок, иллюстрирующий статью

Леброннека в «Газетт де Боз-Ар», 196, к сожалению, неверен. Автор тут ни при чем, так

как рисунок не его. Хорошее описание дома есть у О'Брайена, 1919, 149, приводящего

беседу с соседом и другом Гогена, «старым поселенцем» Бофре (слегка переиначенная

фамилия Фребо). Проверить точность размеров, сообщенных Леброннеком и Луи Греле,

легко по хранящимся в Лувре панно с одного из торцов дома. Их общая длина около 6 м.

223 Письмо Луи Греле от 1 марта 1960 г. Две описи, сделанные после смерти Гогена и

опубликованные Жакье (1957, 25 - 43), представляют собой самый подробный и точный

перечень имущества Гогена в ту пору.

224 Многие авторы утверждали, что Гоген охлаждал в колодце не воду, а бутылку с

абсентом. Чисто логически это очень сомнительно, потому что именно разбавление

холодной водой придает особый аромат абсенту. К тому же опрошенные мною два

человека, которые лично посещали «Веселый дом» - Тимо и Луи Греле, - настаивают, что

бутылка с абсентом всегда стояла на столе в столовой.

225 О'Брайен, 1919, 109; Леброннек, 1956, 196-97; письмо Луи Греле от 1 марта 1960 года.

226 Устные сведения от Тимо, несколько отличающиеся от версии Леброннека, 1956, 199.

227 Жакье, 1957, 17-23; кассовая книга Варни.

228 Пети посетил Маркизы в середине марта, а не в октябре 1902 г., как полагают Шассе и

Перрюшо. Это видно из JO 6. III. 1902 и доклада Пети от 11 мая 1903 г., стр. 16.

229 Описание его пребывания на Маркизах-в «Вдалеке», 155 - 299

230 Луаз, 1951, 120.

231 Государственные архивы в Папеэте.

232 Ружье Гогена, с украшенным великолепной резьбой прикладом (Грей, № 141), дольше

других обработанных рукой художника предметов оставалось на островах. Только в 1938 г.

его обнаружил и приобрел известный норвежский ученый, исследователь и писатель Тур

Хейердал.

233 JO, 6. III. 1902.

234 «Осы», июль 1900, 30; JME, июнь 1900, 509-14.

235 Repertoire, 479; JME, август 1903, 134-36, сентябрь 1903, 207-08.

236 Annales, ноябрь 1902, 354-55.

237 Кассовая книга Варни. Дву колка прибыла и заприходована 24 мая 1902 г.

238 Annales, ноябрь 1903, 342-51.

239 Доклад губернатора Пети от 26 июня 1902 г.

240 Холл - Осборн, 139-46.

241 Шассе, 1955, 109.

242 Леброннек, 1956, 192. Свидетельство о рождении в отделе записей актов гражданского

состояния Папеэте.

243 Шассе, 1955, 104-105, 109-10.

244 Repertoire, 416; Annales, март и ноябрь 1900 г. Подлинное имя отца Орана - Исидор, а

новое имя он принял по прибытии на Атуону.

245 Рукопись Рулона и рассказ епископа Лекадра.

246 Луаз. 1953, 11.

247 JO, 7. IX. 1901; BO, 7, 1902, 329.

248 Письмо Пикено Молару после смерти Гогена.

249 Борель, 1942; письмо 1 марта 1960 г. от Луи Греле; О'Брайен, 1919, 148.

250 Шмидт, 251-61. Сведения о происхождении портрета получены от Греле, которому Ки

Донг передал его в 1905 г. Они подтверждаются сыном Ки Донга. Примечание,

цитированное у Леброннека, 1956, 193-94, путаное и неточное, в нем верно лишь то, что

картина была написана в 1902 г.

251 Что последние 20 страниц добавлены в это время, видно не только по изменившемуся

слогу, но и по ссылкам на убийства миссионеров в Китае: они начались в 1900 г. и

продолжались, когда Гоген решил переработать рукопись.

252 Гоген говорит об этом в «До и после». Посредничество Фребо подтверждают Греле и

Тимо. Книга, о которой идет речь, - I том труда Ж.-В. Пиоле «Католические французские

миссии в XIX в.», Париж.

253 Копию письма Гоген послал в «Меркюр», где она была напечатана только после его

смерти, с пропусками и ошибками (MF, август 1904, 569-73).

Греле недавно нашел письмо

от брата, написанное в октябре 1902 г., и там есть интересный абзац: «Гоген еще воюет с

епископом. Он написал яростное письмо губернатору. Не знаю, будет ли оно напечатано -

вряд ли, но Гоген в этом не сомневается».

254]O, 11-15. XII. 1902.

255 Неопубликованное письмо лейтенанту Бонмезону, датированное декабрем 1902 г.

256 Annuaire, 1891, 105; 1903, 177; Шассе, 1955, 111; устные сведения от Рауля Тейсье.

257]O, 12-13. II. 1903; Annales, июль 1903, 211; письмо Гийома Леброннека от 18 мая 1960

г.

258 BSEO, 133-34, 216-18.

259 Устные сведения от Тимо и епископа Лекадра. Факты, которые собрал сам Гоген, изложены им в «До и после».

260 JO, 23. X. 1902 и 12-13. Ш 1903.

261 Самый полный рассказ об этом в недавно обнаруженном письме Рейнера от 26 июля

1903 г. адвокату Бро. Другие важные источники - письмо Гогена Орвиллю. (Луаз, 1955, 12)

и рассказ одного из осужденных (Леброннек, 1956, 197-98).

262 JO, 24. III. 1903. Протест Гогена вошел в «До и после».

263 BSEO, 133-34, 218.

264 Доклад Салле министерству колоний от 4 апреля 1903 г.; рукопись миссионера Рулона.

265 Недавно открытые письма Гогена адвокату Бро (BSEO, 133 - 34) позволяют

восстановить события. Единственная известная мне характеристика Ги-шенэ, данная

приезжим современником, принадлежит перу Холла и она неодобрительна (Холл - Осборн,

157-62).

266 Судебное постановление, архив Управления юстиции, Папеэте. Во многих письмах

Гоген неверно сообщает, что его приговорили к штрафу в тысячу франков. Губернатор

Пети признает в докладе от 11 мая 1903 г., что он поддерживал обвинение против Гогена и

желал выслать его из колонии, но не обладал для этого законными полномочиями.

267 BSEO, 133-34, 223-28; а также отказ на жалобу, датированный 19 сентября 1903 г., архив

Верховного суда Папеэте.

268 С помощью перечня, данного Ротоншаном (221-22), эти девять картин легко привязать к

номерам в каталоге Вильденштейна: 524, 578, 581, 584, 586, 587, 589, 591, 593. Новая

картина, отправленная Воллару, вероятно, № 637, остальные три - № 636, 638, 635.

269 Луи Греле (цитата у Бореля, 1942, 16). Когда я спросил, что он ответил на письмо



пастора Вернье (опубликовано Бомпаром, 188), выражающим сомнения по этому поводу,

Греле прислал мне сообщение, датированное 1 марта 1960 г.: «Могу категорически

ответить, что Варни вернул ему (Гогену) морфий и шприц за несколько недель до его

смерти. Гоген при мне и при моем брате отдал коробку Варни и сказал, чтобы тот ни в

коем случае не возвращал ему ее. Варни ответил: «Так выбрось ее лучше в море!» На что

Гоген сказал: «Нет, она мне может еще понадобиться в самом крайнем случае».

270 Письмо в архивах жандармерии в Папеэте. Черновики найдены Луазом (1953, 11).

271 Письмо Вернье Даниелю де Монфреду, датированное 8 марта 1904 г., приведено

Ротоншаном, 223-27.

272 В 1951 г., когда я беседовал с епископом Лекадром, он все еще считал, что Гоген

покончил с собой. (Даниельссон, М., 1965). Главным сторонником взгляда, что Гоген был

убит, выступал искусствовед Шарль Кюнстлер (см. «Журналь дез Арт» № 85, 1934). Два

других живучих мифа утверждают, что последняя написанная Гогеном картина

представляла собой снежный ландшафт в Бретани и что туземцы Атуоны 8 мая кричали:

«Гоген умер, мы пропали!» Первый миф проистекает из статьи Сегалена в июньском

(1904) номере «Меркюр де Франс». Но Сегален не встречался с Гогеном и пробыл в

Атуоне слишком мало, чтобы исследовать вопрос. Более того, внимательно читая его

статью, видишь, что речь идет всего-навсего о догадке. Вторая, очень трогательная

легенда основана на неверном переводе маркизской фразы в письме Вернье Даниелю де

Монфреду, написанном в 1904 г. (Ротоншан, 225). Вот причитание в правильном

написании: «Уа мате Коке, уа пе те ената» - то есть: «Гоген умер, ему пришел конец».

Смысл станет еще более прозаичным, если вспомнить, что основное значение глагола «пе»

- гнить, разлагаться.

273 В письме пастора Вернье Даниелю де Монфреду, упомянутом выше, тоже описаны

последующие события, включая похороны. Естественно, автор письма резко осуждает

католических миссионеров. Неподписанный рассказ епископа Лекадра, помещенный в

каталоге Гогеновской выставки 1949 г. в Лувре, хотя тоже резок по тону, но в целом почти

не отличается от описания Вернье. Дополнительная информация есть у О'Брайена, 1919,

148; 1920, 228-32, и у Леброннека, 1956, 194. С помощью отца Америго Колза,

архивариуса ордена Святого Сердца в Риме, мне удалось установить, что хоронил Гогена

недавно прибывший на остров миссионер Викторин Сальтель.

274 Архивы ордена Святого Сердца, 47-48; сведения получены от архивариуса и датированы 24

января 1965 г. Цитированный в последнем абзаце доклад Пикено теперь находится в музее

Папеэте.

Эмиль, сын Пау'уры, сфотографирован в возрасте около пятидесяти лет в своем доме на Таити



вместе с женой и некоторыми из своих детей. В руках он держит альбом с автопортретом отца,

который Гоген написал, когда ему тоже было пятьдесят лет.

77.

В последнее время Эмиль играет на любопытстве туристов - рисует картинки в таком роде и

продает их за доллар-два. Этот рисунок должен изображать таитянские привидения - так сказать,

параллель к «Манао тупапау».

Document Outline

Гоген в Полинезии
Содержание
Предисловие автора к русскому изданию
ГЛАВА I. Мастерская в тропиках
ГЛАВА II. Полоса удач
ГЛАВА III. Среди соотечественников
ГЛАВА IV. Среди таитян
ГЛАВА V. Женитьба Коке
ГЛАВА VI. Поворотный пункт
ГЛАВА VII. На ложном пути
ГЛАВА VIII. Повторение
ГЛАВА IX. Унижение и возвышение

ГЛАВА X. Веселый дом
ГЛАВА XI. Последнее слово
ПРИМЕЧАНИЯ